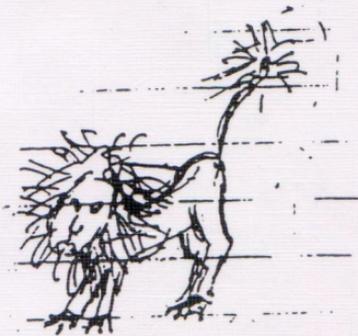


ИЕРУСАЛИМСКИЙ ЖУРНАЛ

В НОМЕРЕ:

МАРК АЗОВ
СУХБАТ АФЛАТУНИ
ЛЕОНИД БАЛАКЛАВ
НАУМ БАСОВСКИЙ
АЛЕКСАНДР ВАРАКИН
ИННА ВИНЯРСКАЯ
МИХАИЛ ГОНЧАРОВ
ИГОРЬ ГУБЕРМАН
ЮЛИЙ КИМ
МИХАИЛ КНИЖНИК
АРКАДИЙ Ф. КОГАН
ОЛЬГА КРУПЕНЬЕ
ВАДИМ ЛЕВИН
ЛЕОНИД ЛЕВИНЗОН
ДАВИД МАРКИШ
РЕНАТА МУХА
НАТАЛЬЯ НЕЙМАРК
ТАТЬЯНА НИКИТИНА
ВАЛЕНТИНА ПОЛУХИНА
ВИКТОРИЯ РАЙХЕР
НАТАЛЬЯ РАПОПОРТ
ДИНА РУБИНА
ИРИНА РУВИНСКАЯ
АЛЕКС ТАРН
ВАДИМ ТКАЧЕНКО
АЛЕКСАНДР ФАЙНБЕРГ
РАФАЭЛЬ ШУСТЕРОВИЧ
И ДРУГИЕ

№31



JERUSALEM LITERARY REVIEW

ירושלים ספרותית

2009' 31

Творческое объединение
«Иерусалимская Антология»
сердечно благодарит
Бориса Юрьевича АЛЕКСАНДРОВА
за поддержку «Иерусалимского Журнала»

От всей души поздравляем
поэта, прозаика, редколлегю
Елену Игнатову
с присуждением премии имени Н. Гоголя

העמותה לקליטת עליה בחיפה
רח'ג ל. פרץ 20 חיפה 33041
ספריה

8811

מס'

ИЕРУСАЛИМСКИЙ ЖУРНАЛ



И Е Р У С А Л И М

31 2009

Иерусалимский журнал, № 31, 2009

Журнал современной израильской литературы на русском языке

В Интернете: magazines.russ.ru/ier/ а также antho.net/jr/index.html

Союз израильских русскоязычных писателей

Творческое объединение «Иерусалимская антология»

Редколлегия: **Игорь Бяльский** (главный редактор),
Елена Игнатова, **Юлий Ким**, **Зинаида Палванова**, **Дина Рубина**,
Роман Тименчик, **Велвл Чернин**, **Светлана Шенбрун**

Ответственный секретарь: **Евгений Минин**

Художник: **Сусанна Черноброва**; Веб-дизайн: **Карина Пастернак**

Редактура и корректура: **Бина Смахова**, **Люба Лейбзон**

Организационное и техническое обеспечение номера: **Ольга Аксюткина**,
Михаил Бяльский, **Борис Бронштейн**, **Даниил Буриштейн**, **Виктор Гопман**,
Григорий Гордин, **Светлана Мойбер**, **Илан Рисс**

Типография «ЦУР-ОТ»

При поддержке



Российский Еврейский Конгресс



Фонд
«Русский мир»



Отдел литературы
при Управлении культуры
Министерство науки, культуры и спорта



Иерусалимский муниципалитет



Дом наследия Ури Цви Гринберга

Copyright © «Иерусалимский журнал» 2009. All rights reserved

Авторские права на публикуемые произведения принадлежат их авторам

ISSN 1565-1347

Адрес редакции: **Jerusalem Review, P. 0. Box 32297 Jerusalem 91322**

E-mail: jerusalemreview@gmail.com Тел.: (972) 2-9960302; (972) 54-4745322

OCR Давид Титиевский, июнь 2019 г., Хайфа

*Мы стараемся отвечать на письма, присылаемые по электронной почте,
но, к сожалению, не можем взять на себя обязательства
по рецензированию и возвращению рукописей*

ЛЬВИНЫЕ ВОРОТА

Игорь Туберман

МЕНЯ ХРАНИЛИ ПРИ НЕКРУТНЫХ БОГА

* * *

С женою пьем под вечер мы вдвоём,
для выпивки мы смолоду годились,
на старости мы сызнова живём,
чтоб нами внуки с ужасом гордились.

* * *

Когда нам удаётся вставить слово,
мы чудным наполняемся теплом
и больше вспоминаем из былого,
чем было в том растаявшем былом.

* * *

Много лет мы вместе: двое
как единый организм,
за окошком ветер воет,
навевая оптимизм.

* * *

Память наша с возрастом острее,
нам виднее канувшие дали,
ясно помнят ветхие евреи,
как они Египет покидали.

* * *

Мне случилось родиться в России,
даже был пионером когда-то,
и поэтому, как ни просили,
не могу изъясняться без мата.

* * *

Когда меня тоска одолевает,
и чахнет, закисая, дух мой резвый,
рука моя мне рюмку наливает,
а разум не глядит, мутила трезвый.

* * *

Моё суждение хмельное
у многих будет под вопросом,
но блядство есть не что иное,
как радость пользоваться спросом.

* * *

Течение мыслей безотчётно,
в игру их каждый вовлечён,
блаженно думанье о чём-то,
ещё блаженней – ни о чём.

* * *

Дано колеблемой струне
будить во мне такое эхо,
как будто снова я в стране,
откуда с горечью уехал.

* * *

Хотя благополучны мы и счастливы,
хотя царит покой в надёжных стенах,
евреи несгибаемо опасливы –
история не дремлет в наших генах.

* * *

Все, кто мёрз на житейском ветру
и пришёл к пустоте в результате,
утешались похоже: умру –
и спохватится мир об утрате.

* * *

Я верю в успешность потуг
спастись от наплывов тоски,
и в то, что чугунный уют
зелёные пустит ростки.

* * *

Сирые, скорбящие, убогие,
люди из породы горемычных,
если к ним прислушаться, то многие
сильно пострашнее нас обычных..

* * *

Вовлекаясь во множество дел,
не мечись, как по джунглям ботаник,
не горюй, что не всюду успел –
может, ты опоздал на «Титаник».

* * *

Я давно уже не пью с кем ни попадя,
с кем попало не делю винегрет –
чтобы не было на памяти копоты
и душе не наносился бы вред.

* * *

Отпылал мой роскошный костёр,
всё болит по ночам и утрам,
я когда-то любил медсестёр,
а теперь я хожу к докторам.

* * *

Дуря на заслуженном покое,
я тягостной печалью удручён:
о людях я вдруг думаю такое,
что лучше бы не думал ни о чём.

* * *

Я когда свою физиономию
утром наблюдаю, если бреюсь,
то и на всемирную гармонию
мало после этого надеюсь.

* * *

Сегодня я подумал тихо,
насколько это поразительно,
что мы живём довольно лихо,
а живы – очень приблизительно.

* * *

Вот человек: от песни плачет,
боится нищего обидеть,
потом кого-то так хуячит –
не приведи Господь увидеть.

* * *

Книгу жизни суматошно полистав,
начинаешь задыхаться и болеть,
мы стареем, даже взрослыми не став –
не успев, точнее, толком повзрослеть.

* * *

Когда тоской душа томится,
мне шепчет голос ниоткуда,
что есть война, тюрьма, больница,
а ты сидишь в пивной, зануда.

* * *

В житейской ситуации любой
я стоек, потому что убеждён,
а в ссоре и борьбе с самим собой
решительно бываю побеждён.

* * *

Мне ответил бы кто-нибудь пусть,
чтоб вернуть мой душевный уют:
почему про славянскую грусть
лучше прочих евреи поют?

* * *

Людей культурных мало в мире,
а бескультурья – пруд пруди:
я, например, курю в сортире,
и радость булькает в груди.

* * *

Сама себя опасно выдавая
и шар земной пугая зачарованный,
в субботу закулиса мировая
нахально пахнет рыбой фаршированной

* * *

Хватать совсем не надо с неба звёзд,
с умишком даже очень небольшим,
имея волчью пасть и лисий хвост,
легко достичь сияющих вершин.

* * *

Прямо хоть беги отселе
или пса с цепи спусти:
все евреи – Моисеи,
все хотят меня вести.

* * *

Примкнуть и слиться, жить похоже,
подобно всем на белом свете...
Но вдруг такие встретишь рожи,
что усыхают мысли эти.

* * *

Так и живу я в неясных томлениях,
счастлив порой – когда сплю;
жизнь я люблю не во всех проявлениях,
многие – просто терплю.

* * *

Конечно же, слава – огонь, а не дым,
на дым не летят мотыльки,
жаль тех, кто в огонь залетел молодым –
помельче от них угольки.

* * *

Во многие входил я двери,
смотря в начальственные очи;
что всюду жизнь, я тупо верил,
и ошибался часто очень.

* * *

В печати повсюду теснятся
мыслители всяческой масти,
и Бога они не боятся
под задом незыблемой власти.

* * *

Для подвигов уже гожусь едва ли,
но в жизни я ещё ориентируюсь;
когда меня в тюрьме мариновали,
не думал я, что так законсервируюсь.

* * *

Был явно жребий свыше уготован:
еврей за те века, что время длится,
на стольких наковальнях был откован,
что дух его не мог не закалиться.

* * *

Я мельком повидал довольно много,
и в этой мельтешистой скоротечности
меня хранили три некрупных бога –
упрямства, любопытства и беспечности.

* * *

Подумал мельком я сегодня:
в толкучке жизни многолетней
на ком лежит печать Господня –
они и дьяволу заметней.

* * *

Бывал я бит, бывал унижен –
легко творили пытку гниды,
но не был я на них обижен,
на гнид не может быть обиды.

* * *

С равной смесью лени и пыла
то читал, то пил, то пел бы песни я;
если бы писать не надо было,
то писатель – чудная профессия.

* * *

Богу я скажу, когда умру,
что ему я очень благодарен:
я играл в отменную игру –
сам себе я был холоп и барин.

* * *

На склоне дней нам легче отказаться
от резвого метания камней,
и всех за всё простить и отвязаться
на склоне дней.

Виктория Райхер

ПРЕКРАСНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

КРАЖА

– Роджер, она заперта.
– Я знаю. Сейчас проверю. Ну вот, заперта. Пошли вниз.
– Роджер, я тебя жду.
– Да, да, иду. Дай поднимусь на секунду, что там с дверью. Все, пошли.

– Роджер!
– Сейчас, сейчас. Я быстро. Я наверх и обратно. Не помню, запер ли дверь.

– Роджер, запер!
– Сама ты «Роджер запер». Перестань дразниться. Две минуты. Ну все, отъехали.

– Роджер, ты куда?
– Слушай, мне нужно вернуться.
– Зачем?
– Да дверь эта. Я не уверен насчет нижнего замка. Езжай сама, я скоро приеду.

– На чем?
– На автобусе. Там недалеко, я доберусь, езжай. Мы же не можем вдвоем уехать, не зная, заперта ли...

– Роджер!
– Кончай на меня так смотреть. Я все знаю, у меня тяжелый характер. Я скоро.

Пошел, проверил, вернулся, стал ждать автобуса, вернулся с автобусной остановки, проверил, спустился, сел в автобус, вышел через остановку, вернулся, поднялся, проверил, поехал снова. Приехал в результате на два часа позже.

– Роджер, где ты был?

Она подозревает измену. Она во всем подозревает измену, но не в этом дело. Она уговорила меня пойти лечиться.

Профессор сидит, седенький такой. Врач. Объясняет. Понимаете, говорит, уважаемый, мы сначала с вами договоримся, что вы проверяете дверь на один раз меньше, чем обычно. Всего на один только раз, да? Это же в целом ничего не изменит?

Ну, в целом, наверное, не изменит. То есть я бы не был так уверен, но...

– Вы же хотите лечиться?

– Да, хочу.

– Идемте.

И мы идем к моей двери, мне уже смотреть на нее противно, но я не могу уйти из дома, ее не заперев, поэтому мы туда идем и я ее запираю.

– Заперли? – спрашивает профессор.

– Запер, – соглашаюсь я.

– Проверьте, – предлагает он. Щедрый.

Проверяю. Запер.

Спускаемся со ступенек. С третьей возвращаюсь. Думал, он дергаться начнет, но он молчит. Проверяю, иду обратно, спускаюсь этажом ниже, гляжу наверх.

– Проверьте, – предлагает. Радушный.

Проверяю. Ну все обычным порядком, с первого этажа вернуться, с автобусной остановки, из автобуса выйти

– Оп, – ловит меня за локоть. – Погодите. Это, если бы все шло как заведено – последний раз?

– Нинну да, наверное. Последний.

– Тогда не надо.

– Как это «не надо»?

– А вот так – не надо. Мы с вами о чем договорились?

Ни о чем мы с ним не договаривались.

– Мы с вами договорились, что вы проверите одним разом меньше. Всего одним разом, да? Вот вы сколько раз сегодня проверяли?

– Не помню. Раза три.

– Давайте сосчитаем.

Считаем. Выходит – четырнадцать раз, не считая несколько раз сразу после выхода из квартиры дернуть дверь. Четырнадцать. Однако.

– А завтра вы проверите тринадцать, – советует профессор. – Не надо «один», не надо «два», вам этого пока не потянуть. Тринадцать.

Что мне их, считать?

– Считайте.

На следующий день считаю. Получается почему-то сразу двадцать шесть. Может быть, я плохо считаю?

– Давайте подойдем к вопросу объективно.

Это опять профессор.

– Чего вы боитесь?

– Что меня обворуют. В городе участились кражи, да и вообще

– У вас есть в квартире что-то особенно ценное? Что-то, без чего вам не прожить?

– Нет, но все мои вещи, вся моя жизнь. Кроме того, знаете, противно думать, что кто-то будет копаться в твоём шкафу. У меня деньги на нижней полке под бельем (не забыть переложить, они там уже три дня лежат). Что же, чужие руки будут в этом белье шарить? А мне потом его носить?

– Согласен. Вы не хотите, чтобы вас обворовали, это можно понять. А теперь приведите мне, пожалуйста, доводы за то, что это случится.

– За то, что меня обворуют? Доводы?

– Да.

– Говорю же – кражи в городе участились.

– Это один довод. Еще есть? Вы так серьезно подходите к ситуации, не может быть, чтобы у вас был только один довод.

– Еще – мне всегда не везет. У меня в пятом классе из кармана украли ножик, никто не мог понять – как. И еще

– Да?

– Да дверь эта. Она хлипкая, на самом деле, ее взломать ничего не стоит. Ногой можно выбить.

– А почему вы тогда не поменяли дверь?

– Да мы меняли вообще-то. Два раза, в последний раз – в прошлом году.

– Не помогло?

– Ну как вам сказать. Помогло, наверное. Первая дверь была совсем плохая, не дверь, а лист бумаги. Вторая вроде получше. Но тоже, тоже

– Может быть, поставить наконец нормальную дверь?

– Нам сказали, что лучше того материала, из которого наша третья дверь, на рынке сейчас просто нет. Не существует.

– Понимаю. У вас стоит дверь из наиболее прочного материала, существующего на данный момент, но это недостаточно прочный материал.

– Конечно, недостаточно. Говорю вам, хорошенько нажать ногой

– А не ногой, так ломом. Давайте подумаем, что еще может служить аргументом в пользу того, что вас, скорее всего, обворуют.

– Я не сказал «скорее всего». Я сказал – могут обворовать. Не знаю, что еще. По-моему, хватит.

Ладно, хватит. А теперь, сделайте одолжение, приведите мне доводы против.

– Против чего?

– Против того же. Против того, что вас могут обокрасть.

– Но я же сказал – все к тому, что

– Я понимаю. Но у любой теории должно быть обоснование и опровержение, верно? Давайте для равновесия посмотрим, что можно придумать в пользу того, что вас не обворуют.

– Ну, в принципе, дверь у нас из прочного материала. То есть ее можно, конечно, взломать, но те, кто эти двери делает, тоже не дураки. Какой-то смысл в этом есть.

– Ага. Дверь все-таки довольно прочная. А еще?

– А еще у соседей собака. Она лает, а снаружи непонятно, откуда – от соседей или из нашей квартиры. Если не знать, можно испугаться.

– Еще?

– Еще – я проверяю! Ясно вам? Проверяю. Дергаю дверь, возвращаюсь, проверяю еще раз, и не уйду из дома, пока не буду окончательно уверен, что дверь заперта за все замки.

– То есть вы хотите мне сказать, что ваши проверки снижают шансы ограбления?

Трогательный такой. Очки поправляет.

– Что значит «хочу сказать»? Разумеется, снижают!

– Простите, Роджер, а чем?

Тем, что дверь заперта, старый ты идиот!

– Тем, что дверь заперта.

– Погодите. Причем здесь дверь? Дверь, прошу заметить, заперта совершенно одинаково и после вашей первой проверки, и после двадцать шестой. На неё ваши проверки никак не влияют, Роджер! Они влияют только на вас самого.

Хм.

– Ну как же. Если у меня остается хоть капля сомнения в том, что я запер дверь, я поднимаюсь лишний раз и проверяю. И тогда

– Роджер. Скажите. Хотя бы раз в жизни вы, поднявшись, обнаруживали дверь открытой?

– Нет.

– Хотя бы раз у вас случилось, что дверь оказывалась заперта не до конца, плохо или хуже, чем могла бы?

– Нет.

Хотя один раз мне показалось, что она как-то не так закрыта. Я отпер ее и запер заново. Но отпирать пришлось полностью, четыре поворота ключа, да.

– Тогда какая связь между проверками и ограблением?

Какая-какая. Мне спокойней.

– А вам не мешает, что в каждое место, куда вы приходите, вы опаздываете минимум на полтора часа, потому что по тридцать раз возвращаетесь домой?

– Жене мешает.

Ей все мешает. Что я нервничаю, что я возвращаюсь, что я не такой, как все, что со мной нельзя никуда пойти.

– Вы любите жену, Роджер?

Не знаю.

– Конечно, люблю.

Наверное, спокойнее было бы развестись. Тогда я мог бы проверять свои двери столько раз, сколько захочу. Или вообще не выходить из дома.

– А есть у вас в жизни другие развлечения, кроме проверки двери? Что-то, что вас интересует?

– Разумеется, есть! – раздражен.

Черт, я все время думаю об одном и том же. Хожу по улице, на работу, к друзьям, а думаю о ворах. Хотя к друзьям я уже давно не ходил – нет сил ехать по два часа в один конец. Они живут недалеко, но, пока я проверю эту дверь

Я сам не понимаю, как он меня уговорил. Но мы решили, что я постепенно буду проверять все меньше и меньше раз, до тех пор, пока не смогу один раз уйти на целые сутки к друзьям, не возвращаясь ночью. Никогда бы не подумал, что я сумею. Жена была в восторге.

– Доброе утро, Роджер. Как вы спали?

Спал, как же.

– Как младенец. Сладким сном.

– Ну-ну, не все так плохо. Неужели совсем ни на секунду не сомкнули глаз?

Смеется.

– Минут на двадцать, может, и сомкнул.

– Двадцать минут – прекрасный результат. Пойдемте, проверим вашу дверь. Вы ведь не заходили туда со вчерашнего дня? Ни разу? Вот и прекрасно. Зайдем туда вдвоем.

Сначала мне показалось, что я схожу с ума. Дверь была вырвана вместе с дверными петлями. Вместо дверного проема – дыра. Меня обокрали этой ночью.

В комод, конечно же, не осталось денег, а под матрасом – чековых книжек. Еще унесли стереосистему и несколько золотых вещей жены. В общем, все. Жить можно – впрочем, ничего более ценного у меня дома и не хранилось. Ну, белье, так белье я новое куплю.

– Роджер, голубчик. Вы смеетесь? Отойдите, не мешайте ему, у него истерика. Принесите воды.

Черта с два у меня истерика. Я смеялся. Жена испуганно дотрагивалась до моего рукава.

– Доктор доктор, милый – от смеха я не мог говорить. – Доктор, вы уж простите меня Я вам признаюсь сейчас, я двоечник, только вы меня не ругайте.

Он не выглядел человеком, который будет меня ругать.

– Я ведь приходил сюда ночью, доктор. Четыре раза.

Профессор смотрел на меня с прорезавшимся интересом. Я смутился.

– То есть шесть. Я гулять ходил, мне не спалось.

– Понимаю. Вам случайно не спалось и вы по ошибке шесть раз подошли к своей двери. Машинально.

Продолжая смеяться, я обнял жену за плечи.

– Не сердись. Так получилось. Я шесть раз сюда подошел, то есть семь. В общем, несколько. И все было в порядке, понимаете? В полном.

Не было сил смеяться, пришлось опереться о стену. Они не понимали. А я уже был свободен.

– Вы уверены, что вам не нужна вода? – осторожно спросил профессор.

Потом он все-таки понял. Позже, когда мы сидели в его кабинете.

– Раз меня можно ограбить, несмотря на то, сколько раз я сюда прихожу, значит, от моих приходо и правда совсем ничего не зависит. Я могу вообще не выходить из дома – а меня усыпят, пустив газ под дверь. Я могу жить на лестничной клетке, тогда меня стукнут тяжелым по голове.

– Вам страшно?

– Ни капельки. Все. Я свободен. Я же боялся, сколько всего от меня зависит. Ночей не спал – вдруг упущу. Оставлю на секунду, отвернусь, отвлекусь, тут-то все и случится. Боялся отойти. А теперь оказывается, что от меня не зависит вообще ничего. Не я тут главный. Можно гулять, можно оставлять открытой дверь. Все равно.

– Роджер, голубчик. Вы хотите сказать, что само ограбление пугало вас меньше, нежели опасность не справиться с задачей?

Умные слова. Я не знаю.

– Меня пугало, что я должен, а не могу. А теперь выясняется, что в любом случае не могу. А значит, и не должен.

Жена меня быстро простила. И белье мы купили. Красивое, белое, в золотой цветок.

ПОВЕРИТЬ В ДЕСЯТЬ НЕВОЗМОЖНЫХ ВЕЩЕЙ ДО ЗАВТРАКА

– Что-нибудь мягкое можешь себе представить?

– Могу. Подушка.

– Отлично. Теперь – мягкое и холодное. Можешь?

– Могу. Подушка из холодильника.

– Еще лучше. А теперь мягкий, холодный и сыплется. Ну?

– Не вопрос. Подушка из холодильника, которую распотрошили.

– С неба сыплется! Ну?

– Да легко! Подушка из холодильника, которую распотрошили с вертолётa!

– Так, – Юджин азартно придвинулся к столу. – Один есть. В снег поверили. В Австралию попробуешь поверить? У тебя хорошо идет.

– Попробую, – кивнул Марат. – Давай Австралию.

Юджин задумался.

– В далеко – веришь?

– Верю! Тетя Елена далеко живет, до нее ехать целый день.

– В очень далеко – веришь?

– Верю. Муж тети Елены от нее сбежал и теперь до него ехать четыре дня.

– Отличник! Ну вот так далеко, как даже мужу тети Елены не сбежать, есть Австралия. Такая страна. Веришь?

Марат поежился.

– Нет.

– Ну как же нет! Почему же нет?

– Ну ладно тетя Елена – неохотно протянул Марат. – Ладно ее муж. Но Австралия? Где-то там, черт знает где, с другой стороны земли? И кенгуру? Не могу.

– Ладно. Попробуем в привидения?

– Так в привидения я вчера уже поверил.

– Тогда в говорящих птиц? Сирин, Феникс, Алконост?

Марат отмахнулся.

– Попугай.

– А в НЛО? – оживился Юджин после паузы. – В летающие тарелки?

– Ты же сам говоришь – летающие тарелки, – рассудительно сказал Марат. – Чего в них не верить? В тарелку верю, в летающее верю. Ну так тарелка и летает. Где проблема?

– Ладно, попробуем разминку. – Юджин встал и прошелся по комнате. – В апельсины веришь?

Марат взял со стола апельсин и взвесил его на ладони.

– Верю. С позавчера.

– А в ананасы?

Марат огляделся.

– Ну, в апельсин колючек натывать если Верю.

– В кошек веришь?

– Мяу, – сказал из-под стола сибирский кот Колтун.

Юджин кивнул.

– Давай тогда в драконов поверим. Это все-таки легче, чем Австралия.

– Да верю я в драконов, – Юджин махнул рукой. – С прошлой недели еще.

– Тогда слушай! Летит дракон! Огромный такой, с кожистыми крыльями, огнедышащий веришь?

– Верю.

– А крылья у него – шире моря! А гребни у него – круче леса! И дым из него валит, как на пожаре. И вот летит он, летит, летит, летит Ну сам подумай. Если такая махина поднимется в воздух, неужели она сделает это ради какой-нибудь тети Елены? Такая громада? Такая летающая лошадь?

– Нет, – Юджин решительно качнул головой. – Не сделает. Тети Елена три года назад пообещала купить мне куртку «Вольфскин». И до сих пор не купила! Говорит, дорого. И ради этой сквалыжины дракона с места поднимать?

– Вот! – торжествуя крикнул Марат. – Вот именно! Ради какой-то тети Елены, которая паршивой куртки любимому племяннику купить не может, ни один дракон не полетит! А ради ее мужа – полетит?

– Не полетит! Муж у нее еще хуже, от него даже открытки не дождешься на Рождество.

– А куда он, по-твоему, полетит? Такое огнедышащее счастье, раз уж оно, слава тебе господи, летает, как летающий паровоз?

– Куда? – Юджин смотрел с интересом.

Марат поднял указательный палец.

– В Австралию!

– Почему?

– Да потому, дурья твоя башка, что в дракона на прошлой неделе тебе было трудней всего поверить. Я же помню, я тут три часа жег сигареты и дым из ушей выдыхал. А Австралия – она же еще хуже с точки зрения поверить, чем дракон. Как муж тети Елены, который еще дальше, чем она. Поэтому если дракон куда и полетит, то непременно в Австралию. Верить?

– Верю! – радостно крикнул Юджин и запрыгал по комнате на одной ноге. – Верю, верю, верю! Есть Австралия, есть!

Он подошел к висящей на стене географической карте и крупными штрихами закрасил на ней одно из белых пятен. Потом оглядел карту и сказал:

– Марат, а может, мы завтра попытаемся поверить в ресторан «Нептун» с соседней улицы? Хочется чего-нибудь эдакого.

Марат покосился на заколоченную входную дверь.

– До ресторана «Нептун» ты еще не дорос. Сначала тебе надо в Южную Америку поверить. Вот ты мне скажи, ты в Южную Америку веришь?

– Не верю, – вздохнул Юджин.

– А говоришь – ресторан «Нептун». Как же у тебя получится поверить в то, что ты видишь своими глазами, если ты не веришь в то, чего никогда не увидишь? Верить, глядя в упор, куда труднее!

– Да, – медленно ответил Юджин, стараясь не замечать, как сквозь Марата подмигивает гвоздями заколоченная дверь. – Да, ты прав. Это гораздо, гораздо труднее. Лучше нам с тобой погодить пока с «Нептуном».

ВЕНЕРИНА МУХОЛОВКА

Кит поднял голову. На пороге, понурившись, стоял Крот.

– Принес? – спросил Кит, заранее зная ответ.

Крот прошел в комнату, швырнул в угол пустой пакет и завалился на диван.

– Не принес, – сам себе ответил Кит и снова углубился в книгу.

Вошла Клара, подняла пакет с пола и унесла. Кит читал, время от времени перелистывая страницы. Крот пыхтел на диване. Через какое-то время он поднялся, подошел к Киту и встал за его плечом.

- Я хороший, – сообщил Крот плечу.
- Хороший, – согласился Кит, не отрываясь от книги.
- Я полезный! – добавил Крот.
- Нет, – Кит перелистнул страницу.

Крот скривил губы, собираясь заплакать.

– Я Кларе скажу!

– Я ей сейчас сам все скажу, – пообещал Кит, почесав Крота за ухом. – Не реви. Когда я в первый раз ходил за хлебом, я даже до булочной не дошел.

На обед была вареная зеленая фасоль. Она лежала на блюде, свешиваясь с него вареными зелеными боками. Крот печально смотрел в тарелку.

– Я не люблю фасоль, – сказал он, тяжело вздохнув. – Я люблю яблочные пироги.

– Пожалуйста, – оживилась Клара, – не проблема. Пусть кто-нибудь сходит за яблоками, и я с удовольствием испеку пирог. Даже два.

Кузя переглянулась с Кротом и сделала вид, что это ее не касается. Крот поежился и еще глубже вжался в стул.

– Вот, – сказал Кит, указывая на них обвиняющим пальцем. – Твое разлагающее влияние.

Клара хитро посмотрела на него из-под длинных ресниц и предложила:

– Сходи за яблочками?

Кит встал и вышел. Из соседней комнаты донесся скрип письменного стола.

– Да, – сказала Клара, – мое разлагающее влияние.

На ужин снова была фасоль.

– Ну послушай, – ласково сказала Кузя, – это же несложно. Ты заходишь, вот так

Она встала и открыла перед собой воображаемую дверь.

– Потом говоришь: «Дайте, пожалуйста, два килограмма яблок».

– Три, – вставил Кит.

– Три, – кивнула Кузя. – Потом подаешь деньги, берешь пакет и уходишь. И все!

– И все, – повторил Кит. – Очень просто.

– А потом, – мечтательно сказала Клара, – я испеку пирог.

– Два, – застенчиво поправил ее Крот и взял пальто.

– Два! – согласилась Клара. – Один – тебе. Лично.

– Мне лично, – повторил Крот и улыбнулся, показав на секунду ямочки на щеках.

На улице было довольно тесно. Крот шел, надвинув шапку до самых бровей и лавируя между прохожими. Возле овощного магазина он затормозил и попятился – из дверей овощного выскочила девочка с клетчатой сумкой.

– Бабушка! – закричала она на всю улицу. – Бабушка, иди скорей! Я очередь за апельсинами заняла!

Крот, которого криком девочки отнесло на два метра от входа в магазин, выбрал момент, когда девочка отодвинулась на несколько шагов, а ее бабушка еще не появилась, сделал глубокий вдох и боком пробрался внутрь. Внутри, поперек магазина, стояла два-

дцатиголовая сороконожка. Она извивалась, крутилась и болтливо общалась сама с собой. Крот вошел и по-прежнему боком дошел до яблок. Они успокаивающе пахли сырой землей.

Теперь сороконожка обступала Крота со всех сторон. Часть голов у сороконожки была повыше, часть – пониже, какие-то головы носили волосы, а некоторые были без волос. На каждой голове был рот, почти все эти рты были открыты, и в каждом мелькали заметные белые зубы.

«Если бы они еще не издавали звуков», – подумал Крот. Он решил немножко постоять на месте и подумать о яблочном пироге.

– Мальчик, выбирай быстрее, – сказала одна из голов, в белой шапке с вязанным цветком. – Люди ждут.

Крот потянулся к яблокам и уронил пакет.

– Безобразие, – сказал женский голос за его спиной. – Я на полчаса с работы вышла, а ты тут копаешься. Ну бери же, бери.

Пакет забился куда-то под прилавок, и Крот встал на колени, чтобы его достать. Теперь возле яблок торчал его зад, обтянутый зелеными штанами. Проклятый пакет не желал вылезать. Крот вполне его понимал: под прилавком было темно и тихо. «Я дам тебе кусочек яблочного пирога», – шепотом пообещал он пакету, поддел за торчащее ухо и потянул наружу. Пакет подался вперед, недовольно шурша. Когда Крот встал, вокруг не осталось ни одной головы из тех, кто стоял там раньше – видимо, они набрали яблок и ушли.

– Мальчик, давай быстрее, – сказала какая-то совсем другая голова, которая, наверное, не была виновата, что голов на свете много, а слов – мало, поэтому слово «быстрее» приходится использовать чаще, чем все остальные слова. Яблоки прыгали в ладонь и выпрыгивали из нее в пакет. Пока Крот был занят яблоками и шевелился, на него, кажется, даже никто не смотрел. «Молодцы», – похвалил он яблоки. И тут заметил, что вредный пакет – видимо, пока прятался под прилавком – успел порваться, поэтому теперь каждое яблоко проделывает долгий путь: из ладони в пакет, а из пакета – на пол. Пол был грязным и золотисто-красные яблоки очень его оживляли.

– Безобразие, – сказал женский голос. – Хулиган.

Крот представил, как сейчас будет ползать по полу, собирая яблоки по одному, а вокруг будет стоять болтливая сороконожка, толкаясь ногами. Яблоки будут бегать и прятаться в разных местах, а одно обязательно скатится в лужу.

– Мальчик, что ты копаешься?

Крот оглянулся. Вплотную к нему стояла сороконожка, и во все глаза смотрела ему в лицо. Он решил попробовать сделать так, как ему когда-то велела Кузя.

– Не обращай внимания на людей, – говорила она. – Делай вид, что ты один. Тогда и тебя не заметят.

Крот сделал вид, что он один, развернулся, толкнув кого-то в живот, и выбежал из магазина.

Снаружи стояла Кузя.

– Никак? – спросила она, подходя к Кроту. Он мотнул головой.

– Ну и ладно, – Кузя отвернулась от магазина. – Нужны они нам, эти яблоки. Можно и на фасоли прожить. А в следующий понедельник папа пойдет в магазин.

Крот шел за ней, постепенно приходя в себя. У Кузи было пальто с рыжим хлястиком на спине. На хлястик с двух сторон пришили большие пуговицы, отчего казалось, что хлястик смотрит двумя глазами. Крот ему подмигнул, а хлястик ему улыбнулся. Он всегда улыбался.

– А чего ты пришла сюда за мной? Дома кто-то есть?

– Да, – отозвалась Кузя, не оборачиваясь. – К Кларе в гости пришла Руфина.

– Тогда в парк? – спросил Крот, беря правей.

– Ага, в парк. Семечек хочешь? – Кузя порылась в кармане. – У меня остались. Ты же свои уже съел?

– Съел, – согласился Крот, протягивая сложенную лодочкой ладонь. Семечки приятно шуршали, и Крот подумал, что они, пожалуй, не хуже яблочных пирогов.

Кит сидел за столом и читал. Под закрытой дверью лежала влажная тряпка, затыкавшая щель. Верхние дверные углы были приклеены к стене широкой липкой лентой. Когда Клара снаружи подергала дверь, лента заскрипела, но не поддалась.

– Сейчас, – не оборачиваясь, сказал Кит. – Я дочитываю.

– Кит, все ушли, – сообщила Клара двери. – Ты можешь выходить.

Она нажала, и на этот раз дверь открылась под громкий треск липкой ленты.

– По-моему, от голоса липкая лента не спасает.

– От голоса Руфины спасает только ядерная бомбардировка, – Кит оторвался от книги. – В смысле заглушить.

– Я не смогла организовать ядерную бомбардировку. Я сама узнала за полчаса.

– И тебе было неудобно сказать, что ты занята, – продолжил Кит.

– Но я же не занята, – сказала Клара. У неё болела голова. – Дети еще не вернулись?

– Они не рассчитывали, что всё так быстро кончится. А кстати, зачем она приходила?

– Сказала «хочу поздравить». Ты случайно не знаешь, с чем меня можно было бы поздравлять?

– Тебя? – Кит нахмурился. – День рождения у тебя в апреле, новый год – в январе, восьмое марта – в марте. Не знаю.

– Вот и я не знаю, – вздохнула Клара. – Но она принесла подарок. Клара поставила на стол небольшой горшочек с чем-то зеленым внутри.

– Что это?

– Венерина мухоловка.

Кит крутнулся на стуле и склонился над зеленым горшочком.

– Какая мухоловка? Венерино что?

– Венерина мухоловка, – повторила Клара. – Семейство росянок. В общем, оно ест мух. То есть она.

– Если «венерина», то, видимо, она, – бормотал Кит, разглядывая зеленые ростки. – Выглядит, надо сказать, довольно непристойно.

В горшочке сидело несколько толстых коротких стеблей, каждый из которых увенчивался чем-то вроде распахнутой волосатой ракушки. Створки ракушек были красного цвета, а само растение – зеленым.

– Сам ты выглядишь непристойно, – сказала Клара. – А оно – природа. В природе ничего непристойного нет, в ней все – результат естественного отбора. Вот, смотри. Внутри одной из створок кладут муху. А оно её цап! – и ест. В инструкции написано, что ему хватает полмухи в неделю.

Кит осторожно потрогал кончиком пальца поверхность одной из ракушек. Ракушка немедленно схлопнула створки. Кит отдернул палец.

– А что она еще ест? Кроме мух?

– Еще – сырое мясо. Только без соли, соль ей вредна.

– Ну хорошо, – Кит снял очки и стал протирать их подолом Клаариной кофты. – Соль ей вредна, зовут ее «венерина мухоловка», и ее непристойный вид – это результат естественного отбора. Но скажи мне, пожалуйста, где мы возьмем ей мух?

Крот стоял на подоконнике с полотенцем. Кузя смотрела снизу.

– Левей! – командовала она, и Крот сдвигался на сантиметр левей. – Правей! – кричала Кузя через минуту, и Крот балансировал на одной ноге.

– Упадешь, – сказала Клара, заглядывая в комнату.

– А мухи? – возмутилась Кузя. – Ты же знаешь, мы за всю неделю не поймали ни одной. Животное страдает.

Клара покосилась на венерину мухоловку на столе.

– Так по нему и не скажешь.

– На обед опять фасоль? – осведомилась Кузя в спину выходящей Кларе. Крот тем временем махнул полотенцем в последний раз и спрыгнул с подоконника.

– Я тебе говорю, это не муха, это пятно на потолке. Оно за полтора часа ни разу не шевельнулось.

– Других все равно нет, – отозвалась Кузя. – А в магазин папа только в следующий понедельник пойдет.

– Фасоль, – печально констатировал Крот.

– Росянки не едят фасоль, – Кузя сморщилась.

– Она не росянка, она – «венерина мухоловка». Может, съест?

– Эту фасоль даже Кит уже не ест. А такая нежная девочка съест?

– Это кто тут «нежная девочка»? – не понял Крот.

Кузя махнула рукой и пошла отрывать Кита от книги.

– Нет, – отозвался Кит, не оборачиваясь. – Даже не проси.

– Но она умрет! – с жаром воскликнула Кузя.

– Тогда пойди в магазин и купи ей мяса. И нам заодно.

Кузя умолчала о том, что она уже ходила. Но в мясной магазин зайти не сумела, зато попыталась поймать муху в парке. И ни одной не нашла.

– Может, у нас остался кусочек колбасы?

– Если бы у нас остался кусочек колбасы, мы бы давно его съели.

Кузя всхлипнула. Кит, не оборачиваясь, похлопал ее по плечу.

– Наша семья не приспособлена к воспитанию росянок, малыш.

У всех есть свои ограничения.

– Она же не виновата – ныла Кузя, кругами ходя вокруг Кита, – она же не напрашивалась. Её же не спросили.

– Вчера, – Кит придержал книгу пальцем, – Клара дошла до продуктового. И даже зашла внутрь. Продавщица назвала ее

«женщина» и сказала, что с такой фигурой так одеваться не стоит. Добавив «тем более, в вашем возрасте». Ты хочешь, чтобы Клара пошла туда еще раз, чтоб накормить росянку?

– Теперь понятно, – протянула Кузя, – почему она такая грустная с утра.

– Кто? Клара?

– Да нет, росянка! Я думала, Клара ей все-таки что-нибудь купила. Ну маленькое такое. Клара, кстати, тоже грустная с утра. Я думала, она купила что-то маленькое, за которым не надо внутрь магазина заходить. Говорит, у нее жизнь не удалась.

Кит присвистнул:

– Кто говорит? Росянка?

– Да ну тебя, – Кузя уселась на подоконник и задумалась. Кит продолжал читать.

Ночью он подошел к венериной мухоловке.

– Ну чего? Страдаешь?

Мухоловка молчала.

– Вид у тебя не очень счастливый. Может, тебе фасоли дать? Хотя эту фасоль уже даже мы не можем есть. Ты понимаешь, она хранится в морозильнике без проблем. А булочки подолгу, к сожалению, не лежат

Он закрыл дверь и заклеил верхние углы липкой лентой. Потом достал из ящика перочинный ножик и склонился над горшочком.

– На улицу я ради тебя не пойду, – бормотал Кит, открывая нож, – выхожу я раз в месяц, по понедельникам. Чаще не могу, хоть ты меня режь. Я бы и резал, только моя семья, к сожалению, такого не ест. Но ты-то ешь!

Он сморщился и быстро полоснул по пальцу. В росянку закапала кровь. Шепотом чертыхаясь, Кит прижал нож к порезу, нажав посильней. Крови стало больше.

– Что за ерунда, – разозлился Кит. – Как мясо на жаркое резать, так куски от пальца сами отваливаются. А как для дела, так одна вода?

Он представил жаркое, шкворчащее на сковородке, размахнулся и рубанул сверху вниз. От пальца отделился маленький кусочек. Кит подцепил его кончиком ножа и сунул в одну из створок венериной мухоловки. Створка захлопнулась.

– Ну вот, – он порылся в ящике и вынул пластырь. – Теперь неделю можно не волноваться. Что бы они ни говорили, а я полезный. В отличие от некоторых, которые только и могут с полотенцем по подоконнику прыгать и фасоль ругать.

Через несколько дней Крот вышел к завтраку и зажмурился. Постоял немножко, потом осторожно открыл глаза. На столе стояла миска со свежими булочками. Рядом в вазе лежали яблоки. Напротив, держась за стул, стояла Кузя.

– Сегодня понедельник? – спросил Крот.

– Нет, – ответила Кузя, и Крот понял, что еда на столе – не ее работа.

В кухню вышел Кит. Рассеянно взял яблоко, стал жевать.

– Что ты на меня так смотришь? – спросил он Крота, придвигая булочки. – Кто пирога хотел?

– Я, – прошептал Крот. – Это Клара, да?

– Клара еще спит. А слишком любопытные могут сами сделать начинку. Сахар на полке.

– Я сделаю! – вызвалась Кузя. – Клара встанет, а у нас уже все готово!

– Отлично, – кивнул ей Кит, взял булочку и устроился в кресле, открыв журнал.

Письменный стол казался золотистым от света настольной лампы. Клара присела на подлокотник.

– Кит, а где росянка?

– Росянка? – Кит был невнимателен: он читал газету.

– Ну, венерина мухоловка, которую Руфина подарила. Такое смешное растение, похожее на распахнутые ракушки. Она сначала стояла на столе, а потом я про нее забыла. Где она, ты не знаешь?

– За хлебом пошла.

Клара нырнула за газетный лист. Оттуда на нее смотрел серьезный Кит.

– Мне лучше не спрашивать, да? – уточнила Клара.

– Почему, ты можешь спокойно спрашивать. Венерина мухоловка пошла за хлебом. Заодно я попросил ее купить еще муки.

Клара вспомнила, как быстро захлопывались створки венериной мухоловки, если их трогали пальцем.

– Да, такую сложно обидеть. Она даже в продуктивном не пропадет.

– Вот именно, – сказал Кит, углубляясь обратно в газету. – Так что не волнуйся. К ужину будет.

Ночные тени мягко окутывали кабинет. Кит привычным жестом достал карманный ножик и сел на стол возле заметно подросшей росянки.

– Как ты тут у меня, трудяга? В прачечную ходила – не обижали тебя?

Венерина мухоловка молчала. Кит ловко отхватил маленький кусочек мизинца и скинул в створку. Створка захлопнулась.

– Молодец, малышка. Приятного аппетита. Значит так: завтра ты перевариваешь, я тебя трогать не буду. А на послезавтра найдется дело. За едой пока ходить не надо, у нас все есть, но послезавтра – первое сентября. Крот идет в школу. И я хотел тебя попросить походить туда вместе с ним. Не пугайся, учиться тебе не придется – Крот отлично соображает. Но, ты же знаешь, когда к нему приближаются люди, он

Кит рассеянно погладил пальцем одну из раскрытых ракушек. Ракушка захлопнулась.

– Вот-вот. Об этом я и говорю. А ты у нас самая общительная в семье. Сходишь с ним, хорошо? Да, и вот еще что. Будешь проходить мимо аптеки – пластырь купи.

Подмигнув росянке, Кит слез со стола. Покосился на медленно светлеющие окна, зевнул и отправился спать, взяв со стола журнал – почитать перед сном.

Инна Винярская

ОСЕНЬ ВСТУПАЕТ В ОКЛЯБРЬ

* * *

Хокку – игра ума.
А что – не игра?
Нет ничего, что «не».

* * *

Полола в саду сорняки.
Нельзя их так ненавидеть –
Это всего лишь трава!

* * *

Мотылёк пролетел
Под радугой невесомой –
Поливаю траву в саду.

* * *

Ладонями многопальными
Занавесила пальма окно.
В доме зелёная темнота.

* * *

Рассвет настаёт:
В тихом и сером саду
Птица свистит.

* * *

Два мотылька дерутся.
С крыльев их облетает
Пыльца на бумажный лист.

* * *

Луна кругла и полна.
Любоваться ею мешает
Свет фонарей на столбах.

* * *

Жара. Нечем дышать.
Ходила на рынок за рыбой.
Рыбе живой хуже, чем мне.

* * *

В семнадцать ноль-ноль
Спускается вечер над домом,
Над летом, над жизнью моей

* * *

Ах, этот рынок!
Сколько цветущей жизни!
Запахи бьют наповал.

* * *

Серые облака
С серебряною изнанкой –
Осень вступает в октябрь.

* * *

Как я люблю тишину!
Как меня шум раздражает!
Как я боюсь тишины

* * *

Главное в обучении –
Не заставляя, хвалить
И изредка поправлять.”

* * *

В короткие три строки
Совести мук не втиснуть,
А длинно писать нет сил.

* * *

По радио передают
Много любимых песен –
Господи! Кто-то погиб?..

* * *

Вот как бывает:
Славно придумалось, но –
Тут же рассыпалось в прах.

* * *

Мыслей обрывки,
Словно овощи в супе:
Разварены и невкусны.

* * *

Дети воют.
Родители дома сидят.
Страх бесконечный!

* * *

С балкона гляжу
На нашу траву в саду:
Зеленее, чем у Эли-соседа!

* * *

Бодрые голоса
Дикторов говорливых,
Словно и нет войны

* * *

Много ли фальши
В трёх отмеренных строчках?
О, много: весь мир

* * *

Жизнь коротка, а мысль
Длинна, как старость.

* * *

Сейчас довольно мне двух строк,
Потом, даст Бог, в одну я уложусь.

Михаил Тончарок
ВО ВРАТЛАХ ТВОИХ

В десять часов утра я приближался к знакомому зданию больницы «Шаарей-цэдек», чье название в переводе означает «Врата милосердия», «Врата справедливости» либо «Врата праведности»; каждый философски может выбрать подходящий ему лично термин. Я лично предпочитал не думать на философские темы, я просто шел к этому зданию, постепенно замедляя шаги. Мне страшно не хотелось туда заходить. Я посмотрел на небо, там было солнышко. Почему бы мне не остановиться и не сделать вид, что я тут совершенно не при чем? Вон идут люди. Веселые, жизнерадостные люди. Они идут на работу или с работы – мимо больницы. Я хочу сделать вид, что я такой же, как они. Пуркуа бы не па, так сказать? А?

Не хочу заходить.

Перед входом я с готовностью остановился и вытащил из заднего кармана пачку сигарет. *«Лицо у него было вытянуто от общего разочарования»*, – закуривая, вспомнил я фразу. Откуда это? А, нет... В оригинале было так: *«в стороне мрачно веселилась компания безденежных донов с вытянутыми от общей разочарованности физиономиями»*. Именно.

Многэтажное здание нависало над головой. Я посмотрел на последний этаж. *«...над ним нависало... нависало... нелепо нависало... нависало нелепое серое здание, битком набитое обреченными людьми»*, – пытался вспомнить я. Да, там шла речь о Центре, а тут наоборот, но разницы-то нет.

Я курил, глубоко затягиваясь, и с надеждой крутил головой по сторонам. Где этот Господь, весь в синих молниях? Он должен вмешаться, дать мне сигнал... намек... знак. Весело гомонила проходившая мимо толпа. Сияло солнышко, раскачивалась и тихо шумела на легком ветерке листва деревьев больничного парка. Намека не было. *И по лужам у ручья будет кто-то бегать, но не я-я-а-а-а...* – фальшиво пропел я вполголоса. Охранник, проверивший у входа сумки, подозрительно посмотрел в мою сторону. Я вздохнул, бросил окурочок в урну и вошел мимо него в здание.

Шаркающей кавалерийской походкой я приблизился к тётке, ведающей диспетчерской службой. Тетка всюю нажимала кнопки и переводила телефонные разговоры. Не то что я нуждался в ее услугах – мне страшно не хотелось поворачивать к лифтам. Я помнил, что отделение находится на втором этаже. Тётка, не переставая нажимать кнопки и топя полными ногами в такт, приветливо посмотрела на меня. Я открыл рот, постоял так несколько секунд, потом махнул рукой и прошел мимо нее. Тётка одобрительно кивнула. Видимо, не впервые попадались ей такие посетители. Малохолельные... Малосольные... Какие еще огурцы, господи?.. – вяло подумал я и прошаркал к лифту. Может, он еще где-нибудь на верхотуре, может, пока спустится, пройдет хоть полминуты... может, даже больше. Я медленно нажал кнопку. Я почувствовал, что металл кнопки теплее моих пальцев.

Лифт открылся тут же. Засопев, я вошел внутрь.

В отделении было пустынно. Прием больных расписан загодя, пробок нет и не предвидится. Проклятье... Черт бы побрал эту услужливую медицинскую пунктуальность. Куда веселее было сидеть в российских очередях – прежде, чем тебя примет врач, успеешь поболтать с народом, пожаловаться соседу, в свою очередь выслушать его историю, скорбно кивая головой и делая вид, что слушаешь.

Никакой очереди. Ведя рукой по стенке, я медленно подошел к окошечку, за которым сидели три симпатичные девицы в белых халатах. Медсестры. Или просто секретарши. Скривившись, я уставился на них. Они заулыбались. Я заметил, что у всех трех была одинаково белозубые улыбки. Профессиональные.

– Три девицы под окном пряли поздно вечерком, – скорбно сказал я вполголоса, машинально переводя на иврит строчки великого поэта.

– Сейчас утро, – возразила одна, но девицы не удивились. Как и тётка в диспетчерской, они привыкли ко всему.

– Что у тебя?.. – спросила средняя. Черный локон кокетливо высовывался из-под белой косынки. Она протянула руку.

– Это... Биопсия сегодня. – сказал я и зачем-то добавил: – У меня.

– Угу, – сказала она, принимая бумаги.

Мельком проглядывая направление и результаты предыдущих проверок, она нажала кнопку в стене. На меня глаз она больше не поднимала. Вот, подумал я, как это... а-а: «*Прошу, – сказал гвардеец, возвращая бумаги и, не глядя на него, нажал кнопку в стене*».

– Прошу, – сказала она. Дверь распахнулась, и я вошел в отделение. Счастливо, хором сказали девицы, и я, не оглядываясь, вяло помахал им рукой.

В отделении, как и в коридоре, было пустынно. Замигала зеленая лампочка, распахнулась еще какая-то дверь, из-за нее высунулся врач. Его пышущее здоровьем лицо сияло благожелательностью.

– Русский? – наметанным глазом определил он. Шаркая, я допелся до него и остановился.

– Еврей, – возразил я.

– Русский еврей, – резюмировал он и жизнерадостно потряс мне вялую руку. – Вижу по глазам. – Он перешел на родной язык. – Я тоже из России. Очень приятно. Я – Дима Философ.

– А я – Миша-историк, – сказал я, ничему не удивляясь.

Он заглянул в бумаги, которые я подал ему.

– А тут написана другая фамилия, – озадаченно сказал он. – Это какая-то ошибка? Тебя назначили на пол-одиннадцатого?

– Да, – ответил я, глядя на лампочку над его головой. – Историк – это профессия такая. Моя.

– А-а, – сказал он, – а Философ – это такая фамилия. Моя.

Я ничему не удивлялся. Я знаком со врачами с фамилиями Лондон, Бухарест, Берлин и даже с оптовым торговцем по фамилии Алматы.

– Ну-с, – бодро сказал он, – продолжаем разговор. – Чего ты пришел? Ты себя плохо чувствуешь? Выглядишь ты неплохо...

Я перевел взгляд с лампочки на его пышные кудри.

– А ты раскрой папку и прочти, там написано, чего я пришел – посоветовал я. Мне не хотелось шутить.

Меня раздражало, что у него такой жизнеутверждающий тон.

Он открыл папку и посмотрел на лежащий сверху лист бумаги.

– Ага, – бодро сказал он, – тебя направили на вторичную проверку. Так что ты знаешь, как себя вести и что нужно делать, верно?

– Верно, – буркнул я и подтянул штаны, на которых вдруг ослаб ремень.

– Но почему тебя направили к нам вторично? – продолжал он размышлять вслух.

Я с ненавистью уставился на его классический профиль и ткнул пальцем в следующий лист. – Мой профессор решил, что нужно проверить результаты предыдущей... – начал я, но он, проглядев заключение по диагонали, уже смотрел в самый низ бумаги.

– Ага, вот! – возвестил он и с торжеством поднял указательный палец. – Эврика. Ага. Гм... Ну, то, что у тебя рак, ты уже знаешь, верно?

...Я читал, что в таких ситуациях люди ведут себя по-разному. Сам я никогда – до этого дня – в таких ситуациях не был. Но читал, что вариантов может быть, как минимум, три: человек молча падает в обморок, или начинает истерически кричать, что это – ошибка, или, наконец – истерически же – хохочет. Не знаю. У меня не сработал ни один из описанных в литературе вариантов. Я почувствовал, что как бы нахожусь вне своего тела. Совершенно отстраненно я смотрел на себя сверху. Вот стоит он, то есть я, меланхолически покачиваясь с пятки на носок; а вот я – тот же он – равнодушно-внимательно наблюдаю за этой фигурой откуда-то из верхнего правого угла комнаты, из-под потолка.

Один мой знакомый писатель сказал как-то, что это – самое правильное поведение. Ты должен, сказал он, всегда, в любой ситуации наблюдать за ситуацией со стороны, как будто ты – вне ее. Это совершенно необходимо для фиксации мгновения, с тем, чтобы в дальнейшем перенести произошедшее на бумагу. Это как раз и выдает настоящего писателя, такое поведение.

Не знаю. Сказать, что у меня ослабли руки или ноги, было бы литературным преувеличением. Ничего у меня не ослабло. Я даже не вспотел. Я стоял, молчал и смотрел на доктора. Мне вспомнилась кукла Марина из комнаты моей дочки. Кукла эта умеет делать только две вещи – открывать и закрывать глаза и пищать слово «ма-ма». Я был похож на эту куклу.

В тот же момент мне на ум пришли две цитаты одновременно.

Пауза, включившая в себя все это – мое одеревенение, ощущение выхода из собственного тела, а также цитаты разной степени жизнерадостности – продолжалась секунды три. Доктор, дружелюбно улыбаясь, смотрел на меня. *Курсант Пек Зенай, вернись, пожалуйста, с неба на землю*, – вспомнилось еще мне, и я разлепил губы.

– Дорогой доктор, а давай ты посмотришь еще раз, что там написано, – вкрадчиво сказал я, удивляясь как бы со стороны, что голос у меня вовсе даже и не дрожит, и что вообще ничего не изменилось.

– Давай, – тут же согласился он, и мы стали тыкать пальцами в низ листа. Потом мы хором прочитали последнюю фразу, и доктор-философ недовольно скривился.

– Да, – неохотно сказал он, – тут написано, что это может быть, но что это необязательно...

– Вот, – сказал я, – для этого меня и прислали сюда еще раз. Ну, пошли, что ли?

– Пошли, – кивнул он, и мы, взяв друг друга под руку, отправились в операционную. По дороге я не удержался и сказал:

– Знаешь, Дима, а вот если бы тут вместо меня стоял бы какой-нибудь сердечник, поминутно глотающий валидол, или какая-нибудь баба, еще более психованная, чем я, – что бы с ними было? Они упали бы замертво, и тебе самому же пришлось бы с ними потом возиться... Нет?

– Да, – возразил он, – однако ты не похож ни на сердечника, ни даже на бабу... И валидола я у тебя что-то тоже не заметил. У меня наметанный глаз, не беспокойся.

– Не буду беспокоиться, – согласился я (мне не хотелось спорить), и тут мы остановились перед входом в операционную.

Мы стали выделывать пассы руками, предлагая собеседнику войти первым. Я даже поклонился. Мы походили на Чичикова и Манилова в сцене входа в гостиную перед обедом. В конце концов мы вошли в комнату оба, боком, слегка притиснув друг друга.

В операционной царила ослепительной и странной красоты медсестра. Лет ей было не то двадцать, не то сорок. Я сразу вспомнил госпожу Мозес. О, чудо! И звали ее так же – Ольгой.

Этого еще не хватает – женщина. Я подтянул брюки.

– Ну-те-с, приступим, – сказал доктор Философ и включил какой-то экран. – Снимай штаны.

Снимайте штаны, сударыня, сурово проговорил профессор, – машинально пробормотал я. Госпожа Мозес захихикала. Она тоже знала русский язык.

– Не будем терять времени, – сказал Философ, – ты у меня сегодня уже десятый, а до вечера мне предстоит уговаривать еще тридцать четыре человека, и все со своими тараканами, – снимай штаны, тебе говорят.

– Но тут дама, – возразил я, – я не привык снимать штаны перед дамами, которым я даже не представлен...

Он вздохнул и повернул рычаг. Зажглись разноцветные лампочки и загудел какой-то прибор под самым потолком. – Ольга, – сказал он, повернувшись вполборота и не глядя на нас, – это историк Миша. Историк, это Ольга. Очень приятно. Помогите снять историка штаны... Время – деньги.

– *Как говорил один мой знакомый (теперь покойник) – куйте деньги, не отходя от кассы,* – нервно процитировал я, схватившись за ремень брюк и глядя на приближающуюся медсестру. Не доходя до меня полуметра, она остановилась.

– Я что – жоп не видела? – сказала она. – Я вижу жопы по пятьдесят штук в день, они на меня не действуют. Я устала по пятьдесят раз в день объяснять это владельцам этих жоп... Мы положим тебя на бок, не беспокойся.

– Да? – спросил я. – Это точно – на бок?

– Здесь нет гинекологического кресла, – терпеливо сказала она (веселый доктор щелкал тумблерами своей машины), – разуй глаза. Вот если бы тут было гинекологическое кресло... Ну, будь панишкой, историк. Ты разве видишь здесь гинекологическое...

– Слушайте, хватит уже болтать, – проговорил философичный доктор. – Ложись на бок!

Конфузливо отвернувшись от медсестры, я лег на бок.

В течение последующих пятнадцати минут мы вели интеллектуальную беседу. Я не буду описывать то, что выходило за рамки

этой беседы; женщины всяко меня поймут, а тем мужчинам, которые не поймут, этого и описывать не стоит – сами узнают, если придет время, храни их Аллах.

Я напропалую цитировал Стругацких, Булгакова и Губермана; доктор отвечал мне каскадами цитат из университетского учебника внутренних болезней; госпожа Мозес с грустью поминала второй инсульт Аксенова. Мы были очень довольны друг другом. Что-то щелкало, гудело, иногда я подпрыгивал на столе.

– Паинька, – говорила медсестра и ласково гладила мой мокрый лоб. – Просто зайчик какой-то, такой лапочка!

Иногда доктор хмыкал, и тогда я настороженно поднимал голову.

– Что?!..

– Ничего, – говорил он, – ничего... Ничего такого я пока не вижу... но это визуально... вот пошлем результаты в лабораторию, тогда и узнаем. Лежи, лежи... расслабься.

– Постарайтесь расслабиться и получать удовольствие, – вспомнил я вслух, он неожиданно захохотал и что-то повернул во мне. Я взвыл.

– Ой, биг пардон, – сконфузился он, – ты меньше Губермана цитируй, а то смешно очень.

– Это не Губерман, – возразил я, это народное...

– Губерман это и есть подлинно народное, – рассеянно проворкотал он.

– Выпить очень хочется, – пожаловался я. Он мотнул головой Ольге. Что-то булькнуло, звякнуло, и прекрасная рука с холеными ногтями поднесла к моим губам мензурку.

– Эфир? – насторожился я.

– Спирт, – успокаивающе произнес хрустальный голос медсестры. Ничего себе, подумал я и осторожно, стараясь не расплескать, выпил мензурку из очень неудобного положения, не отрывая головы от клеенки, застилавшей мое ложе.

Потом я звучно потянул носом.

– Ну как, полегчало? – спросил он. – Обычно мы выпить, ты же понимаешь, не даем, это уж больно накладно вышло бы, все же пятьдесят жоп в день; но вот Ольга говорит, что ты – зайчик и лапочка... и стишки цитируешь, и вообще. Так что...

– И курить захотелось, – перебил его я. У меня очень быстро зашумело в голове.

Доктор был настолько любезен, что мотнул головой еще раз, медсестра включила вентилятор, и к моим губам был поднесен зажженный «кэмел». Я попытался его схватить ртом, но сигарета увернулась.

– Две затяжки, и хватит, – произнес хрустальный голос.

Пастушка младая на рынок спешит, – пробормотал я, жадно затягиваясь. – Большое спасибо...

Минуты две мы молчали. Я расслабился и стал было размышлять, не попробовать ли мне действительно *попытаться получить удовольствие*. Но в этот момент в голову пришла трезвая мысль о поводе, в связи с которым я очутился на этом столе и в этой комнате. Я завертел головой.

– Слушай, философ, – обеспокоенно сказал я, – а это... а если это действительно онкология? А?

– Ну и что? – ответил он. – Даже если и так, то в твоём случае это не очень смертельно. И вообще, мы же ничего не знаем, ответ

будет только через пару недель. Ну, в крайнем случае вырежут тебе кое-что... жить будешь.

– Жить-то буду, – сварливо возразил я, – но мне иногда и еще чего-то надо! Кроме жить! Я... (я покосился на Мозесиху), я, вообще говоря, кроме книжек, еще и женщин люблю. И я женат, массаж! Эта, блядь, простата...

– Всё, слезай со стола, – распорядился он. – Всё замечательно. За ответом придешь через пару недель. Не нервничай. Постарайся глубже дышать. Аутотренинг знаешь? Йогу. Вот и займись. Ну все, до свиданья. Только, слышь, там не говори, что мы дали тебе выпить... До свидания. Всего хорошего. Ольга, следующего.

Кряхтя, я слез со стола и привел себя в порядок. Потом поцеловал ручку медсестре (она засмеялась) и подошел к доктору.

– Спасибо, философ – сказал я. – А все же, вот если это окажется...

– Слушай, – сказал он нетерпеливо, – постарайся поменьше произносить это слово. Я-то врач, мне можно. А тебе нужно помнить, как это... *Ангелы слышат мысли, а...*

– ...а бесы – слова, – подхватил я.

– Вот, – сказал он и улыбнулся. Мы пожали друг другу руки.

– ...И в лицо посмотрел со значением, – процитировал я напоследок.

– Вот именно, – кивнул он.

Я повернулся к госпоже Мозес и, склонив голову, щелкнул каблуками воображаемых сапог. И тут же скривился от боли.

– Осторожненько, – сказала она, – полегонечку... И не гони волну, все образуется. Так или иначе.

– Лучше так, чем иначе, – искательно заглядывая ей в глаза, начал я, но тут открылась дверь, и в операционную ввалилось существо лет пятидесяти, со взлохмаченными космами полуседых волос и безумным взглядом выпученных глаз. Существо тащили под руки двое дюжих санитаров. Еще одна жопа, мелькнула мысль, и я по стенке – бочком, бочком, – выскользнул из комнаты. Дверь автоматически захлопнулась следом за мной.

...Я подходил к выходу из больницы. За окнами синело небо, под легким ветерком безмятежно раскачивались чудесные цветы на газонах в больничном саду. Под влиянием ли паров выпитого спирта у меня значительно улучшилось настроение. *Нужно добавить*, подумалось мне. Я потер себя сзади. Я вспомнил рецепт Воланда, потом семерых китайских пьяниц, именуемых Мудрецами бамбуковой рощи, потом – безо всякого перехода – пришел на ум отрывок из повести о Ходже Насреддине:

– *Так в чем же препятствие?* – дружелюбно и радостно сказал эмир. – *Сейчас мы позовем лекаря, он возьмет свои ножи, и ты удалишься с ним куда-нибудь в уединенное место, а мы тем временем прикажем написать указ о назначении тебя главным евнухом.*

И тут я понял, что именно этим – синющим небом, цветами на клумбах, бамбуковыми мудрецами и возмутителем спокойствия из древней Бухары – сигнализирует мне Господь, весь в синих молниях, – Господь, которого так тщетно призывал я утром. Жизнь была прекрасной. Она была вечной. «Жизнь!» – заорал я, и охранник у выхода, попятившись, схватился за пистолет.

Я закинул голову, захохотал и вывалился на улицу, в неяркое полуденное солнце, ласковый ветер и запахи цветов.

Ирина Рувинская
И НИКАКАЯ НЕ ЛЮБОВЬ

* * *

В. М.

это я
мне холодно и мало
больше горячей
стать твоей бы я не побоялась
страшно быть ничьей

и в тупик судьбы нашей кривая
загоняет нас
ты меня

невольно убиваешь
думая что спас

декабрь 1972

* * *

памяти В. М.

навстречу идёшь в берете в коротком пальто
смеёшься и машешь рукой

но что-то не то

а-а ты ведь умер
вот оно что

декабрь 2008

* * *

явился и исчез
и через год возник
скрипач невидимый шутник
опять игра то холоднее то теплее
картавый голос буквы на дисплее

и то ли пела скрипка то ли это шум
за окнами

и вечер колобродит
и чеховская «шуточка» на ум
приходит и приходит

КЛЕТКА

1.

это просто так
просто лоб
 бровь и бровь
и никакая не любовь
это просто рот
хочешь выпить что-нибудь
любишь когда целуют грудь
но только просто так
 просто так

потому что не ночь и за окном орут как назло
и может прийти дочь и тебе никогда не везло
а ему иногда везло и может прийти сын
и совсем не ночь светло

2.

в большой своей тетради в клетку
он обвёл одну клетку
он отвёл тебе одну клетку
отвёл тебя в клетку
вошёл в клетку
и обнял тебя

он не понял
ты большая
ты больше всей его тетради
большой
тетради
в клетку

3.

в море ночном
в октябре во второй половине
тёплом
(а там -то давно лета нет и в помине)
не здесь ну зачем не в машине
нигде никогда не начнём
 но других не придумано игр
и других ни разу не сказанных фраз
только миг
расширенных глаз
расширенных глаз

* * *

маме

вот и я ставлю на ночь
 воду на тумбочку у кровати
 стала в пять просыпаться
 и всё уже не засну
 и сидит на мне как влитое
 твоё последнее платье
 и повторять полюбила
 камень упал на кувшин горе кувшину
 кувшин упал на камень горе кувшину

* * *

*Памяти моего деда Арнольда Бернштейна,
 издателя*

за горами-долами на родине милой
 где сегодня летает-кружится снежок молодой
 а весной зарастают родные могилы
 лебедой-лебедой
 где теперь как чужое звучит уже
 русское слово
 в лесопарке тогда хоронили их без гробов
 кто-то видел его ещё осенью тридцать седьмого
 старика ни волос ни зубов
 в сорок шесть
 не осталось почти фотографий
 знаю били и в пах и под дых
 но всегда будоражит меня этот дух типографий
 запах клея горячего краски
 и книг

* * *

под отельчиком на задворках парижа
 в пять уже начинают
 лязгать и грохотать
 и похлеще нашей стоит жарища
 а думали прохлада будет и благодать
 вы только *ло*¹ и *кен*² не говорите
 и пакеты наши с собой не берите

¹ ло (*иврит*) – нет.

² кен (*иврит*) – да.

не надо злиться
париж 7 дней
а дома наша перекопанная столица
которую враг
называет своей

* * *

*Моше, двухлетний сын раввина Гаэриэля
Гольцберга и его жены Ривки, убитых исламскими
террористами в Мумбае, плачет не переставая.
из интернета*

лица их в газетах
а тела в мешках
ну и толку что во всех обетах
в этих ваших «ло нислах вз-ло нишках»³

молодые светлые
и нет их
вот в земле уже
ну и толку что во всех наших обетах
плачет плачет маленький моше
декабрь 2008

* * *

за окном музыкальная странная длинная фраза
ну чего он заладил-то
сколько ещё до пяти
вот зараза
но ведь музыка всё-таки как ни крути
это кажется флейта
или это кларнет
да кларнет молодой неуверенный чей-то
эй ты где
почему тебя нет
почему тебя нет

³ ло нислах вз-ло нишках (*иврит*) – не простим и не забудем.

ШХЕМСКИЕ ВОРОТА

Алекс Тарн

ДОП

1.

Светлым прохладным декабрьским утром 200.. года, у дома номер сорок девять по улице Афарсемон, после продолжительного сильного ночного дождя, содравшего с Ерушалаима многомесячную коросту засухи, а затем и промывшего ему закупоренные, уставшие от жары глаза, ноздри, поры, так что бедняге стало наконец чем дышать, и он вздохнул, разом переполнив воздух чертовой смесью редких дразнящих запахов, отчего жителю, вышедшему наружу, неизбежно должно было показаться, что он, наоборот, вошел внутрь – в лавку пряностей на рынке Маханэ-Еуда, где как в никаком другом месте понимаешь некорректность вечной Адамовой задачи дать названия, обозначить словами все то поразительное многообразие оттенков, в котором мы имеем честь существовать, грубо и глупо ворочаясь между ничего не передающими «горько», «сладко», «солono» и «кисло»... неужели всего четыре слова?... всего четыре слова на такую прорву вкусов?... возможно ли?... нет-нет, надо немедленно остановиться, остановиться... остановился ярко-синий фургон с желтой надписью «Перевозки Козна», представляющей собою откровенную ложь, ибо фургон перевозил вовсе не Козна, а вещи: разнокалиберную мебель, неподъемные, надутые от сознания собственной значимости холодильники, неуклюжие рояли, исполненные звенящего ужаса перед увечьями при подъеме или спуске по лестнице и многочисленные картонные коробки, чей загадочный вид непоправимо портили выведенные торопливым фломастером уныло-прозаические подсказки: «кухня», «ванна», «игрушки», «инструменты», «туалет»... среди которых вдруг, как клоун из подсобки детсада, выскакивало неожиданно многообещающее «мамин хлам №1».

– Четвертый этаж без лифта, – мрачно произнес сидевший за рулем фургона коренастый бородач средних лет. – Подарочек с утречка...

Двое его товарищей уже стояли на тротуаре, разминая мышцы с той заботливой осторожностью, которая свойственна только грузчикам и спортсменам – истинным профессионалам физического труда. Один из них, круглоглазый, наголо обритый парень в очках и видавшей виды кепке-бейсболке, бодро прищлепнул ладонью по дверце.

– Не грусти, Боря, думай о будущем вечере.

– О вечере... – проворчал Боря, с кряхтением выбираясь из кабины и поправляя плоскую черную кипу, прищипленную к пышной нечесаной шевелюре как минимум четыремя заколками. – Молод ты, Димка: все о будущем, да о будущем. Во мне еще вчерашний вечер жив, о отрок неразумный...

– Приехали? А у нас... Здравствуйте. А у нас все готово. Можно начинать... – от подъезда, то всплескивая руками, то зажимая их в

нервный напряженный замок, спешила оглушенная хлопотами переезда хозяйка.

– Не волнуйтесь, госпожа, – сказал опытный Дима, привычно обволакивая клиентку атмосферой ласковой уверенности, полезной не только для хозяйского здоровья, но и для размера итоговых чаевых. – Думайте о будущем вечере. Так или иначе, вечером это мучение закончится... Показывайте, что у вас там. Илюха! Эй, Илюха! О чем ты думаешь?

– О будущем вечере, – насмешливо откликнулся третий грузчик, Илья Доронин. – Согласно твоей универсальной рекомендации.

Он с сожалением оторвал взгляд от города, целиком видного отсюда, с южной горы Гило, и особенно замечательного сегодня, в это до кости промытое, прозрачное утро, когда в воздухе не осталось ни единой пылинки, и оттого все границы – даже самые тонкие, не различимые в обычное время, вдруг резко выступили наружу, внезапным дворцовым переворотом отстранив от власти царствующую династию поверхностей: надменные сиятельства каменных стен, высочество небесной полусферы, величества выпуклых темно-зеленых холмов. Теперь бал в Иерусалиме правили линии – быстрые, прихотливые, то собирающиеся в пучок, то распадающиеся на одиночные, едва видные, но от этого не менее уверенные волоски, твердо очерчивающие очередной каркас, основу, скелет и снова находящие друг друга, возносящиеся ввысь, ныряющие вглубь, исчезающие в толще мира, там, куда не достает человеческий глаз. Это казалось торжеством взаимосвязи, привязки и привязанности всего ко всему, всего со всем, это было...

– Да где ты витаешь, Илюха? Бери вон ту коробку!

Илюша послушно присел, захлестнул коробку ремнем...

– Оп!.. – крикнул Димка, помогая взгромоздить груз на плечи.

– Взял!..

Лестница под ногами, а в окошке пролета – свет, и линия, и связь... погоди, на чем мы остановились? – ага: это было... А впрочем, почему «было»? Неужели ты и в самом деле думаешь о будущем вечере? Ну его на фиг, этот вечер, особенно в такое утро! Вечер! Разве различишь в его темноте хотя бы одну линию, хотя бы одну связь, даже самую толстую, самую видную?

– Давай, Илюха, давай!

Боря принимает коробку в фургон, пытит, охает. Боре Квасневичу тяжелее всех – ему уже хорошо за сорок. К тому же он поэт, а поэтам и без того свойственно восприятие жизни как ноши, и не просто как ноши, но как *тяжкой* ноши... его еще почему-то называют «трагическим», это восприятие, хотя следовало бы называть «грузчицким». Погоди, а почему ты сказал «и без того»? Без чего «без того»? Ну, это ж ясно: без коробки. Ему, поэту, и без коробки тяжело, а уж с коробкой-то и вовсе кирдык, трагедия, перевес, то есть. Черт, сколько света сегодня!

– Оп!..

– Взял!..

Интересно, куда они уходят, эти линии? Ага, как же, поди расмотри так, невооруженным глазом... Тут телескоп нужен. Нет, телескоп – это в небо. В какое небо, дубина? Телескоп нужнее здесь, на земле. Все связи находятся здесь, рядом...

– Илюха, давай!.. Взят!.. Уф... много там еще?

– Пока хватает, Боря, потерпи, братан.

В грузчики Боря пошел вынужденно, чтобы не спиться окончательно или хотя бы ненадолго отодвинуть этот неизбежный итог. Сам он говорит, что в жизни каждого настоящего поэта есть три неизбежности: несчастье, смерть и окончательное спивание, причем две первые, что называется, имманентны, то есть наступают автоматически, сами по себе, вне зависимости от человеческих желаний или усилий как-то на них повлиять, отсрочить, приблизить, смягчить или углубить – с ударением на средний слог, непременно на средний – на этом Боря настаивает особо, утверждая, что лишь такое ударение придает обычному в общем-то слову необходимую воющую, ввинчивающуюся, скользкую вглубь доминанту – у-у-у-у... слышите?.. Но это – две первые. А вот на третью и последнюю неизбежность повлиять очень даже можно, а коли так, то именно в этом и заключается активная жизненная позиция истинного художника.

– Я не могу не спиться, – говорит Боря. – Зато в моих силах скорректировать этот процесс! Например, пить только по вечерам.

Использование ученого слова «корректировать» дополнительно свидетельствовало о серьезности бориных намерений. Но вот проблема: как добиться столь благоразумной и ученой коррекции, если днем работаешь в одиночку – например, проверяешь сумки у входа в магазин или багажники при въезде на автостоянку? Кто, чья твердая дружеская рука остановит человека, если ему вдруг захочется отхлебнуть в минуту тягостной забывчивости или в момент поэтически-грузчицкого подъема? – Никто, ничья.

Потому-то и удерживался Боря на всех этих сумочно-багажных синекурах не дольше недели. Гнали поэта взашей проклятые начальники-администраторы – все, как один, из служебно-сторожевой породы прозаиков. Разве может прозаик, роющийся на помойках сюжетов, задирающий лапку на облезлые, намертво вкопанные в землю столбики жанра, выкусывающий из себя скучные блоки, скучные блохи казенных фраз – может ли этот дворовый пес понять душу поэта? Нет, не может: ведь различие между ними принципиально. Поэт не выкусывает блох – поэт воет на луну! Нога его поднимается не на какой-нибудь частный столбик – на угол всего мироздания!

Именно это объяснял друзьям Боря, когда к полудню, уже едва держась на ногах, возвращался после очередного увольнения в родную Влагаллу – так называли свое жилище четверо его обитателей: сам Боря Квасневич, Дима Рознер – аспирант Иерусалимского университета по кафедре философии, студент того же учебного заведения Илья Доронин и Леша Зак – еще один поэт, с год тому назад пришедший в Святой Город пешком из Тель-Авива с целью немного пообщаться, через неделю пообещавший: «Вот протрезвею малость и пойду», да так и застрявший на месте по причине очевидной невозможности дожидаться исполнения вышеуказанного условия. Так что с искомой корреляцией Боре не везло очень долго, пока Димка не нашел бригадный грузчицкий подряд, и тем решил борины проблемы как с работой, так и с чересчур ранней выпивкой.

Влагалла представляла собой заброшенное строение барачного типа, притаившееся в незаметном закутке забубенного иерусалимского района Катамоны, который по нахалке, подобно сельскому хулига-

ну у входа в клуб, разлегся на юго-западных подступах к аристократическим кварталам столицы, праздно лузгая семечки и пугая приличных прохожих гортанными хамскими выкриками. Когда-то, еще в пятидесятые, сюда торопливо набросали несколько сотен уродливых двухэтажных домов с намеренно крошечными квартирками, ибо предполагалось, что их нищие обитатели – бывшие тайманские медики, марокканские лавочники и триполитанские ювелиры не будут отсиживаться внутри, а немедленно начнут огородничать на специально для того отведенных каменистых, выжженных на десять метров в глубину пятачках и тем самым успешно преодолеют собственную прискорбную мелкобуржуазную сущность.

Увы, тогдашние мечты еще не переболевшего социалистической краснухой руководства так и остались мечтами – как, в общем, и свойственно любым благоглупостям. Презрев скромные радости производительного сельхозтруда, катамонские новоселы тут же загромождали несостоявшиеся огородные уголья самопальными будками, сараями и бараками, в тени которых было чрезвычайно удобно поигрывать в шеш-беш, запивая дешевым араком как славные победы, так и обидные поражения.

Где-нибудь в другом месте непокорных красной мечте бунтарей неминуемо погрузили бы в товарные вагоны для отправки в ледяную степь, на смерть в сорокоградусную стужу. Но здесь, к счастью, Страна оказалась слишком мала для большой идеологии, так что местным большевикам было решительно негде развернуться ввиду полнейшего отсутствия стужи, ледяных степей и соответствующего парка товарных вагонов. Поэтому катамонцев просто оставили в покое. Правда, поначалу власти еще настаивали на оплате коммунального жилья, но быстро отступили, правильно оценив, что расходы на содержание двух полицейских дивизий, потребных для выполнения этой в высшей степени боевой задачи, существенно превосходят размеры самой оплаты.

Время от времени арак кончался. Тогда катамонцы неохотно откладывали в сторону кубики шеш-беша и выходили на шоссе – бузить и жечь автомобильные покрышки. Правительство, поскрипев, слегка увеличивало пособия, и все возвращалось на круги своя.

Боря Квасневич приехал в Страну слишком поздно, когда дармовых коммунальных халуп уже не раздавали. К тому же он не умел жечь покрышки и играть в шеш-беш, а бузил только в индивидуальном, то есть общественно пренебрежимом масштабе. И хотя по части арака он мог с легкостью дать фору лучшим катамонским мастерам, одного этого оказалось недостаточно: с бедного поэта повсюду требовали квартплату. По понятным причинам самой низкой она была именно в Катамонах, но Боря не мог платить и такой.

– Смотри, Борья, – сказал ему хозяин последней съемной квартиры, седоусый старик-триполитанец. – Ты хороший человек, но не платишь уже полгода. Количество арака от твоего присутствия не прибавляется, а, наоборот, убывает быстрее, чем вода в Кинерете. А между тем, цель сдачи комнаты на съем заключается совсем-совсем в другом. Я уже стар, Борья. На этом свете, да будет он благословен, остались всего три вещи, которые я люблю: шеш-беш, жизнь и арак. Имею я право надеяться, что они закончатся для меня именно в таком порядке?

Боря подумал и кивнул. Старик ему нравился еще и потому, что умел изъясняться красиво, да еще и на том древнем языке, который так замечательно подходил для стихов, но не давался Боре дальше заполнения простейших казенных бланков. Старик, конечно же, имел полное право умереть прежде, чем кончится арак.

– Я знаю, о чем ты думаешь, Борья, – продолжил хозяин. – У человека должна быть крыша над головой. Посмотри в окно. Видишь сарай? Старый Овадия Абу-Хацера, мир его памяти, построил этот сарай еще при покойном Бен-Гурионе – да воздастся ему за все его пакости!.. – для своего старшего сына Малахии, чтоб он был здоров, чертов бездельник. Теперь Овадия в земле, Бен Гурион в почете, а Малахия продает фалафели в Нетивоте. Отчего бы тебе...

– Там замок, – грустно отвечал Боря. – Я уже пробовал.

– Замок?! – поразился старик. – Вот она, наглость человеческая! Пойдем.

Они спустились во двор, где два десятка морщинистых людей пили арак, играли в шеш-беш, спорили, болтали или просто сидели на стульях, щурясь на в кровь исцарапанное взглядами иерусалимское небо. Миновав примерно тысячу бельевых веревок с развешанными на них простынями, Боря и его квартирный хозяин добрались до двери сарая старого Абу-Хацеры. Щеколда едва держалась, и старик сбил ее одним ударом прихваченного из дому топора. Двор на секунду примолк, поднял глаза, оглянулся, раздвинул занавески, высунулся из окон, подробно впитал в себя происходящее и, не дрогнув ни единым мускулом, вернулся к обычному своему неспешному бытию. Старик облегченно вздохнул.

– Ну вот... Нету никакого замка. Вселяйся, Борья. Временно, конечно, а там... велик Господь...

И Боря временно вселился. А года через четыре к нему присоединились еще двое: сначала бывший московский приятель Димка Рознер, ударившийся в религию и вследствие того изгнанный из семьи ввиду непреодолимых идейных разногласий в области правильного кошерного питания, а затем и димкин знакомый по универу Илюша Доронин – студент, взыскующий новой жизни, а потому заранее готовый к любому ее образу, отличному от прежней образины. Это резко повысило статус некогда скромного убежища одинокого, но гордого певца. Теперь оно вполне могло претендовать на нечто существенно большее: ну, скажем, на клуб гуманитариев, ристалище духа, пристанище муз!

Чаще всего Боре приходила на ум в этой связи знаменитая петербургская «Башня» Вячеслава Иванова, где собирался в свое время самый изысканный цвет «Серебряного Века»: Блок, Белый, Мейерхольд, Шестов, Ахматова, Бердяев, Добужинский... «Башня Квасневича»!.. ах!.. это звучало, как минимум, не хуже.

В совместном творческом горении присутствовал и еще один, чрезвычайно важный для Бори момент: теперь ему было с кем разделить главную любовь своей жизни. Дело в том, что больше всего на свете поэт любил местную водку «Голд». Он мог часами рассуждать о ее великих достоинствах, прославлять вкус, чистоту, запах, проводить профессиональный анализ в сравнении с другими, намного более дорогими водками и приходиться к неминуемому выводу, что все они годятся разве что для мытья полов, по кото-

рым ходят истинные ценители, пьющие только и исключительно «Голд».

К несчастью, катамонские любители арака не могли по достоинству оценить борину страсть, ибо с детства были воспитаны на своей чертовой анисовке. За неимением иного, поэту приходилось пить как все, и он устал от непонимания невежественной толпы. Зато теперь, в компании понимающих людей и при наличии соответствующей складчины он мог наконец стать самим собой. Отныне каждый вечер, когда трое обитателей барака усаживались за стол, с завидным постоянством повторялся один и тот же ритуал.

Боря благоговейно доставал из холодильника бутылку водки «Голд» с благородно-простой красной этикеткой, разливал, ориентируясь «на бульки», то есть на звук, и никогда при этом не ошибаясь в дозировании больше, чем на сотые доли миллилитра, и даже не ставил, а *установливал* бутылку на стол, тщательно проверив, нет ли под доньшком какой-либо складки, крошки, гвоздика, кнопки или любой другой досадной помехи, которая могла бы угрожать падением священному сосуду. Затем он брал свой стакан, смотрел его на свет, поглаживая бороду и как-то особенно лоснясь носом, блаженно причмокивал и вдруг, словно внезапно решившись, почти отчаянным движением опрокидывал водку в черноту широко распахнутого – на долю секунды – рта.

О, как много всего содержалось в этом простом, едва уловимом движении! Так бросаются с моста в воду, поднимаются в атаку, падают на амбразуру. Так признаются в любви, отдают невинность, рубят голову, вонзают нож, пишут первую букву. Так живут, так умирают, так...

Захлопнув пасть, Боря некоторое время сидел, зажмурившись и пристально вслушиваясь в совместные переживания души и организма, после чего слегка приоткрывал блестящие свежей водочной влагой глаза и торжественно провозглашал – сначала хрипловато и очень тихо, а к концу чистым громогласным басом, так, что становилось даже странно, как это можно вместить столь широкую гамму звуковых оттенков в столь короткую фразу:

– Это – «Голд»!!

Ну, слава Богу... Дима и Илюша облегченно вздыхали и приступали к трапезе, состоявшей, большей частью, из дешевых по сезону овощей и сваренного в единственной, зато огромной кастрюле главного блюда: картошки, макарон, гречневой каши или кускуса, для гурманства заправленного оливковым маслом.

В один из таких вечеров дверь без стука отворилась, и вошел высокий, усатый старикан с седыми волосами до плеч и обликом д'Артаньяна, по неизвестной причине отказавшегося от маршальского жезла в пользу романтики бомжевания. Опустив на пол многообещающе звякнувший рюкзачок, он окинул помещение взглядом и вздохнул.

– Ну что? – в голосе мушкетера слышались усталость и разочарование. – И это ты называешь башней, Боря? Это?!

– Леша! – вскричал Боря и сделал было попытку вскочить, но сам же и удержал себя за бороду. – Леша Зак! Ты как здесь? Садись, выпей... Жаль, почти ничего не осталось...

– Да вот, пришел посмотреть на твою так называемую башню, – сказал д'Артаньян Леша, усаживаясь за стол. – Это – башня?

– Пришел? – удивленно переспросил Квасневич. – Из Тель-Авива? Пешком?

– Ну да, пешком... – Леша понюхал пустой стакан и сморщился. – Башня, блин...

В отличие от москвичей Бори Квасневича и Димы Рознера, о «Башне» наслышанных, но ни разу не видевших ее даже на фотографии, и от Ильи Доронина, который, хотя и был питерцем, но по молодости лет узнал о знаменитом салоне Вячеслава Иванова только в Израиле, да и то лишь благодаря неожиданному и – что уж скрывать? – несчастному повороту судьбы – в отличие от них всех, Леша Зак прекрасно владел предметом. Более сорока лет из своих шестидесяти двух он прожил на Тверской – всего несколькими кварталами ниже того места, где она обеими руками упирается в зеленое тело Таврического сада, эгоистично и безуспешно пытаясь сдвинуть его хоть на чуть-чуть ради собственного продолжения.

Какое там! Попробуй стронь такую громадину, крепко вцепившуюся в землю корнями своих старых деревьев. Как ни упирайся, ничего не поможет – даже мощная, семизэтажная, не то крепостная, не то осадная башня, которую Тверская выставила вперед на последнем своем рубеже – та самая ивановская «Башня», набитая призраками по самую завязку купола – намного больше, чем это положено по штату даже очень древним и очень известным крепостным башням со всем бесчисленным сонмом их точеных-заточенных красавиц, узников и узниц несчастной любви, изменных злодеев, благородных ланселотов и патлатых, утомительно злобных ведьм.

Под завязку? Ну и что ж, что под завязку: Леша Зак знал всех призраков «Башни» поименно – как бы много их ни собиралось там каждую среду. А они приходили в любую погоду – и в дождь, и в снег, и в сочащуюся туберкулезом изморось ноября, и в насморочную хмарь марта; их неуклюжие калоши и изящные ботики плыли над грязно-коричневой пульпой января, их звонкие каблучки весело стучали по сияющей мостовой мая, нежно и влажно чмокали лиственный ковер сентября.

Но более всего они любили конец июня, когда Петербург, словно украшающий елку ребенок, затрудняется решить, какую именно игрушку вынуть из коробки: то ли белый сияющий шар дня, то ли черную матовую гирлянду ночи, и, вдоволь насомневавшись, так и не вытаскивает ничего, оставляя миру одну лишь упаковочную вату, вату, вату... – серую клубящуюся мглу, томление света, утопание тьмы, слюни преисподней, пот Создателя накануне Первого Дня Творенья – дня, еще не знающего, что это такое – день.

В это время по вечерам лешино сердце принималось барабанить в ребра, как пленник, брошенный в трюм, и не успокаивалось, пока, часам к одиннадцати, обалдев от стука, Леша не выпускал его на волю, на улицу, и сердце, словно истомившийся пес, сбжав по лестнице, тащило своего хозяина – или слугу? – по Тверской в направлении сада, и дальше – мимо углового дома, замирая в момент непосредственно прохода рядом с парадной. Затем они вместе пересекали Таврическую, входили в сад, и там сердце прятало Лешу за садовый забор, а само пряталось за его спину – но так, чтобы из-за плеча хозяина – или слуги? – был хорошо виден вход в «Башню», и окна на седьмом этаже, и купол, и даже часть крыши.

– Смотри, смотри! – шептало сердце, захлебываясь. – Кто это там рядом с Кузминым? Гумилев? Я отсюда не вижу...

– Маковский, – отвечал Леша, прихлебывая.

Прихлебывал он обычно спирт, разбавляя его с годами все меньше и меньше для экономии воды, пока не привык и не перестал разбавлять вовсе. Доступ к этому крайне дефицитному в России продукту Леша Зак имел по долгу... хотя нет, в данном случае будет точнее сказать *по праву службы*; а служил он инженером вычислительных машин, всей душою ненавидя при этом и машины, и вычисления, и собственно инженерство.

Неудивительно, что переезд из Питера в Тель-Авив Леша воспринял в первую очередь как шанс на начало правильной, не омраченной постыдными компромиссами жизни. От прежнего петербургского бытия в ней оставалось место разве что «Башне» и, конечно, спирту. Леша поселился в крошечной мансарде на улице Бограшова – всего несколькими домами выше того места, где она упирается в сине-зеленое тело Средиземного моря, отчаянно и безуспешно пытаясь оттолкнуться от него хоть на чуть-чуть ради собственного выживания. Главным достоинством мансарды, помимо низкой квартплаты, являлся выход на крышу, откуда в ясные дни, то есть примерно всегда, невооруженным глазом было видно старое море с округлым, соскальзывающим за край картины горизонтом.

А если вооружить глаз – нет, не биноклем, а всего лишь несколькими глотками местного спирта, замечательного своей чистотой – чистотой истоков!.. – то горизонт соскальзывал еще дальше – к ахейским островам, Криту, Микенам, Трое, афинским триерам, македонским фалангам, колхидским рунам и таврическим – действительно таврическим! – руинам, чтобы затем, одним махом проскочив через широкую бесформенную черную дыру, обнаружиться возле «Башни», парадоксальным образом видимой с бограшовского балкончика намного четче, чем из-за ограды псевдо-таврического сада.

Если разобраться, мансарда с крышей тоже представляли собой в некотором роде башню – хотя и строго индивидуальную, не предназначенную для гостей, ибо места там хватало не более чем на одного... а если на двух, то только обнявшись. Впрочем, для бескомпромиссной жизни большего и не требовалось. Социальное пособие покрывало ничтожную квартплату и электричество, оставляя еще несколько грошей на спирт и лепешки. Овощи Леша добывал на рынке Кармель, накануне субботы, в часы закрытия: знакомый зеленщик доверху нагружал его уставшими от прилавка огурцами, плачущими помидорами, вялой до безразличия капустой и прочей, слегка помятой, кое-где подгнившей, но еще вполне годной к употреблению едой. Иногда, соскучившись по чтению, Леша ходил в близлежащий русский книжный магазин, где в обмен на несложную помощь ему разрешали посидеть в чулане с книжкой в руках.

Зато вся остальная – огромная! – масса времени принадлежала безраздельно лишь ему самому: о, он был богачом, каких поискать, этот счастливчик Леша Зак! Щурясь на старое равнодушное море, он расхаживал по пахнущим рыбой волнорезам яффского порта, а над раздвижным горизонтом поблескивали не то крылья чаек, не то сандалии Персея, не то пенсне Вячеслава Иванова. Он не торопил-

ся никуда, кроме как за хвостами собственных мыслей, за цветными пятнами образов, за скачущими вприпрыжку словами.

Затаив дыхание, чтобы не спугнуть строчку, он садился на скамейку бульвара Ротшильда, и старые платаны колыхались над ним, как театральные занавес Судейкина, а угловой дом бывшего русского посольства напротив внезапно настигал его башней, пусть не круглой, пусть не семизэтажной, но все-таки башней, и пугливая строчка, как робкий любовник, сверкнув эполетами неведомых слов, убегала через башенный балкон, чтобы вдруг через две-три минуты бездомной кошкой высунуть мордочку из-за соседней мусорной урны. О, радость творения! О, счастье находки! О, наслаждение рук, мнущих податливую глину мира, о, трепет пространства под пальцами, о, блестящие кольца времени, послушно вертящегося на гончарном круге!

Он торопливо записывал стихи на обрывках газет, рекламных флаерах, салфетках, оберточной бумаге – на всем, что случайно попадалось под руку, записывал и совал в карман, а когда карманы наполнялись, выворачивал их в большое жестяное ведро, стоявшее в углу мансарды. Верные своему обыкновению занимать весь предоставляемый им объем, стихи постоянно норовили раздуться и уже давно хлынули бы через край, если бы Леша время от времени не приминал их тяжелым зимним башмаком.

Для полного счастья ему не хватало разве что здоровья: в отличие от тех предсубботних рыночных овощей, Лешин организм был помят отнюдь не слегка, да и подгнивал местами уже по-серьезному. К врачам Леша принципиально не обращался, предпочитая лечить свои многочисленные хворобы все тем же спиртом, и отменяя клевету знакомых, абсолютно голословно утверждавших, что именно это универсальное лекарство в значительной мере способствовало их – хвороб – появлению. Сам он полагал главной причиной своей болезненности даже не старость, а чересчур долгое пребывание под гнетом компромиссов, и в этом был определенный резон: действительно, поздно начинать жить заново, когда тебе уже сильно за сорок.

О том, что в Иерусалиме появилась своя «Башня», Леша узнал случайно: при его книжном магазине существовало что-то вроде клуба, где время от времени вяло, как засыпающая муха, жужжала тощая литературная тусовка. Борю Квасневича он знал давно и уважал за четкость эстетической позиции, хотя сам не мог признать ее ни в какую. Поэтому всякий раз, когда поэтам выпадало встретиться, между ними моментально вспыхивал нескончаемый литературный спор:

– Только «Голд»! – кричал Боря, запальчиво выставив вперед черную с проседью бороду.

– Только спирт! – стоял на своем Леша. – Причем неразбавленный!

Но эстетика эстетикой, а география географией. Новая «Башня», нежданно-негаданно выросшая на востоке, растревожила лешино воображение настолько, что в один прекрасный день, расстав по карманам и побросав в рюкзак самое необходимое, он отправился в Иерусалим. Самое необходимое не включало денег, что нисколько не смущало поэта: так или иначе, настоящее паломничество в Святой Город полагалось совершать пешком.

– Погоди, Леша, – сказали ему в магазине, куда он зашел вернуть книжки и заодно предупредить, чтобы в ближайшие две недели на него не рассчитывали. – Вон тут товарищ все равно в Ерушалаим едет. Он тебя подвезет, если не возражаешь.

Леша не возражал: от судьбы все равно не уйдешь, не так ли? Таким образом, из всей многокилометровой дороги собственно пешком паломнику пришлось проделать не более нескольких сотен метров, оказавшихся, впрочем, весьма утомительными с непривычки. Но черт с ней, с усталостью! Горькое разочарование мучило тель-авивского поэта гораздо сильнее любой усталости.

– Почему ты назвал этот барак «Башней», Боря? – с упреком повторил Леша, выцеливая хозяина острыми стрелками мушкетерских усов. – Я шел к тебе пешком под палящим солнцем от самого моря!

Квасневич смущенно крикнул. Вообще говоря, его интересовала в тот момент совсем другая тема, и он твердо намеревался покончить прежде всего с нею, а уже затем приступать к прочим обсуждениям.

– Я тебе все объясню, – сказал он. – Но сначала, с твоего позволения... нет ли у тебя с собой... это... чего-нибудь?..

Вздыхнув, Леша Зак безнадежно покачал головой и извлек из рюкзака едва початую водочную бутылку со знакомой красной этикеткой.

– Ах! – воскликнул Боря и покачнулся, как влюбленный, пораженный в самое сердце невыносимым очарованием своей красавицы. – Давай!

В наступившем молчании он нежно овладел бутылкой, крутанул пробку и налил всем четверым – немного торопливо, но, как всегда, исключительно точно.

– Ну, будем... – буднично произнес Леша.

По простительному незнанию местных ритуалов он не стал дожидаться бориного представления, а взял стакан первым и отхлебнул из него с отсутствующим видом, как отхлебывают воду. Леша Зак ждал обещанных объяснений.

Но хозяину было пока не до него: Квасневич священнодействовал над своим сосудом. Слегка сдвинув на сторону лоснящийся нос, он любовался игрой света в гранях стакана и любовно причмокивал, а борода так и ходила ходуном, словно лопата в руках начинающего землекопа. Дима и Илья наблюдали, привычно затаив дыхание. Наконец в бориных глазах мелькнуло знакомое отчаянное, как перед прыжком с вышки, выражение, он резко выдохнул, и пропасть души его разверзлась – всего лишь на долю секунды, то есть ровно настолько, чтобы идеально сопрячься с молниеносным движением руки.

Все это полностью соответствовало обычной бориной рутине, но далее произошло нечто совершенно непредвиденное. Вместо того, чтобы зажмуриться подобно сытому коту, Квасневич вдруг дико выкатил глаза и распахнул рот. Руки его вздернулись вверх и застыли, страшно трепеща пальцами, словно Боря вознамерился сбросить их, как дерево сбрасывает отжившие листья, волосы встали дыбом, а борода удивительным образом раздвоилась, воскрешая в памяти образы российской империи. В наступившей тишине слышалось лишь, как Леша Зак невозмутимо хрумкает соленым огурцом, запивая его мелкими глоточками из своего стакана. Первым пришел в себя Дима.

– Что?! – вскричал он, вскакивая с места. – Боря! Что случилось?!

Боря, словно разбуженный, хватанул воздух и опустил руки, так и не сбросив ни единого пальца. Глаза его медленно возвращались в орбиты, но говорить он по-прежнему не мог.

– Что?! – Дима схватил его за плечо. – Не в то горло?

Боря с трудом перевел на друга подрагивающие зрачки.

– Это... – захрипел он и смолк, как-то по-детски обиженно покачивая головой.

– ...«Голд»? – подсказал Дима.

– Это не «Голд»! – проревел Боря, поворачиваясь к Леше. – Это! Не! «Голд»!

– Что? – не понял Илья и понюхал свой стакан. – Гм... и в самом деле...

– Это не «Голд»! – в третий раз повторил Квасневич.

На этот раз ему удалось придать голосу крайнюю степень возмущения. Леша пожал плечами.

– Конечно, – сказал он. – Ты же знаешь, что я пью спирт. Покупаю по пять литров, так дешевле. Но из канистры прихлебывать неудобно, вот и разливаю по бутылкам из-под всякого дерьма. Так что, это, конечно, не «Голд»... Но и это... – он обвел рукой унылый интерьер барака. – Это не «Башня»! Это не «Башня», Боря! Не «Башня».

– Почему? – сипло спросил Дима.

Он только что осторожно попробовал на вкус содержимое своего стакана и теперь мог хотя бы отдаленно представить себе величину пережитого Борей потрясения.

– Я жил рядом с «Башней»! – объяснил Леша. – Там семь этажей. Выход на крышу. Купол. Ахматова. А это... это... Влагалла какая-то...

– Вы имеете в виду Вальгаллу? – поправил его Илья, еще хорошо помнивший материал обзорного курса «Мифы народов мира».

Леша Зак презрительно фыркнул и налил себе еще полстакана.

– Если бы я имел в виду Вальгаллу, юноша, то я бы так и сказал. Но ваш... ээ-э... барачный бардак следует называть именно «Влагаллой» и никак иначе.

Он отпил несколько мелких глоточков и замер, размышляя, не побаловать ли себя еще одним соленым огурцом или, напротив, не злоупотреблять столь редким деликатесом ради сохранения остроты грядущих вкусовых ощущений, но в этот момент из-под миски высунулась строчка, и Леша забыл закусить вообще. Задумался и Боря, собирая в горсть и протаскивая через кулак бороду, словно выдаивая из нее мысль. Дима и Илья в почтительном молчании ожидали решения старших товарищей.

– Ладно, – сказал наконец Боря. – Будем разбавлять.

– А как насчет имени? – напомнил Илья.

Боря равнодушно пожал плечами.

– Насчет имени? Да черт с ним, пусть остается по-лешиному... – он хлопнул Лешу по спине. – Леш, пока не напились: матрацы у нас в соседней комнате сложены. Выбери себе какой посуше. Слышишь?

– А? Что? – рассеянно переспросил Леша, роясь по карманам. – У тебя, случаем, клочка бумажки не найдется?.. А впрочем, не надо, не стоит того...

Так барак остался Влагаллой, а Леша – во Влагалле. За принципиальное нежелание идти на компромиссы, то есть работать за

деньги, мстительный Боря окрестил его «влагаллицизм паразитом». Впрочем, грузчицкое ремесло было так или иначе противопоказано пышному букету лешиных болезней.

– Оп!..

– Взял!..

Илюша Доронин спускается с коробкой по лестнице – в который уже раз? – сбился со счета... да и кто считает? Пот заливает лицо, лезет в глаза; уже давно не видны внизу отдельные линии, исчезли каркасы, тугие пучки растворились в безразличном, неразличимом болоте цветного фона. Жалко-то как... Прав Леша: жить надо без компромиссов. На фига тебе эти деньги, болван? Для чего?

– Давай!.. Ох... – охает Боря, кое-как пристраивая коробку в почти полный уже фургон. – Уже и места не осталось. На фига людям столько вещей? Для чего? Много там еще?

– Эта последняя...

Илюша обессилено опускается на край тротуара. А ведь еще разгрузать...

– Встань с бордюра, чего расселся! – у подошедшего Димки есть еще силы шутить, задираться.

– По-русски это называется «поребрик», деревенщина...

– Поре-е-ебрик... – передразнивает Рознер. – Слыхал, Боря?

После прихода Леша Зака во Влагалле господствует питерский выговор, но в настоящий момент москвичей большинство, чем Димка и пользуется абсолютно беззастенчиво. А вот и хозяйка с сумочкой, в руке – мятый листок бумаги.

– Мальчики, вы, случайно, не знаете кого-нибудь, кому жилье срочно нужно? Студентку предпочтительно или студента. Квартира напротив моей... бывшей. Две девушки, так одна съехала, а та, что остается, ей одной не потянуть... Поспросайте там у себя, ладно?

– Давайте, спрашиваем... – вежливый Илюша берет бумажку. «Требуется компаньон на съем квартиры».

Телефон.

Имя: Рахель.

И тут Рахель. Что ж, Рахель, так Рахель. Чья-то младшая дочь, не иначе. Старшие-то у нас все больше Лии. Не забыть бы прикрепить тебя на доске объявлений в университете, Рахель... Хотя, возможно, ты сама там учишься и давно уже прикрепила все, что надо и всех, кого надо...

В кабине фургона Илья зевает, откидывается на спинку сиденья, прикрывает глаза. Вчерашний вечер ветром гудит у него в голове, гребет воздух лопата бороной бороды, задорно топорщатся мушкетерские усы Леша Зака, занудно бубнит свои многословные доказательства Димка... спать хочется – страсть как!.. Завтра надо бы на лекцию сходить, для профформы... студент ты или не студент? Хотя, на фига он тебе, этот диплом? Компромиссы все, компромиссы – прав Леша...

Он снова зевает. Шоферящий сегодня Боря Квасневич завистливо косится на дремлющих друзей. Грузовой фургон «Перевозки Коэна» плавно скатывается с горы Гило, поворачивает на Малху, и утреннее, еще не успевшее разозлиться солнце дружески подталкивает его в ярко-синюю спину.

2.

В университет Илья обычно ходил пешком – минут сорок в один конец. Сначала он долго шел по широкому, круглосуточно шумящему быстрому автомобильному потоку проспекту, гордое название которого – «Рав Герцог» – знаменовало торжество аристократизма в обеих – и духовной, и светской его ипостасях. При этом по сторонам дороги откровенным диссонансом и раву, и герцогу теснились более чем плебейские кварталы обшарпанных многоквартирных домов: серые отечные стены в уродливых бородавках дешевых выносных кондиционеров, перекошенные жалюзи, свисающее из окон исподнее белье, сопливое от недавней стирки.

Зато ниже по течению проспект впадал в Рехавию – действительно аристократический район богатых особняков, что, впрочем, немедленно побуждало его, следуя все тому же духу диссонанса, превратиться в узкую, изобилующую перекрестками улицу и смиренно отказаться от прежнего роскошного имени в пользу другого – не только существенно более скромного, но еще и вызывающего весьма неприятные ассоциации с многолетней нищетой, грязью и лагерями беженцев: «Дерех Аза», что в переводе означает «дорога на Газу».

Но Илья до Рехавии не добирался, а намного раньше сворачивал налево и вскоре, миновав ворота, створки которых, по идее, должны были постоянно пребывать в запертом состоянии, но на практике всегда оказывались широко разбросанными по сторонам, как руки спящего крепчайшим сном караульного, вступал в безлюдные пределы университетского ботанического сада. Это безлюдье удивляло: за садом явно ухаживали, но за полтора года еженедельных прогулок Илья лишь несколько раз видел здесь девушку в широкополой соломенной шляпе с тямкой в руках. Случайных прохожих тоже не попадалось. Почему? Неужели люди предпочитали скучные тротуары по ту сторону ограды? А может быть, как раз безлюдье места и порождало страх – точно так же, как страх породил в свое время безлюдье?

Лет двадцать назад, когда местные воины джихада еще предпочитали ножи поясам смертников, здесь зарезали профессора Ш. с кафедры социологии – по иронии судьбы, неутомимого борца за мир. Если бы его газетные статьи, язвящие и ранящие идеологических противников, могли убивать напрямую, на счету покойного значились бы горы трупов. Поэтому тот факт, что именно боец арабских бригад за освобождение земли от евреев, то есть потенциальный друг и союзник, воткнул профессору в живот украденный в соседнем супермаркете кухонный нож, рассматривался прогрессивной общественностью как особенно трагическое недоразумение, чрезвычайная по нелепости случайность.

Случайность случайностью, но гулять по ботаническому саду прогрессивная общественность с тех пор перестала – на всякий случай. Воздерживались заходить сюда и реакционеры с ретроградными: кто-то утверждал, что призрак убиенного профессора Ш., зажав в зубах призрак кухонного ножа и алкая мести, бродит по здешним аллеям – в точности, как его старший духовный брат – по Европе. Что, учитывая доказанную историей кровожадность братьев, вызывало вполне понятные опасения.

Уроженец чужеземных стран, Илюша Доронин узнал о заклитии профессора Ш. относительно поздно, когда уже успел привыкнуть к чудесным садовым дорожкам, а потому не стал менять сложившегося маршрута. Убежать на тротуар, лишить себя самого привлекательного отрезка дороги? Но из-за чего? Из-за какого-то замшелого призрака двадцатилетней давности? – Вот еще!

Хотя, честно говоря, случалось иногда, что екало илюшино сердце от внезапного хруста ветки за спиной, от промелькнувшей за кустом тени, от резкого птичьего крика. Да и в темное время суток, после позднего семинара или особенно длительных библиотечных раскопок как-то само собой выходило, что Илья выбирал обходной путь... нет-нет, без всякой задней мысли: просто и дураку ясно, что намного удобнее и быстрее пройти по освещенной улице, чем спотыкаться о корни во тьме пустынного ботанического сада, где даже и помочь некому в случае чего. Хе-хе... в случае чего, Илюша? – Слушай, отстань, а?

Но это по вечерам, а вот ранним утром небольшая нервная щекотка не только совсем не мешала, но скорее наоборот, подзаряжала и способствовала. Упруго похрустывая гравием чистеньких, умытых росой дорожек, Илья шагал между клумбами и грядками, поглядывал на танцующих в воздухе диковинных бабочек, на растения и цветы, на таблички, знакомые уже одним лишь видом своим: та – выщербленным уголком, эта – покосившимся столбиком, третья – пятном птичьего помета, десятая – торчащим гвоздем, но остающиеся неизменной загадкой во всем, что касалось содержания и смысла написанных на них слов.

Мудреные ботанические определения упорно не лезли в илюшину голову, сколько он их ни заучивал, сколько ни старался повторять, записывать на бумажку, выискивать русские аналоги, запоминать вычитанные в интернете сопутствующие истории и легенды. Его естественнонаучный идиотизм был поистине достоин удивления. Нет, сами-то истории и легенды запоминались с обычной легкостью, зато связанные с ними латинские названия с той же легкостью выпархивали из памяти наружу и, по-прежнему неуловимые, принимались кружиться над садом в компании с уже упомянутыми бабочками – столь же вызывающе безымянными.

Это раздражало: с садом хотелось бы подружиться, даже породниться, но тотальное незнание имен навязывало непреодолимую дистанцию, отчужденность, причем не только и не столько от самого сада и от самой природы вообще, сколько от неперемного отца-естествоиспытателя – важнейшего ко всему этому приложения. Ведь кто-то да научил мальчика с младых ногтей любить все эти ноготки и тычинки – кто, если не отец?

Конечно, он, отец – могучий, красивый, ласково-внимательный, весь из себя набоковский, пахнущий солнцем дальних неведомых стран, редко и трудно достающийся в полное твое распоряжение, но от этого еще более желанный... Представь себе: если в каждой былинке ты видишь его родное лицо, разве не вырастает она тут же в могучую былинку? Ну как тут не запомнить былинно-былинкино название! С присоединением титула «отец» в память врезаются любые слова, даже латинские, даже самые несуразно-длинные.

Как было бы здорово, эдак походя, по-свойски, приветствовать все эти травы и деревья:

– Как поживаете, господин Х.?.

– Ах, госпожа Y., ну и жара сегодня...

Небрежно проведи рукой по лохматой шевелюре куста:

– Здорово, Z., как ты после вчерашнего? По-моему, земляная блоха W. тебя совсем замучила. Разборчивей нужно быть, братан, со случайными связями, разборчивей...

Или начать заигрывать с бабочками, демонстрируя им пустые руки:

– Не бойтесь, подружки, сегодня я налегке, без сачка и морилки...

Какое это, кстати, ужасное слово – «морилка»! Может, ну ее на фиг, эту чертову ботанику с энтомологией? Ага, на фиг... А как же отец, Илюша? Как же загорелый отец-красавец в коротких мальчишеских шортах, с камешками, застрявшими в рифленых подошвах горных ботинок?

– На фиг и его, набоковского...

– Ну да? Прямо уж так и на фиг? А если подумать?

– А если подумать...

Илюшин отец ничего не понимал в ботанике, хотя ближе и нужнее него не было у Ильи Доронина никого с самого рождения. Что удивительно: обычно ведь сначала из бесформенного, однородно-чуждого тумана внешнего мира ребенок выделяет и запоминает не отца, а маму. Она становится для него первым самостоятельным существом, дополнительным, принципиально новым элементом, превращая в трио простейшее и, как выясняется к старости, самое что ни на есть истинное представление мира как дуэта «Я и Оно». Илюша в этом смысле исключением не являлся. Просто в его случае «материнское существо» оказалось двуглавым и четырехруким: оба родителя сливались в одно огромное доброе облако, постепенно приобретающее индивидуальные черты – в основном, папины.

Наверное, во многом этому эффекту способствовало то, что молоко у матери пропало почти сразу, и для Илюши, вынужденного с ранних дней тянуть жизнь из бутылочки, материнская грудь главной так и не стала – в отличие от отцовских рук, даривших, помимо пищи и утешения печалей в животике, еще и физическое ощущение силы, уверенности и покоя. Пропало молоко... странно, если бы не пропало: у илюшиной матери с завидной регулярностью пропадало все нужное, причем временами казалось, что, чем это *нужное* нужнее, тем с большей необходимостью происходит его неотвратимая потеря.

Мама Наташа была из породы ультимативных жертв, самый смысл существования которых в жестоко-детерминированном механизме жизни не слишком понятен ни самому механизму в целом, ни, в особенности, отдельным его винтикам. Оптимистическая версия гласит, что назначением «жертв» является прежде всего демонстрация неизбывной мудрости и милосердия Создателя, который устроил этот мир так, что в нем выживают даже те, кто, кажется, не в состоянии выжить ни при каких обстоятельствах. Наташа и сама в это верила... Нет, пожалуй, слово «верила» тут не очень подходит: она это *знала*, а потому ничуть не жаловалась на невзгоды и неудачи, а, напротив, встречала их с изумленно-радостным ожиданием поправки, помощи – всегда неожиданной, невесть откуда берущейся, но тем не менее, неминуемо оказывающейся на месте и к

месту – пусть даже и в самую последнюю минуту, когда иным маловерам кажется, что теперь-то уж точно ничто не поможет.

Взять хоть ее встречу с отцом, о которой они не раз вспоминали потом при Илюше со смехом и с каким-то отдельным, лишь для них двоих предназначенным и потому обидным, посторонним мальчику чувством, словно выставляя сына на короткое время за дверь, словно жалея о его присутствии, словно обособляясь, и против этого страшного обособления не могло помочь ничего, ничего, кроме решительного, на грани слез требования – «папа!.. ну, папа!..» – немедленно взять на руки – те самые, сильные, теплые и спокойные, и прижать, да так, чтоб покрепче... взять хоть эту встречу, случайную, на улице, когда она что-то несла и рассыпала, что-то гастрономное: пакеты с перловкой, пакеты с сахаром, пакеты с картошкой и «Любительскую» колбасу за два семьдесят кусочком, и все это разлетелось, как могло разлететься только у нее, – вдрызг, под ноги прохожих, безжалостные в своей торопливости – и хотели бы перешагнуть, да не выходит... а она просто стояла столбом, прижав руки к груди, где потом не окажется молока, и даже не пытаюсь что-либо предпринять, просто стояла и гадала: что же выручит ее на этот раз, и, как всегда, спасение не замедлило вынырнуть из людского коловорот, людоворот, людоедства, вихрящегося на углу площади Льва Толстого в вечерний час пик, протиснуться на противоходу сквозь плотную чешую черно-серых спин, выудить из-под мелькающих, скользких по ноздреватой февральской наледи ног неведомо как еще не растоптанную картофелину и показать ей, подняв на уровень глаз: смотри, гнилая.

Ей было шестнадцать, а ему двадцать три, и они смотрели друг на друга сквозь эту гнилую картофелину, сквозь эту гнилую петербургскую зиму конца гнилых семидесятых, сквозь эту всеобщую гниль и хмарь, и слизь, и злобу, и невозможность нормальной человеческой жизни – невозможность, которую тогдашнее существование, словно в насмешку, старательно встраивало в любую нормальную человеческую жизнь.

Чтобы удачнее приспособиться к вони, необходимо вонять самому; нужно вытравить из себя все светлое, что поддается вытравливанию, все, что мешает, сопротивляется грязи: ведь тошноту вызывает вовсе не внешняя мерзость, а внутренняя чистота – устрани эту чистоту и сразу перестанет тошнить – что может быть проще? И люди, повседневные рабы грязи, выдавливают ее из себя – не грязь, конечно, потому что грязь, глина составляют основу их существа – поди выдави основу, а чистоту – выдавливают по капле, хотя чаще всего не набирается и капли; эти светлые сгустки скатываются под стол, под кровать, таятся по затянутым паутиной углам, их выметают в помойные ведра, половой тряпкой сгоняют по скользким коммунальным коридорам, по разукрашенным нудными словесными экскрементами лестницам, на осоловевший от водки и вражды двор, в крысиные подвалы, в подземелья – куда угодно, лишь бы подальше, с глаз долой, из сердца вон.

Но – подобное к подобному – они находят друг друга, сливаются, как капельки ртути, растут в объеме, накапливают силу, пока не оказывается поблизости чьей-либо нежной младенческой души, куда можно заскочить и там поселиться – уже в безопасности, потому что

в большинстве, потому что на капли в таких душах меряется уже не чистота, а, наоборот, грязь и вонь. Таких людей, когда они вырастают, называют «не от мира сего», крутят пальцем у виска, вздыхают, жалея родителей, которые, в свою очередь, стыдятся позора чресл своих. Ну при чем тут ваши гнилые чресла, вы, ходячая грязь, летучая вонь? Разве может родиться что-либо путное из скрипа ваших заляпанных скучным повседневным совокуплением кроватей, из вашего свального пьяного греха? Разве может выйти из ваших канав и роддомов что-нибудь, кроме такой же грязи и вони? Разве может быть вашим дитя, рожденное слиянием капель чистоты – истинно непорочным зачатием?

– Ой, меня теперь домой не пустят, – сказала она сквозь картофелину. – Это уже второй раз за сегодня. Правда, тогда просто сетка порвалась, зато у самого дома. А сейчас...

– А сейчас пойдем ко мне, – сказал он, не дослушав и разом забирая в свои сильные и спокойные руки, в полное свое распоряжение ее саму и, как казалось тогда, всю ее будущую судьбу. – У тебя зуб на зуб не попадает, а я тут рядом живу. Чаем отпою.

Слово «отпою» в своем главном и, возможно, единственно правильном значении, которое отец, впрочем, вовсе не имел тогда в виду, относилось бы к панихиде по ее прошлой жизни, если бы эта прошлая жизнь действительно заслуживала отпевания. Но она не заслуживала, нет. Отпевают, чтобы помнить, но в данном случае следовало поскорее забыть. Мать решительно ни о чем не жалела: в ее родительском доме жила злоба – завистливая, грубая, тупая, с которой она инстинктивно старалась не соприкоснуться, а потому неизбежно воспринималась окружающими, как бесчувственное, неродное, непонятое существо. Родители – инвалиды злобы, ветераны вражды, преданные читатели газетных подвалов, почитатели официального народного юмора про тещу, водку и мужа в командировке, любители телевизионных военных парадов, похожие друг на дружку, как два рассохшихся мухомора. Старший брат – злобный слюнявый идиот, от которого следовало беречься по ночам и шваброй подпирать дверь ванной. Младшая сестра – злобная вороватая ябеда, никогда не упускающая случая сотворить пакость...

– Хорошо, – сказала она. – Только у меня там паспорт остался. Говорят, без паспорта нельзя.

– Не беда, – сказал он, беря ее под локоть. – Выручим твой паспорт, не сомневайся.

Возможно, случайной выглядела их встреча, но уж никак не их последующее незамедлительное слияние; иначе и не могло произойти все по тому же закону взаимоприращения ртутных капель, стремления подобного к подобной. Отец тогда только-только закончил институт, работал на Петроградской и снимал комнату там же, неподалеку. Хозяйка квартиры, соломенная вдова с золотушным ребенком, сдавала недорого, но не без тайного умысла, который с каждой неделей проживания непонятливого жильца становился все более явным, пока не лопнул, как нарыв, сменившись разочарованием и привычной злобой от очередной «порушенной» мечты. Тем не менее, внезапное появление шестнадцатилетней «шлюхи-разлучницы» хозяйка восприняла почти как супружескую измену, и им пришлось сразу же подыскивать новое жилье, что

отец и проделал с той же поразительной легкостью, с какой давалось ему все, за что бы он ни брался.

Отец всегда жил с твердой уверенностью, что может без особенных затруднений сделать своими руками и умом все, что в принципе подвластно человеческим рукам и разумению. Он принадлежал к тем, кто в ответ на вопрос об умении играть на арфе пожимают плечами: «Наверно, да, но ни разу не пробовал», и это проистекало не от невежества или легкомыслия, но от искренней, подкрепленной немалым личным опытом веры в то, что не существует такого ремесла, каким нельзя было бы овладеть после минимального «введения в курс» и некоторой тренировки. Он без колебаний брался за что угодно: мог отремонтировать телевизор и пальто, сварить обед и кладбищенскую оградку, срубить деревенский дом и уличного хулигана, сменить концепцию и пеленки, развести электронную схему и кухонную интеллигентскую философию...

Казалось бы, эта уверенная, рукастая, успешная активность отца совершенно не соответствовала крайней пассивности матери, ее поминутным неудачам во всем, что касалось простейших вещей, ее робкой беспомощности, столбняковому оцепенению, которыми она встречала любую ситуацию, предполагающую экстренную немедленность действия.

Но на самом деле в глубинной основе обеих, внешне столь непохожих моделей поведения лежало совершенно одно и то же: твердое знание того, что мир, как могучий пес сенбернар, прост, добр и соразмерен устремлениям человеческой души и возможностям человеческого тела, а потому ни при каких условиях не делает им плохо. Они были определено одного поля ягоды, хотя практически и вели себя диаметрально противоположно: мать спокойно, без суеты поджидала, пока все само собой устаканится, в то время как отец из любопытства, а может, из присущего мужчинам нетерпеливого азарта – я сам!.. я сам!.. – предпочитал пробовать себя в роли непосредственного инструмента этого устаканивания.

Что не подлежало никакому сомнению, так это их оглушительное счастье – сначала вдвоем, а потом, с рождением Илюши, – втроем. Им никто не помогал, но никто и не мешал: семьи обоих со злобным удовлетворением, сопровождающим исполнение на практике особо мрачных прогнозов, одновременно прокляли как ее: «Нашла себе нищего жидка, дура!..» – так и его: «Нашел себе малолетнюю гойку, идиот!..» Илюша, таким образом, рос без бабушкиных сказок и дедушкиных баек, о чем, впрочем, ему ни разу не пришлось пожалеть.

Две трети смешной отцовской зарплаты младшего инженера уходили на оплату комнаты в коммуналке. Мать, пока не забеременела, пробовала подрабатывать то машинисткой-надомницей, то надомницей-швейей – с разной степенью убытка, но с одинаковым неуспехом. С появлением Илюши она переключилась на макраме, и отец вздохнул с облегчением: денег мамино искусство не приносило, зато и не грозило штрафами за порчу материала или срыв сроков. Главным источником побочных доходов являлись летние отцовские шабашки и круглогодичное общесемейное занятие, известное как «мытьё коридоров». «Образование наше – высшее и коридор», – шутил по этому поводу отец. Он вообще шутил постоянно, буквально жил с улыбкой, даже во сне.

Коридоры были разными: длинными и короткими, паркетными и каменными, грязными и чистыми, со ступеньками и без, учрежденческими и школьными. Ужаснее последних не существовало в природе ничего: они представляли собой натуральный выплеск, извержение, блевоту дикого человеческого естества, вырвавшегося в пампасы переменки из сорокапятиминутного испанского сапога урока. Отбушевавшая стихия оставляла после себя такую картину, что, казалось, проще построить коридор заново, чем привести его в порядок. Усыпанный шариками жеваной промокашки паркет, ржавые яблочные огрызки, бутербродные корки маслом вниз, собачье дерьмо, принесенное на подошве со двора и вытертое о батарею, торчащие острием вверх обломки карандашей, для устойчивости воткнутые в стирательные резинки, конфетные обертки, смачные плевки, сопли, кровь из расквашенных носов, выбитые и выпавшие молочные зубы...

Неудивительно, что Илюша, помогавший отцу с трехлетнего возраста, возненавидел школу задолго до того, как попал туда в качестве первоклассника. На школьные коридоры Доронины нанимались, как правило, по осени, ввиду отсутствия других вариантов; затем, примерно в ноябре-декабре, отец находил что-нибудь получше, например, коридор поликлиники, но на том не успокаивался, а продолжал искать дальше, так что к весне школы оказывались забыты, а уборка превращалась в истинное удовольствие: несколько мусорных корзинок вытряхивались в мешок, по каменному полу, и без того не слишком грязному, сгонялось ведро воды, и на том все заканчивалось – четверть часа, не больше. Увы, в июне, когда отец уезжал на шабашку, ценные коридоры оставались на попечении матери, и та, по своему обыкновению, ухитрялась немедленно профукать с таким трудом завоеванные синекуры. В результате осенью приходилось опять начинать с гадостной школы.

Возвращаться туда было ужасно досадно, но отец ни разу не упрекнул мать по этому, как, впрочем, и по любому другому поводу, а когда Илюша осмелился выразить неудовольствие сам, отвел его в сторонку и сказал, впервые на памяти сына стерев улыбку даже из уголков глаз:

– Ты ведь знаешь, что есть вещи, которые нельзя изменить, не разрушив? Ну, например...

Он замялся и повел глазами по комнате, будто нужный пример мог отыскаться под шкафом или под кроватью. У отца были удивительно красивые глаза – большие, чуть навывкате, с длиннющими и очень густыми ресницами.

– ...карточная башня? – предположил Илюша.

– Точно! – подхватил отец. – Карточная башня. Подвинешь с бочка и – бац! – все упадет. Ее надо беречь точно в том виде, как она есть. Вот и наша мама такая же. Понял?

– Какая?

– Красивая... – прошептал отец, словно сообщая сыну чрезвычайно важный секрет. – Она очень, очень красивая. Ее трогать нельзя. Вообще. Только смотреть и радоваться, что она такая есть, и не просто есть, а есть с нами. Понял? Обещай мне. Договорились?

Отец протянул ладонь для рукопожатия – ту самую, самую крепкую и уверенную в мире. Мог ли кто отказаться от такого договора?

– Ладно, – с некоторой заминкой пообещал Илюша. – Договорились.

Наверное, отец даже не заметил этой заминки, а может, заметил, но счел ее незначительным проявлением упрямства пятилетнего мальчишки. Хотя на самом деле Илюша вовсе не упрямылся. Он думал в этот момент, рассказать ли отцу что-то такое, чего тот просто не мог знать: мать была действительно очень красивой, но только в его присутствии. Стоило отцу уехать на несколько дней, как мать довольно быстро превращалась в дурнушку. С ней начинало твориться нечто невероятное: глаза тускнели, волосы утрачивали обычный блеск, зубы неприятно посовывались вперед, как у ведьмы, черты обострялись, движения теряли уверенность и точность. Чаще всего она просто заболела: леглась в постель лицом к стене и почти ничего не ела. Летом, во время шабашек, ей, видимо, приходилось совсем туго – тогда-то и уплывали оставшиеся без присмотра выгодные коридоры.

Зато накануне отцовского возвращения мать преображалась самым волшебным образом. Она чувствовала его приближение заранее, дня за два, даже если отец неожиданно освобождался раньше времени или не сообщал о приезде, желая сделать сюрприз. Ее словно подбрасывало с кровати; зубы немедленно возвращались на место – в сияющую улыбку, глаза широко распахивались и начинали петь, на щеках появлялся румянец; мать принималась порхать по комнате, тормоша Илюшу и вдохновенно, но абсолютно неумело пытаясь приготовить что-нибудь вкусное из втридорога, но абсолютно бестолково накопленных продуктов, и прекрасные, длинные, чудно пахнущие волосы летели за нею солнечным ветром.

К моменту, когда наконец раздавался долгожданный щелчок дверного замка, она была уже совершеннейшей красавицей – такой, каких нет и не будет, о каких лишь рассказывают в сказках, выдумках, небылицах. Входил отец – боком, затаскивая за собой рюкзак и запахи неизвестных мест, поначалу странные, но тут же становившиеся родными из-за одного только соседства с ним. Мать и Илюша стояли, не двигаясь, ждали. Чего? Уж не того ли, что эта минута абсолютного счастья, этот дивный кусок времени замрет вместе с ними, застынет, останется таким навсегда, как гранитная глыба, как момент-монумент?..

Отец же, словно не замечая их и таким образом поддерживая предложенную игру, неторопливо снимал рюкзак с торчащим из него мужественным подбородком топорщица, скидывал старую стройотрядовскую куртку, расправлял отяжелевшие за лето плечи, вздыхал, и сильно, с хрустом потягивался всем телом, привставая на цыпочки и туго натягивая футболку. Они ждали, затаив дыхание; ждала коммунальная прихожая с подвешенными к потолку лыжами, ждали тазы в ванной и шкафчики на кухне, соседский сундук и соседские антресоли; даже электрические счетчики на стене, казалось, переставали жужжать.

Ждал весь мир, весь мир без остатка... – ждал, пока отец не хлопнет наконец в ладоши и, широко разбросав их по сторонам, не скажет весело:

– Ну? Где же вы все? Я вернулся!

И тут уже следовало не зевать, чтобы успеть раньше всех этих тазов и счетчиков: ведь предложенных для объятия рук было всего две, одна для матери, другая для сына, и все, конечно, мест больше нет, как в цирке по праздникам. Поэтому Илюша всегда подбегал первым, взлетал вверх на рычаге самой сильной в мире руки и замирал, прижавшись мокрым от счастья лицом к отцовской шее и уже предчувствуя недоброе, уже помня по прошлому горькому опыту, что эта драгоценная добыча никогда не делится по справедливости, пополам, что ему достанется лишь этот кусок шеи и немного груди, и рука, а все остальное – матери, что даже и та малая, пока еще принадлежащая ему часть, уже начала безнадежно и безудержно, как песок, перетекать в ту, другую сторону, к которой прижимается мать, туда, где мерцают ее полузакрытые, вдруг потемневшие глаза, где блестят ее волосы, где шевелятся в неслышном шепоте ее губы.

Но и эта вопиющая несправедливость не могла сравниться с тем, что происходило минут через десять, когда отец, присев перед Илюшей на корточки, вручал ему подарок – чаще всего какой-нибудь конструктор и, выпрямившись, произносил напряженным, звенящим голосом с какой-то непонятной вопросительной интонацией: «Ну, я в душ?..» а мать, так пока и не вымолвившая ни слова с самого момента его прихода, молча кивала на стул, где висело заранее приготовленное полотенце, и он одной рукой брал это полотенце, а другой мимоходом, отодвинув волосы, гладил мать по шее, легонько целовал в висок и уходил, а мать еще какое-то время стояла, закусив губу и слепо глядя в окно, как будто продолжая переживать это прикосновение или просто храня след его руки, оставшийся там, на ее шее, а затем шла за ним, за следом, за рукой, за отцом, шла, как сомнамбула, и щелкала щеколда, и даже шум льющейся воды не мог заглушить их сдавленных вздохов и тихого смеха, и страшноватого мычания, значение которых было понятно маленькому Илюше, если не в деталях, то в общем и главном: они не только не нуждались теперь в своем маленьком мальчике, но хуже того – видели в нем помеху, выставляли за дверь, обманывали дурацким подарком и фальшивой улыбкой, чтобы потом, заперевшись, беспрепятственно вершить свое отдельное, закрытое, недоступное сыну таинство. О, как он ненавидел эти чертовы конструкторы!

Дорожка вильнула туда-сюда, словно сомневаясь в направлении, и наконец, отбросив колебания, круто повернула налево, вверх по склону университетского холма Гиват-Рам. Именно здесь, на повороте, зарезали злосчастного профессора Ш. Тоже, наверное, шел себе, не спешил, жонглируя еще горячими головешками прошлых детских обид, как циркач факелами... А может, прикидывал зубодробительные формулировки очередной своей статьи в защиту добра. Добро должно быть с кулаками. И с наганами. И с пыточным станком. Первичные половые признаки добра... а иначе – как сможет непонятливый наблюдатель отличить его от зла? Особенно, если он, наблюдатель, подвешен на дыбе...

Илюша посмотрел на часы. Утром сдвоенная лекция, вечером семинар, а в перерыве можно будет посидеть в библиотеке над письмами Рахели. Надо же... незаметно-незаметненько обычная курсовая работа о поэтессе второй половины двадцатых годов

прошлого века переросла во что-то намного более важное. Во что? Илья и сам не мог определить.

– Ты наработал уже как минимум на дипломную статью, – утверждал Боря Квасневич, пролистывая его заметки по вечерам в промежутке между второй и третьей рюмками, потому что первые две по древнерусской традиции шли без перерыва. – А не выпить ли нам за Илюху, братие?

– Диплом! – презрительно фыркнул Леша Зак. – Плевать на диплом! Забудь про компромиссы, отрок, не повторяй ошибок старших товарищей. Пиши сразу книгу. Мы с Борькой тебе поможем.

– Поэты о поэтессе! – провозглашал насмешник Димка, и тут же потешно зажимал рот рукой, будто сморозил что-то неподобающее. – Ой, что я наделал... Илюша, милый...

Шутник точно знал, как вывести Илью из себя, и тот действительно реагировал немедленно:

– Еще раз назовешь ее поэтессой, я тебе в морду дам. Сколько раз можно говорить?

Слово «поэтесса» в сочетании с Рахелью казалось Илюше кощунством. Глубоко шовинистский строй языка, в котором «солдатка», «докторша» и «казначейша» – это всего лишь те, с кем соизволит спать мужчина – носитель соответствующей профессии, где «грибница» и «корейка», в отличие от «грибника» и «корейца», – даже не люди, а лесная плесень и кусок сала на шмате свиной кожи, выглядел в данном случае особенно неприменимым. Поэтесса... тсс-с... это невзавраду, тсс-с... это для политес-сса... тьфу, гадость!

Ее следовало именовать только Рахелью – одним словом, как называли Мариной другую, ее ровесницу; Рахелью, как звали библейскую праматерь, плотью от плоти и кровью от крови которой она ощущала себя сама.

Праматерь Рахель, выходящая к колодцу со стадом белоснежных ягнят, смуглая босоногая красавица в платке, развевающимся на ветру пустыни, выжженной до предельной, звенящей чистоты сильным и яростным солнцем – тем же, что и теперь, здесь, над нашими головами.

«Поэтесса» – о Рахели! – Нужно же придумать такое...

*Ее песни во мне звенят,
ее кровь – в моей...
О, Рахель, мать матерей,
дева белых ягнят.*

*Оттого-то мне так постыл
городской чертог,
что метался ее платок
на ветрах пустынь.*

*Оттого-то спокойны так
этих странствий дни –
просто помнят мои ступни
материнский шаг.¹*

¹ Здесь и далее стихи Рахели – в переводах автора.

3.

Ночью в тесной духоте каюты Раяше приснилась бабка, наложившая на себя руки за полвека до раяшиного рождения. Лицом бабка удивительно походила на раяшину мать, что казалось странным: ведь бабка была со стороны отца. Но во сне не принято долго удивляться. Это наяву людям позволено капризничать, выбирая, чему верить, а чему нет, а во сне все иначе, всерьез, никто тебя не спрашивает – ешь что дают. Поэтому Раяша даже обрадовалась случаю увидеть маму молодой и здоровой, какой в жизни не видела никогда, потому что родилась седьмым ребенком – из тех детей, что зовутся поздними.

Во сне бабка-мать выглядела лет на двадцать пять, не больше. Она сидела у стола и, всхлипывая, мылила петлю, а Раяша разглядывала ее, жадно и торопливо, точно зная, что времени осталось совсем немного, потому что петля вот-вот окажется на крюке, бабка в петле, а сон – в прошлом.

Ужасную бабкину историю Раяша помнила в деталях и размышляла о ней не раз: уж больно характерна она была для того дикого, хотя и не столь далекого времени, когда солдатчина длилась двадцать пять лет, то есть примерно всю взрослую жизнь, а общинам дозволялось выполнять норму рекрутов за счет двенадцатилетних мальчишек, попадавших до достижения призывного возраста в военные интернаты для солдатских детей-кантонистов – интернаты, более похожие на тюрьмы.

В тот год полтавская община уже отдала царю своих рекрутов, и люди – те, кого не коснулось горе, вздохнули с облегчением до следующего набора. Молодой семье мелкого торговца Ицхака Блувштейна бояться было особо нечего: их единственному ребенку, будущему раяшиному отцу, едва минуло восемь. Других детей Бог пока не давал, так что на своего первенца дед с бабкой только что не молились – благо, получился мальчонка на славу: и умен, и красив, и здоровьем силен.

Мелкого торговца-разносчика дорога кормит. Но тем не менее на время рекрутчины Ицхак оставался дома: береженого Бог бережет. Дождался, пока не стихнут безутешные вопли соседской вдовы, у которой отобрали сыночка, пока не сядет в шиву – погребальный траур – многодетная семья чахоточного кожевника Дора с бедной окраины. Богатые и на сей раз откупились; Дор деньги взял, пожертвовал одним сыном, чтобы было чем кормить остальных. Зато вдова не соглашалась ни в какую, сколько ни уговаривал ее общинный габай. Да только велика ли цена женскому несогласию, если защитить некому? Ночью пришел подлюка-габай с двумя крепкими молодцами – из тех ненавистных, именуемых хаперами мерзавцев, что, как стервятники, рыщут по селам и местечкам в поисках легкой добычи, – скрутили восемнадцатилетнего парня, вдовьего кормильца и отраду, свет глаз и смысл жизни. Скрутили и увели – навсегда, в безнадежную неизвестность, откуда нет ни голоса, ни письмаца.

Только тогда Блувштейн стал готовиться к поездке. Прежде чем отправиться, зашел к Дору – принести соболезнования. В покосившейся халупе пахло гниющими кожами, бедностью и бедой.

Семья кожевника сидела на земляном полу в надорванных у ворота одеждах – и без того рваных, ветхих, заплатата на заплате. Попавших в рекруты приравнивали тогда к умершим: из солдатчины не возвращались, как из могилы. Если не смерть, то крещение, и еще неизвестно, что хуже.

– Им бы только зиму пережить, – глухо сказал гостю Дор и отвернулся. – У меня ведь их вон, смотри... одиннадцать душ... Хотя нет, теперь уже десять.

Плечи его затряслись в беззвучном плаче, он закашлялся, встал и подошел к двери – выхаркнуть кровь на улицу. Блувштейн вышел следом.

– Ты не подумай чего, реб Дор, – произнес он, неловко теребя край сюртука. – Я все понимаю. Кто тебя упрекнет? Если бы еще не хворь твоя, дай тебе Бог здоровья...

– Мне-то уже не даст, – горько скривился кожевник. – Да и не заслужил я здоровья... Умру скоро. Зимовать без меня будут, теперь есть на что. А там и старший зарабатывать начнет.

Он вдруг ощерился в полубезумной ухмылке, подмигнул и, воздев палец, торжествующе погрозил осеннему полтавскому небу.

– Не-ет... Старшего-то я не отдал, не-ет... Не отдал. Он у меня умница, тьфу, тьфу, чтоб не сглазить, уже многое умеет, а за зиму еще подрастет, силенок накопит. А я – что... я уже – все, отмучился... – Дор схватил Блувштейна за рукав и горячечно зашептал на ухо. – Береги своего мальчика, Ицхак! Береги! Дети – это счастье. Еще и потому, что ими всегда можно расплатиться... хе-хе...

Через две недели после отъезда деда в дверь дома Блувштейнов постучали. Время для соседских визитов было позднее, и бабушка удивилась: кто бы это мог быть?

– Габай! – отвечали из-за двери. – Открывай, тебе письмо от мужа.

Бабушка открыла. На пороге и в самом деле стоял габай, и не один, а с хаперами. Оттолкнув оторопевшую женщину, он вошел в дом и кивнул на сидевшего за столом мальчика:

– Берите!

Бабушка опомнилась, когда сына уже выволокли на двор, к бричке. Путаясь в подоле, она вывалилась следом, попробовала закричать, но язык не слушался, перед глазамиплыли круги. Станным образом работали только пальцы – они сами по себе сгибались и разгибались, как у ярмарочных механических фигур. Этими-то чужими судорожными крючьями бабушка-мать и вцепилась в спину уходящему, уводящему ребенка габаю.

Тот дернулся, пытаясь вырваться, не смог и повернулся к выпученным, не верящим, молящим глазам, какие видывал неоднократно по несколько раз в год, с тех пор, как судьба и община наделила его полномочиями исполнять эту проклятую повинность. Видит Бог, никогда бы он не взялся за столь подлое дело, но у него самого тоже были сыновья...

– Ну что? – устало сказал габай. – Что ты хочешь? Община решила. Я тут ни при чем.

Она хотела спросить: «Как же так? В этом году ведь уже взяли... у Дора и у вдовы...» но язык по-прежнему не слушался, и бабушка смогла лишь дернуть головой в сторону вдовьей хаты, откуда

уже высунулась на шум и сама вдова – простоволосая, в сером от времени платье.

– Правильно, взяли, – отвечал габай, поняв все без слов. – Только ведь утопился он, подлец, подвел нас. Еще на этапе утопился. А самоубийство считается как побег или членовредительство. За это на всю общину штраф вдвойне. Вдвойне, понимаешь? У кого теперь брать прикажешь? Снова у Дора? Его-то сынок не сбежал... Пусты, слышишь? Эй, вы! Помогите!

Один из хаперов, оставив мальчика на попечение второго, отодрал женщину от габая, грубо тряхнул, оттолкнул. Она упала навзничь в холодную ноябрьскую грязь, завозилась опрокинутой черепахой, пытаясь перевернуться, встать, но в этот момент к ней вернулся голос, и она закричала – так страшно, что от этого крика, как ей казалось, должно было упасть небо, но небо даже не шелохнулось, даже не шелохнулось. Когда подошедшая вдова помогла ей подняться, брочка уже скрылась из виду.

– Ну вот. Теперь ты знаешь, – сказала вдова, глядя сухо, со странным, отчасти даже безжалостным любопытством. – Из окна-то, на чужую беду гляючи, много ли разберешь...

Мальчика отобрали, похитили против всех действующих правил: единственный сын, к тому же малолетка... но жаловаться было некому, да она и не знала, как. Габай привел хаперов к ней именно по причине ее полной незащитности: рядом не оказалось никого, кто мог бы заступиться, предотвратить несчастье. Так волки нападают на самое слабое животное в стаде. Месяц тому назад они забрали сына вдовы... и зачем только ему понадобилось топиться?.. – а теперь вот пришли за ее мальчиком.

Но она-то не вдова! У нее есть муж, и он скоро вернется! Вернется и все поправит. Одержимая этой надеждой, потеряв счет времени, она сидела в нетопленном доме и ждала возвращения мужа. Тот и в самом деле уже спешил назад: у тревожных слухов быстрые ноги и глужие батоги. Безжалостно хлестали они по дедовой спине, а он лишь шептал молитвы и погонял лошаденку. Домой, домой, скорее... вбежать в дверь и убедиться, что врут люди, наговаривают, по обычной своей привычке воображают всякие ужасы – не со зла даже, а в суеверной надежде, что эта выдумка заместит, отведет настоящую беду. А того не знают, каково приходится жертвам этих глупых басен... ничего, ничего, сейчас все разъяснится... Не распрягая, бросив во дворе телегу с добром, он вбежал в дом, увидел встающую навстречу жену и сразу все понял.

Насчет того, что произошло непосредственно после этого, мнения в Полтаве разошлись. Большинство сходилось на том, что Ицхак Блувштейн упал замертво сразу, сраженный не то инфарктом, не то ударом – редкая смерть для человека, которому не исполнилось еще и тридцати. Но были и такие, которые утверждали, что перед этим успел он бросить жене горькие слова упрека: как же, мол, так, не уберегла нашего сыночка, сокровище наше единственное, невосполнимое?

Так или иначе, раяшина бабка продержалась еще восемь дней: ровно столько, сколько потребовалось, чтобы похоронить мужа и отсидеть шиву по нему и по сыну. Приходящим соболезновать она говорила одну и ту же фразу, словно представляясь при первом знакомстве:

– Это я их убила, обоих. Я во всем виновата... – а затем, доброжелательно, но безучастно качая головой, выслушивала многословные опровержения сказанного ею.

Когда она повесилась, община, понятное дело, ужаснулась, но с тайным облегчением: трудно ежедневно видеть перед собой чрезмерные степени горя.

Близиких родственников у еще недавно счастливой, а теперь начисто сгнувшей семьи, в Полтаве не оказалось. Не нашлось и претендентов на нехитрое имущество: дом, вещи и лошадь, что, вообще говоря, было странно, ведь обычно чего-чего, а возможных наследников всегда хватает с избытком. Но, видимо, за осиротевшим домом, и за теплым еще добром закрепились нехорошая репутация: как-никак, а всемилостивейший Господь никогда не карает столь страшно безвеской на то причины. Поэтому даже самые алчные жадины не спешили предъявлять претензии на предположительно проклятое Богом место – подобно тому, как обходят стороной опасную трясиину, где только что утонул человек... Поудивлявшись и выждав положенное время, полтавские власти забрали выморочное имущество в казну.

Маленький Исер-Лейб не мог всего этого знать по понятным причинам. Впрочем, не пощадив родителей, судьба отчего-то решила сжалиться над ним. Так ночной тать, забравшись в спящий дом и безжалостно вырезав всех взрослых его обитателей, вдруг, дойдя до колыбельки с плачущим ребенком, опускает уже занесенный было топор и, повинувшись безотчетному капризу, сует соску в кричащий младенческий ротик. Плановые детские этапы кантонистов – страшные, не уступающие каторжным по количеству павших в дороге, уже ушли к местам назначения, да и восьмилетний возраст мальчика не слишком располагал к отправке в военный интернат, куда обычно брали лишь по достижении двенадцати лет.

Так попал малолетний раяшин отец в вятскую деревню, в приемыши к бездетной крестьянской семье, людям простым, но не злым, да и не бедным к тому же. Потосковал паренек месяц-другой, а потом мало-помалу привык: все равно дороги назад не найти. Жизнь, бывает, жить не дает, но выживать учит. И пошло, как поехало: весной пашня, летом покос, жатва осенью, охота зимой. А как стукнуло восемнадцать – полк, муштра, стрельба да казарма – во все сезоны. Тут и Крымская война подоспела, хлебнул ее по полной, в команде разведчиков, закончил унтер-офицером – редкость для нехристя, ведь креста отец так и не надел.

Унтер-шмунтер... отпусков тогда не полагалось даже героям-разведчикам. В Полтаву, к родному порогу, вернулся отец лишь через двадцать пять лет после того, как увезла его, плачущего, на призывной пункт лихая хаперская бричка. Плакал тогда, прослезился и нынче. Не к кому было спешить: ни маму обнять, ни папе поклониться, ни в дом войти, потому что нету уже ни мамы, ни папы, ни дома. Что ж, не к кому, так не к кому. Поправил отставной солдат родительские могилки, забросил на плечо котомку со всем своим имуществом и вернулся в Вятку, как раз к зимней охоте.

Страшен медведь, да не страшнее английского сержанта с нарезным штуцером. Поначалу отец сам зверя бил, а потом, подкопив деньжат, мехами торговать начал. Помогли льготы севастопольского ветерана: быстро разбогател, женился, переехал в торговый город

Саратов, добавил к меховому делу камешки и недвижимость. Жена четверых родила и преставилась. Вторично отец женился уже богатышним купцом, оттого и невесту взял непростую: из рода рижских и киевских Мандельштамов – банкиров, врачей и ученых раввинов:

В раяшином саквояже, среди самых необходимых вещей лежит фотография: мать и отец. Он сидит, облокотясь на угодливо изогнувшийся столик, закинув ногу на ногу, – спокойный, сильный, самодостаточный, с пышными усами, длинной, расчесанной надвое бородой и едва уловимой усталостью в уголках глаз. Она – молодая красавица, королева с убранными в корону волосами, в строгом черном платье с лацканами и белым воротничком, стоит рядом, но в то же время на некотором, можно даже сказать – заметном удалении, и левой рукой робко трогает мужа за плечо, словно желая достучаться, обратиться на себя его труднодостижимое внимание.

Таким – отстраненным, почти чужим, знала отца и Раяша. Редко когда останавливал он на детях свой сосредоточенный, настороженный взгляд – взгляд охотника и разведчика, точно знающего, что в любой момент он сам может превратиться в жертву, в пленника, в объект преследования и охоты. Казалось, он не способен был на самые простые проявления ласки и любви, столь свойственные отношениям детей и родителей, словно раннее сиротство лишило его этого элементарного умения, перенимаемого, как видно, от общения с собственными матерью и отцом. А может быть, еще та давняя жесткая тряска на бричке под грубым хаперским коленом навсегда вытрясла из восьмилетнего мальчишки весь запас любви, отпущенный человеку на долгие годы его жизни?

Так или иначе, но напрямую с детьми отец почти не общался, предоставив это жене и сосредоточившись на том, в чем он действительно понимал толк: на обеспечении своих многочисленных отпрысков достаточной защитой – пока он жив, и достаточными средствами к выживанию – на тот неизбежный период, когда годы сломят его упрямую спину. Скорее всего, именно в этом видел он смысл своего реванша, когда в начале седьмого десятка вернулся со всей семьей в ту же Полтаву, откуда его более чем полвека тому назад выкорчевали слабеньким, хилым, обреченным ростком. Даже не людям адресовал он свой ответ – небесам!.. – тем самым, у которых искала когда-то помощи его обезумевшая от горя мать.

– Смотрите! – словно говорил он. – Смотрите, вы, молчаливые! Помните того придавленного, рыдающего мальчонку? Вот он, вернулся! И не один, а с целой дюжиной сыновей и дочерей – с двенадцатью!.. – не хуже того патриарха, которым вы так гордитесь! И никто из них, слышите, – никто!.. никогда!.. – не узнает того смертного ужаса, той звериной тоски, того ледяного одиночества... – всех тех несчастий, которые обрушили вы на меня. И если это – не победа, то что же тогда – победа?

Наилучшим средством самостоятельного выживания отец полагал хорошую профессию, образование: ведь теперь именно оно обладало решающей силой. Наука, знание, философия, свободное искусство – эти слова слышались в восхитительном лепете нарождавшегося благословенного века – эпохи электричества, пара, радио и передовой инженерии. Поэтому он не жалел для своих детей денег ни на лучшие школы, ни на частных учителей, ни на европейские университеты.

А ласка... ласку они в полной мере получали от мамы – тонкой, внимательной, умной, – пока не унесла ее три года назад чахотка. Раяше, одиннадцатому ребенку в семье, тогда едва исполнилось шестнадцать, а младшей Верочке, – четырнадцать. Отец не стал ждать долго и женился в третий раз – в возрасте семидесяти пяти. Зачем? Возможно, его пугала потенциальная опасность снова остаться одиноким, беспомощным – теперь уже не по малости лет, а от их избытка? А может, он и в самом деле напрочь оглох на сердце от переживаний сиротского детства? Или полагал своим святым долгом незамедлительно обеспечить детям новую мать, чтобы ни минуты не чувствовали себя брошенными, как он – тогда, в бричке? Или все вместе: и то, и другое и третье?..

Новая жена Мария Наумовна оказалась классической мачехой – и внешне, и внутренне. Сухая, крючконосая, неприветливая, с вечно поджатыми губами, она напоминала злобную сову. Никому не приходилось видеть ее с книжкой в руках; почти всю домашнюю работу выполняла прислуга, а мачеха целыми днями неподвижно, действительно по-совиному, восседала в отцовских покоях, пристально глядя в угол, будто выцеливая там зазевавшуюся мышь.

Трудно было вообразить больший контраст с покойной яркой и всесторонне образованной мамой, дружившей с Короленко, переписывавшейся с Толстым. С мамой, чей полтавский салон представлял собой средоточие интеллектуальной жизни городка – жизни, конечно, провинциальной, не столь бурной и блестящей, как в столицах, но зато и не столь подверженной тамошним обжигающим болезненным вывертам, типа погромов, революций и мерзких судебных процессов.

Дома стало трудно дышать, и еще оставшиеся в нем дети затопились прочь. Старший брат Яков уехал учиться в Италию, а через два-три года при первой же возможности по его следам двинулись и сестры: Роза, Раяша, Верочка... Отец, как всегда, не перечил: если университетское образование поможет детям жить и процветать, то никаких денег не жалко. Юный возраст девочек, который иные родители сочли бы неприемлемым для самостоятельной жизни, его тоже не смущал: разве сам он не оказался «в людях» беспомощным восьмилетним пацаном?

Верочкина дорога лежала в Лейпциг, в консерваторию. А неразлучных Розу и Раяшу манил Миланский университет, прекрасная Италия, давно уже знакомые по книгам имена творцов Ренессанса, изысканная Флоренция, волшебный Неаполь, сумрачная Венеция, мощный Рим. О, чудная земля, текущая медом поэзии, молоком искусства, вином философии!.. От одной мысли о ней захватывало дух, кружилась голова. Неужели все это происходит с ними, двумя полтавскими девчонками, еще вчера делившими кров с устрашающе неподвижной мачехой-совой и отрешенным отцом, с каждым годом все глубже и глубже уходящим в себя, в тот единственный на свете по-настоящему безопасный уголок, куда не может доехать хаперская бричка?

Судно качало, покачивалась каюта, покачивалась бабкина петля в раяшином сне, склонялась поближе к собственному сну Раяша, силясь получше разглядеть любимые черты своей молодой матери, – такой, какую Раяша знала только по фотографии, – той самой, из саквояжа, где маме нет еще и двадцати пяти.

Погоди, погоди... разве это мама? – Нет, никакая это не мама, хотя и очень похожа. Тогда – кто? Неужели не узнаешь? Это ты, Раяша. Ты сама сидишь у стола в темной полтавской горнице, сидишь и моешь себе петлю, а мерзкий габай ломится в дверь со своими хаперами, и дверь прыгает на крючке, вот-вот сорвется, и некуда бежать, и помощи ждать неоткуда.

А на руках у тебя ребенок, не петля, а ребенок, и это самое ужасное, потому что лучше уж петля, чем ребенок, которого сейчас отнимут... отдайте петлю!.. но в этот момент крючок наконец соскакивает с петли, и габай влетает в комнату на совиных крылах, и Раяша видит, что габай – это не просто габай, а мачеха Мария Наумовна, и мачеха тащит ребенка из раяшинных рук – и не удержать – пальцы ломкие, как лед, и габай-мачеха вырывает ребенка, а Раяша цепляется за единственную спасительную в этом аду мысль: у нее еще нет ребенка, а, значит, и отнимать пока нечего, но тут она смотрит на кричащий сверток в совиных когтях габая и видит, что никакой это не ребенок, а мама – раяшина мама, молодая, как на фотографии из саквояжа, мама в когтях у мачехи, и хуже этого уже точно не бывает ничего и никогда.

– Отдай! – кричит Раяша – не потому, что верит, что отдадут, а потому, что молчать больнее. – Отдай!

И тогда Мария Наумовна открывает свой гадкий клюв и принимает отчетливо декламировать одну и ту же фразу, словно она и не сова вовсе, а самый что ни на есть рыночный попугай:

– И ты сгинешь так же. И ты сгинешь так же. И ты сгинешь так же...

– Рая! Рая!.. Да проснись ты уже!

Раяша открыла глаза и перевела дух. Каюта. Тусклая лампочка под потолком. Розка, старшая сестра, недовольно и слегка испуганно трясущая ее за плечо, заглядывающая в заплаканные глаза, где, наверное, еще обмирают по дальним уголкам страха только что увиденного кошмара.

– Что с тобой? Ты так кричала, что меня разбудила...

– Тебя? – Раяша улыбнулась: для того, чтобы разбудить Розку, требовалось действительно вопить во все горло.

– Представь себе, – обиженно проговорила сестра, снова укладываясь на койку. – Совсем поспать не даешь. Скоро ведь опять на палубу потянешь.

Хотя Роза и была старше почти на два года, командовала в их дуэте именно Раяша. Как-то так само повелось. Раяша села на постели, спустила ноги на подрагивающий пол-палубу.

– Душно. Пойду наверх. Кстати, Шошана, – она сделала особое ударение на имени. – Тебе, милочка, два щелчка по носу. Сейчас выдать или до завтрака подождешь?

Девушки договорились, что, начиная с отплытия из Одессы, они уже не будут прежними Розой и Раей, а станут самыми настоящими Шошаной и Рахелью. Новая жизнь – новые имена! Хотя, в том-то и дело, что никакие они не новые: старее не придумаешь – с библейских времен... А кто уговор забудет, тому щелчки по носу!

– Шошана?..

Сестра, для верности уткнув в подушку угрожаемый нос, пробурчала что-то неразборчивое: мол, сплю я, отстань со своими детскими глупостями. Раяша снова улыбнулась, осторожно попробовала

на слух: «Рахель...» и осталась довольна. Звучало и в самом деле здорово – похоже на «апрель», на весну, на чудное время свежих начал и непременно сбывающихся обещаний – как раз под нынешнее настроение, нынешнее состояние, в точности про них. Шошана и Рахель. Она провела рукой по подушке, окончательно стирая с нее отпечаток неприятного сна.

Наверху светало; пароход стоял на стамбульском рейде, огромный город, как удав – чешуей, мерцал огоньками по обеим сторонам пролива. Дышалось легко, свободно и так вкусно, что хотелось еще и еще, и славно было сознавать, что этого необыкновенного воздуха хватит на всю жизнь, то есть навсегда. Подошел давешний турок.

– Мадемуазель Рашель?

Еще одно имя. Теперь у нее много всего, даже имен. Как воздуха – сколько хочешь, навсегда.

– Доброе утро, господин Молхо, – улыбнулась Раяша. – Вам скоро сходить?

Он развел руками.

– Вот-вот совсем рассветет, и начнут подходить лодки. Я опасаюсь, что не успею попрощаться до того, как вы проснетесь.

Немолодой, интеллигентного вида турок сел на пароход в Варне, и Раяша, присмотревшись, моментально приспособила попутчика к совершенствованию своего не слишком уверенного французского. Господин Молхо облокотился на борт рядом с нею.

– Какой большой город...

– Стамбул? О, да. После него Яффа покажется вам деревушкой.

– Не беда, – улыбнулась Раяша. – Я выросла в небольшом городке.

– Да, я помню, Полтава... – кивнул турок и неловко зашевелил плечами, словно запихивая назад, за невидимый шлагбаум, так и не произнесенное продолжение фразы. – Полтава... Гм...

– Мне кажется, вы что-то хотите сказать, – помогла своему собеседнику Раяша. – Смелее, господин Молхо, девушки из Полтавы не кусают почтенных попутчиков.

– Гм... да... – турок слегка покраснел. – Конечно, это не мое дело, мадемуазель, но все же, если позволите... Я никак не возьму в толк, зачем вы с сестрой решили заехать в Палестину. Что барышни из такой добропорядочной семьи могут искать в столь глубокой и дикой провинции, да еще и по дороге в Италию? Я мысленно ставлю себя на место вашего отца и не могу не утрапиться возможных последствий этой... гм... да...

– Авантюры?.. – подсказала Раяша, глядя на остроконечные минареты, торчащие из города, как карандаши из стакана.

– Гм... да, если хотите. Авантюры. Вы ведь намереваетесь обучаться искусству и философии в Риме и в Милане. Это весьма похвально и разумно. Я сам в свое время получил образование в Берне и видел там немало российских студентов. Но какое, помилуйте, отношение к Милану и Риму имеет нищая Яффа? Мне доводилось бывать в тех местах по долгу службы, и, поверьте, решительно ничего приятного там нет. Я даже сильно сомневаюсь, что ваш прелестный носик сможет справиться с тамошней мерзкой... гм... да... – он поискал более приличное в разговоре с барышней слово, – ...с тамошним ужасным ароматом.

Раяша возмущенно выпрямилась.

– Мой прелестный носик, господин Молхо, отнюдь не столь чувствителен, как это может показаться на первый взгляд.

– Ну вот, вы все-таки обиделись, – расстроился турок. – Поверьте, я не хотел...

– Как вы не понимаете, что времена уже совсем не те, что прежде? – перебила его девушка. – Посмотрите, как волшебным образом изменился мир! Вы действительно, как мой отец: он тоже совершенно не способен осознать эти перемены – настолько они быстры. Взгляните, господин Молхо: вот мы с вами на пароходе. Путешествие, на которое раньше требовались недели, теперь продолжается всего несколько дней. Паровые машины, электричество, телефоны, синематограф... люди уже начинают летать на аэропланах – мне брат рассказывал, он видел своими глазами. Еще немного, и все пойдет по-другому. И не только в науках, но и в нашей обыденной жизни. Подумайте сами: если человеческий разум способен отправить аэроплан на Луну, то неужели он не сможет устроить такое разумное общество, где разумные люди будут счастливо жить вместе и при этом не ссориться? Конечно, сможет! Жизнь станет совсем-совсем другой, господин Молхо, и это произойдет намного скорее, чем вам кажется. Новый век еще не наступил, но он уже близко, близко!

Пожилой турок выслушал ее горячую тираду внимательно, без улыбки, слегка покачивая головой.

– Новый век уже наступил, – возразил он. – Сейчас тысяча девятьсот девятый год, мадемуазель Рашель. Конец первого десятилетия двадцатого века. И я не уверен, что...

– Да нет же! – воскликнула Раяша, во взволнованной запальчивости едва ли не хватая за рукав своего почтенного собеседника. – Нет же! Это первое десятилетие еще относится к старому веку. Это все еще... как бы это назвать?... это – накопление, вот! Это просто накопление, когда мир постепенно набирает знания, опыт, желание, силы, когда появляется все больше и больше нового, интересного, полезного. Представьте себе такие огромные весы, две чаши. На одной – все человеческое прошлое – ужасно тяжелое, ужасно... А и в самом деле, это ведь столько лет, даже веков, даже тысячелетий... столько жертв, войн, заблуждений, преступлений, лжи... сколько все это должно весить? – ужас сколько, не правда ли? Подождите, подождите, дайте мне закончить... Зато на другой чаше лежит все то новое, что люди сейчас накапливают, все то, что теперь называется плодами науки и разума. Разума, понимаете?! И вот мы все, всё человечество, постепенно нагружаем на вторую чашу... нагружаем... нагружаем... Смотрите, господин Молхо, она уже зашевелилась, уже пришла в движение... еще немного, и она перевесит, перетянет и одновременно вытащит вверх все наше прошлое, всех людей, всех нас, вот так...

Раяша показала руками и перевела дух.

– И вот тогда... – она слегка задохнулась, но тут же привычно подавила в горле начавшийся было кашель. – Тогда-то и наступит новый век. Новый, прекрасный век, господин Молхо!

Они помолчали: Раяша – в некотором смущении от своей внезапной горячности, господин Молхо – в охватившей его задумчивости.

– Я сейчас вот о чем подумал, мадемуазель Рашель... – произнес наконец турок. – Как странно: совершенно то, о чем вы сейчас

говорили, я слышал тридцать пять – сорок лет назад в Берне. Ровно то же самое. Да и образы те же: и про накопление, и про весы, и про разум... Правда, мои тогдашние ровесники собирались положить на нужную чашу весов прежде всего свои жизни. Как я потом узнал, некоторые из них своей цели добились. Нет, не в отношении чаши – чаша, насколько я понимаю, даже не дрогнула – в отношении собственных загубленных судеб. Впрочем, и чужих тоже. Да... Только тогда это называлось...

Он покопался в памяти и выудил, смешно коверкая русские слова:

– Нариодна Вулиа...

– Народная Воля, – тихо поправила Раяша.

– Да-да, именно так...

Под ними вдоль борта медленно проплыла длинная четырехвельсельная лодка; перевозчик, задрав голову с кормы, высматривал клиентов. Господин Молхо стал прощаться; Раяша торопливо кивала, благодарила за терпение, с которым он столь великодушно принимал ее невыносимый французский; турок, кланяясь, церемонно отрицал очевидное. Оставшись, наконец, одна, она снова облокотилась на борт. Прежнего радостного подъема как не бывало. Вместо него совершенно не к месту припомнились сон и мачеха-габай со своим дурацким попугайным предсказанием, подкрепленным, как это ни печально, реальной слабостью раяшиных легких, которая, впрочем, отнюдь не означала чахотки – особенно сейчас, после профилактических поездок в Крым и многих литров выпитого там чудодейственного, хотя и ужасного на вкус кумыса.

Что, если господин Молхо прав в своей неприятной аналогии? О «Народной воле» Раяша узнала сначала из семейных легенд, а затем и непосредственно из первых уст – от героини этих легенд, Розы Мандельштам, родной раяшиной тети, приехавшей в Россию погостить незадолго до смерти матери. К тому времени бывшей народо-волке можно было не опасаться ареста: в розыскных списках полиции экзальтированных желябовских бомбометателей давно уже сменили искушенные эсеровские боевики Азефа и Савинкова.

В девятнадцать лет, то есть в нынешнем раяшином возрасте, тетя, как говорилось тогда, «пошла в народ». Молодые российские интеллигенты семидесятых годов отчего-то были уверены, что именно там, в глухих деревнях, в хлеву, в поле и на лугу, на печках да полатях, где две трети жизни уходит на круглосуточный тяжкий физический труд, а оставшаяся треть – на бесчувственную зимнюю спячку, что именно там, в скотстве, грязи и навозе, бьют родники чистой нравственности и незамутненной культуры.

Самих себя эти мальчики с нежным пушком на скулах и девочки с трогательными завитками на висках полагали нечистым порождением общества, безнадежно погрязшего во лжи и преступлениях. Очистить их от этой мерзости мог лишь Народ. Образ Народа рисовался воображению мальчиков и девочек не слишком конкретно, но разве настоящему святыне вещи бывают конкретными?

Ответив презрительным молчанием на расспросы домашних о своих дальнейших планах, юная тетя Роза ушла из дому, исчезла в неизвестном направлении, загадя предупредив, что будет рассматривать любые поиски, – хотя бы и без участия полиции – как недопустимое полицейское вмешательство в личную жизнь свободного

человека. В небольшой поволжской деревне появление городской барышни сначала восприняли настороженно. Затем, после разъяснений, полученных старостой от волостного начальства, стали скорее презирать, чем побаиваться. А закончилось все тем, что несколько парней заперли девушку на гумне и поочередно насильовали, пока одна из деревенских девок, приревновав, не выгнала ее на большак тумакми, на прощанье пообещав собственноручно выцарапать поганке глаза в случае ее повторного появления.

Домой в Киев тетя вернулась избитая и окровавленная, но объяснять ничего не стала из гордости. Отмывшись, она заперлась в своей комнате и почти не выходила оттуда. Поэтому и на растущий живот родные обратили внимание хотя и раньше нее самой, но существенно позже того, как миновала последняя возможность аборта. Родившегося ребенка отдали в деревню на воспитание. В определенном смысле он «пошел в народ» намного удачнее своей матери, которая отказалась даже посмотреть в сторону новорожденного, не говоря уж о том, чтобы взять его на руки.

Произошедшее с тетей Розой было мало похоже на желанное очищение. Да и остервеневшее вонючее зверье, сплюнявившее ей грудь на заплыванном земляном полу деревенского гумна, плохо походило на конкретное воплощение замечательного Народа, носителя закаленной страданием истины. Впрочем, у товарищей по Идее нашлось вполне логичное объяснение этому кажущемуся несоответствию. Народ реагировал не так, как ожидалось, по очевидной причине: он спал! Да-да, просто спал, как сказочный богатырь, былинный Илья Муромец. А во сне, известное дело, каких только недоразумений не бывает. Включая изнасилование? Именно так, товарищ Мандельштам, включая изнасилование.

Что ж, это лишний раз подчеркивало необходимость скорейшего народного пробуждения: второго «недоразумения» товарищ Мандельштам не пережила бы физически. На роль будильников повзрослевшие мальчики и девочки приладили часовые механизмы адских машин. Тетя Роза уехала в Петербург, в группу Желябова, которая готовила покушение на царя. Вот уж побудка, так побудка!

Семейные легенды намекали на сложный романтический четырехугольник, где в качестве вершин фигурировали, помимо Розы, Желябов, Перовская и Зунделевич. Розино личное неучастие в событиях Первого марта объясняли ревнивыми кознями Софьи Перовской, к которой перешло командование сразу после ареста Андрея. По другой, более правдоподобной версии, евреи были отстранены от непосредственного исполнения теракта из эстетических соображений: дабы Народ, пробудившись от судьбоносного взрыва, не обиделся бы при виде внешнего облика исполнителей.

Тем не менее, Народ обиделся, хотя и продолжал при этом спать. Последовавшая цепь «сонных недоразумений» включала, в основном, массовые погромы, хотя не обошлось и без единичных избиений студентов-нигилистов. К этому тоже следовало отнестись с пониманием: имеет право человек отмахнуться во сне или нет? – Конечно, товарищи, конечно, имеет. А что отмашка уж больно тяжела, так ведь на то он и богатырь, не так ли?

Впрочем, на полицейскую и культурную реакцию, дегаевщину и окончательный, дотошный, до последнего человека, разгром

«Народной Воли» Роза Мандельштам смотрела уже из-за границы. Умница старший брат на следующий же день после цареубийства рванул из Киева в столицу, без лишних разговоров посадил расстрелявшуюся сестру на поезд и увез напрямик в Швейцарию, в университет, подальше от чересчур активно спящего Народа – во всех его громящих, карающих и насилующих ипостасях.

Раяша тогда еще даже не родилась. Так неужели прав господин Молхо? Неужели и теперь, почти тридцать лет спустя, она произносит те же слова, что и тетя-народоволка?

Из-за далекого горного гребня, как мальчишка из-за забора фруктового сада, высунулось солнце, помедлило, словно убеждаясь в отсутствии сторожа, и тут же выпрыгнуло целиком, разом, с поразительной быстротой забирая все выше и выше. Раяша отрицательно покачала головой: нет, есть разница! Новое время – новые люди. А значит, и начинать нужно с самих себя. Об этом говорит великий Толстой, об этом твердили в их провинциальной, далекой от столичных страстей полтавской гостиниой брат Яков и его друзья, уезжавшие в незнакомую Палестину.

Почему именно туда? Конечно, из-за сознания давних неотменяемых прав на эту страну, но не только. Главное, что именно там, на запустевшей, заброшенной земле, где нет ни насильника-Народа, ни подлой охранки, ни бомбистов-эсеров, именно там можно начать действительно заново, с нуля, с белого листа. Обрабатывать своими руками живую почву, собирать урожай, политый собственным потом, жить истинными ценностями, наслаждаться новой, чистой духовностью.

Нет-нет, просто сравнивать нечего. Не зря у тети Розы с Яковом даже спора настоящего не получилось. Старая народоволка лишь презрительно пыхнула папирской:

– Мелко плавааете...

– Куда уж нам, провинциалам... – усмехнулся в ответ Яков. – Народ будить – это по вашей части. Только вот зачем, тетя Роза? Посмотрите на нас, молодых людей – умных, сильных, образованных. Разве не за нами будущее? Что ж вы всё за своего спящего красавца хватаетесь? Не в том беда, что народ спит, а в том беда, что никакой он не красавец, а невежда, жлоб и погромщик. Такого будить – себе дороже.

Последнего замечания тетка не снесла, поперхнулась дымом, сверкнула глазами, вышла из комнаты. Как сказал потом под общий смех Яков, хорошо еще, что бомбу не бросила. Нет-нет, какое уж тут сходство... В этом внутрисемейном, хотя и отражающем намного более широкий конфликт противостоянии симпатии Раяши были целиком на стороне брата. Впрочем, возможно, и в самом деле их скромное полтавское философствование носило убогий отпечаток мелко-травчатой провинциальности? Как знать, не думали бы они иначе, случись им повариться в бурлящих котлах марксистских студенческих кружков Питера и Москвы, Лейпцига и Вены, Цюриха и Берлина? Кто же тогда прав – брат или тетя?

Отчасти за ответом на этот вопрос Раяша и плыла сейчас в Палестину: увидеть своими глазами, как бывшие полтавские, бердичевские, подольские мечтатели строят там нового человека, новую жизнь, достойную нового, счастливого века. Можно ли объяснить пожилому турецкому господину со странной, совсем не по-турски

звучащей фамилией, что вовсе не захоластная Яффа и не святой Иерусалим интересуют сестер, а новые сельскохозяйственные поселения, где бок о бок трудятся новые люди? Да и этот интерес задержит их ненадолго – всего на недельку-другую: посмотреть, ощутить, убедиться – и сразу назад, на корабль, в море, к изящным маякам венецианской лагуны и дальше – в ожившую сказку, в античный миф, в шекспировскую декорацию Вероны, Падуи, Болоньи, Флоренции, Рима...

– Вот ты где! Я тебя по всей палубе ищу... – сестра обняла Раяшу за плечи и после едва заметной паузы добавила: – Рахель...

– Ага! – шутиливо вывернулась из-под ее руки Раяша. – Это сейчас ты рахельствуешь, мадемуазель Шошана, а спросонок-то путаешься! Думаешь, я забыла про два щелчка?

– Не помню такого, – твердо отвечала бессовестная Розка. – Тебе, наверное, приснилось, вот что.

*Здесь, на лице земли – не в облаках пустых,
здесь, где земля близка, словно родная мать,
будем светиться мы светом её простым
будем её печаль втёмную принимать.*

*Нет, не туманный блеск завтрашних томных рос –
нынешний честный день – потом, слезой, зерном –
мы проживем его – короток, ясен, прост –
наш настоящий день, здесь, на лице земном.*

*Эй, приходите все! Прежде, чем пала ночь,
ну-ка, нажмём, друзья, тысячью сильных рук!
Может, столкнём его с наших колодцев прочь –
может, столкнём его – мельничный тяжкий круг?*

4.

Леша Зак поморщился, отложил в сторону последний листок.

– Больно звонко на мой вкус.

– Что звонко? – не понял Илья.

– Да интонация эта задорная. «Эй, ухнем!»... «А ну-ка девушки!» «Если бы парни всей земли»... И прочая бурлацко-комсомольская лажа.

– Что ты к нему пристал? – вступился за друга Дима Рознер. – Все претензии к оригиналу, то есть к Рахели. А Илюха – что? Илюха всего лишь переводчик.

Леша пожал плечами. У плитки Боря Квасневич сосредоточенно помешивал булькающую в кастрюле гречневую кашу.

– А какие к Рахели могут быть претензии? – поинтересовался Илья. – Это сейчас вы такие умные. А тогда люди верили. Ты пойми, Леша, несчастнее того поколения еще поискать. Они в этом смысле особенные.

– Это чем же?

– Пропастью! Пропастью между ожиданиями и реальностью. Представь себе человека, который в гадости рождается, в гадости растет и ничего, кроме гадости, от жизни не ожидает. Для

него гадость – в норме. Он не то чтобы ее любит, – гадость никто не любит, – но он к ней готов, приспособился, не воспринимает ее как несчастье. А теперь возьми другой случай. Человеку с самого рождения твердят, что вот-вот наступит всеобщее благоденствие, что все проблемы волшебным образом устаканятся, что ему сказочно повезло родиться именно сейчас, на пороге нового чудесного века...

– А он и верит? – мрачно сказал Боря. – Это что ж за идиот такой?

– Да почему же идиот?! Поставь себя на место Рахели и ее сверстников – тех, что родились в районе девяностого года. Они оглядываются назад и видят, что в течение всего предыдущего века мир взлетал вверх по экспоненте. Что раньше человечество плелось нога за ногу: за несколько тысячелетий едва продвинулись от колесницы до кареты – нечего сказать, впечатляющее достижение! Зато теперь, вдруг – откуда что взялось: тут тебе и паровые машины, и автомобили, и железные дороги, и телеграф, и радио, и вакцины, и искусство невиданное... Это сейчас мы к таким темпам привыкли, а тогда они всем казались в новинку. Прорыв, понимаешь, настоящий прорыв! Ну как тут не уверуешь во всемогущество человеческого разума? Своей собственной удаче как не порадуешься: тысячи поколений до тебя носом в канаве елозили, а ты, счастливчик, к Луне полетишь!

Илья перевел дух.

– И вот наступают десятые годы двадцатого века, начало новой эпохи. Мы-то знаем, что вот-вот начнется война, и все чудесные надежды лопнут, но тогдашняя молодежь еще ничего не знает! Она как раз вышла в самостоятельную жизнь. Этим парням и девчонкам – по двадцать, по двадцать пять, они только-только засучили рукава, они готовы к своему обещанному великому счастью. Понимаете? Это поколение попало в резонанс. Их личный взлет, и – одновременно – взлет общих надежд, максимум эпохи, акме цивилизации!.. Они все были акмеистами, даже те, кто называли себя иначе...

– И тут, – прямиком под раскатанную губу – бац! – четырнадцатый год. Мальчики – в окопы, девочки – в лазареты. Миллионы трупов, газовые атаки, революции, гражданские войны, Ленин, Сталин, Гитлер. Вторая мировая, ГУЛАГ, Освенцим, расстрельные рвы, крематории, Колыма. Все это ужасно само по себе, но для того поколения – ужасно тройне. Ведь они упали в эту пропасть не просто так, а с самой высокой вершины. Им было больнее всего. Вот такая у них особенность: поколение максимальной боли. Максимальной!

Боря притащил кастрюлю, сел, мрачно оглядывая стол. Сегодня денег на «Голд» не хватило, и ему приходилось довольствоваться спиртом. Леша задумчиво покачал головой.

– Эту твою теорию легко проверить. Чем больше боли, тем лучше стихи.

– Ну если так, то Илюха определенно прав, – заметил Дима. – Пастернак и Рахель родились в девяностом. Ахматова годом раньше. Мандельштам в девяносто первом. Цветаева в девяносто втором. Маяковский в девяносто третьем. Блок, Клюев и Гумилев чуть старше, Есенин – чуть моложе. Вот тебе и весь букет.

– Чушь какая-то... – фыркнул Боря. – Можно подумать, что в эти годы рождались одни поэты! Тебя, Илюша, послушать, так двадцатый век превратился в волкодава сам по себе... Но к расстрельным рвам, сударь, не отвлеченный век пулеметы подкатывал, а вполне

конкретные люди. Тоже, между прочим, ровесники Рахели и Пастернака. Вся эта левая сволочь...

Он саданул кулаком по столу. Остальные переглянулись: отсутствие «Голда» определенно сказывалось на душевном равновесии хозяина.

– Вся эта социалистическая мразь... – продолжал Квасневич, тяжело дыша. – Зиновьев, Бен-Гурион, Ягода, Табенкин, Ежов, Кацнельсон, Берия, Каганович... То же самое поколение, разве не так? Коротконогие вожди, волкодавы, твари кровавые. Что российские, что здешние. Они-то стишков, небось, не писали, а? И на всеобщее счастье плевать хотели. Власти им, сволочам, хотелось, власти!

– Ну, знаешь, Боря, всему есть предел, – решительно вмешался Димка Рознер. – Нашел, с кем Бен-Гуриона на одну доску поставить – с Берией и Зиновьевым! Я, конечно, понимаю, что ты из-за «Голда» расстроился, но не до такой же степени...

– А до какой надо было? – Боря прищурился и выставил вперед бороду. – В чем разница? Те же самые аморальные, беспринципные подонки, социалисты, левое дерьмо. Разве гориллы Бен-Гуриона не убивали своих во время «сезонов»? Не пытали парней из «Эцеля», не выдавали их англичанам? Разве не по его приказу топили «Альталену», стреляли из пулеметов по тонущим? У него даже блатное партийное погоняло было такое же, как у Троцкого и у Ленина: Старик! Старик!... Кощей поганый!

Он снова саданул кулаком по столу. Дима насупился. «Все, – подумал Илюша. – Сейчас зарядит лекцию на полчаса». Рознер вел в университете семинары и имел обыкновение даже во время застольных споров говорить так, словно стоял перед аудиторией.

– Абсолютно неправомерные параллели, – сказал Дима твердо. – Решения, которые принимал Бен-Гурион, диктовались необходимостью тогдашних внешне- и внутривполитических реалий. Свидетельством правильности провозглашенного им курса является результат, которого добилась Страна под его руководством. Например, своевременное провозглашение государства, победа в Войне за независимость, дальнейшие внешне-политические успехи...

– Враки! – перебил его Боря. – Все враки! Мы добились успехов не благодаря твоим мерзким левакам, а вопреки им! Вопреки! Не будь над нами своры этих проклятых карликов, Страна была бы вдвое больше и втрое богаче. Война за независимость?! Ха! Кто профукал Иерусалим, если не Бен-Гурион? Если бы этот Старик... тьфу, пакость какая... если бы он не заботился только о собственной власти, а вовремя погнал бы в шею клоунов из Пальмаха – карьериста Алона, труса Рабина и тупицу Табенкина, мы бы не трындели сейчас о статусе Иерусалима. Он был бы весь наш, как Хайфа и Лод!

– История не терпит сослагательного наклонения...

– История не терпит вранья! – кричал Боря, захлебываясь и приподнимаясь с места. – А потом, после войны? Вся эта гнусная партийная задница, подмявшая под себя Страну на целые десятилетия, жирные профсоюзные бонзы, диктатура посредственностей и жлобов! Знаешь, почему они не истребляли здесь миллионы, как их бобруйские земляки в России? Здесь у них просто не было миллионов... не было!.. каждый человек на счету – и это, Дима, единственная причина, по которой местная левая сволочь не возвела

здесь своего Гулага! Тьфу, не могу... аж руки дрожат... Налей-ка мне, Леша, да побыстрее...

Дима развел руками.

– Ты, мужик, не в себе. В реальной политической жизни всегда приходится принимать нелегкие решения. Политик, который ставит себе задачу не запачкаться, ничего не добьется.

– Это правило придумали пачкуны, – сказал Леша. – Из грязных рук лучше не есть: голод, конечно, утолишь, зато потом сдохнешь от дизентерии.

– А ты предлагаешь сдохнуть с голоду? – улыбнулся Рознер.

– Нет. Я предлагаю вымыть руки. И приступить уже к каше. Стынет ведь, жалко... – Леша поднял свой стакан. – Ну, за чистоту!

Они выпили и застучали ложками.

– В Книге Царств есть такой эпизод, – сказал Илья. – Шомрон осажден арамейцами, голодает, держится из последних сил. Когда кажется, что ничто уже не спасет, Господь посылает мираж. Враги видят мираж, думают, что это приближается войско фараона, и в панике бегут, даже не свернув лагерь. Но в самом городе еще никто ничего не знает. И вот четверо сидящих у ворот прокаженных решают идти сдаваться. Мол, в городе еды так и так нету, а враги авось покормят перед тем, как зарезать. Приходят прокаженные во вражеский лагерь и видят, что он пуст. Пуст! Шатры стоят, машины осадные... жратвы полно, оружие забытое висит... а людей нету, ни одного. Ну тут они, конечно, сначала наелись до отвала, приоделись, рассовали по карманам монеты и украшения, а потом думают: нехорошо, мол. В городе, мол, не одобряют такого эгоизма, чтобы, значит, кто-то благую весть узнал и ею не поделился. Вернулись они к воротам и рассказали. В Шомроне сначала не поверили, проверять стали. Проверили. Видят: не врут прокаженные, и коварства арамейского тоже вроде как не предвидится, так что надо принимать благую весть. Ну, и приняли, пошли мародерствовать. У Рахели есть стихотворение на эту тему, я его недавно перевел...

Илья поднялся, взял куртку.

– Ребята, вы меня извините, надо навестить кое-кого. У друга моего погибшего день рождения завтра.

– А рассказ-то к чему? – спросил Дима.

– Да все к тому же, Димыч, – ответил за Илью Леша. – Приняли дураки благую весть из уст прокаженных. Нажрались-то от пуза, но только вот – где он теперь, этот Шомрон? Поминай, как звали...

– Что же им, по-твоему, было делать? Продолжать голодуху?

Леша Зак равнодушно пожал плечами.

– Черт его знает... теперь уже не поймешь. Как ты говоришь, история не терпит сослагательного наклонения.

*В безнадежность шомронской голодной туги
принесли прокаженные весть,
что осада снята и бежали враги,
и добычи желанной не счесть.*

*Мы сегодня, как прежде, в осадном дыму –
тот же голод и та же мечта,
но известий спасительных я не приму
из больного, поганого рта.*

*Только чистый избавит и честный спасёт,
сохранит, сбережет от огня...
А иначе – пусть гибель меня унесёт
на заре благовестного дня.*

Илья вышел на улицу. Строчки Рахели позвякивали у него в голове, как лезвия фараоновых колесниц. Ее строчки, ее черно-белая ярость, непонятная любителям грязевых оттенков, репродукторам повседневного вранья, пророкам бытовой мудрости, нехитрой и общеупотребительной, как банная шайка... Пачкунам, как сказал бы Леша. Пачкунам, живущим по правилам пачкунов.

Он глубоко вдохнул холодный горьковатый воздух, эту неповторимую иерусалимскую смесь, где даже пыхтящие автобусные дизели не в состоянии заглушить запахов хвои, пустыни и серных испарений близкого Соленого моря, и прибавил шаг, чтобы согреться. Город вздымался вокруг волнами холмов, блестел ожерельями фонарных цепочек, неразличимо переходящих в звезды на темном, в тон горам, небосклоне. Город? Да полно, город ли это? Подобаает ли земным городам заселять небо? Город может карабкаться в гору, колоть облака иглами телебашен, скрести голубизну пентхаузами небоскребов... но все это – без отрыва от камня, глины, праха. А жить там, вверху, в невесомой звездной дрожи – нет, никогда. Это уже что-то другое, только не город, нет. Наверно, оттого так безнадежно одиноки, так обособлены друг от друга иерусалимские кварталы: они просто боятся стать целым...

Как же тогда назвать Ерушалаим? Место? Но «место» – это ведь тоже означает «город»... Практичен человеческий язык, язык пачкунов: все меряет собою, все равняет на себя. Куда ему справиться с Иерусалимом, где людское жилье второстепенно, где адамову породе терпят из милости, где на самом деле проживает нечто другое, для чего нету слов? Лучше уж зови Ерушалаим Иерусалимом, так проще...

Потому-то, наверное, и не срослось у Рахели с Иерусалимом: провела тут несколько месяцев и сбежала, не смогла жить с неопределимым. Уж больно далекой казалась ей здешняя нездешняя мистика от затверженных с юности чистых, геометрически ясных идеалов разума и труда, от Тель-Авива, от редакции «Давара», где на газетной жвачке наращивали тучные партийные тела те, кого Боря столь непочтительно обозвал сворой карликов – будущие председатели, премьеры и президенты пока еще не провозглашенной страны...

Он свернул на улицу Эмек-Рафаим, в Долину Призраков, и призраки, как и положено, не заставили себя ждать. Сначала они подступали гурьбой, забегая с боков и загораживая дорогу, так что приходилось идти прямо сквозь них, как сквозь толпу. Все они были решительно неуместны данному времени и сегодняшней цели; Илюша оглянулся, ища единственно нужного, и облегченно вздохнул: вон она, знакомая фигура Лирона Галя сутулится на ближнем перекрестке. Илья молча кивнул, и они пошли рядом.

– Ты к моим? – спросил Лирон.

Илья скривился: чего спрашивать-то, если и так понятно? Завтра у него день рождения, у Лирона. День смерти один, а дней рождения много, каждый год по разу... почему так? Может, потому, что день смерти продолжается в памяти оставшихся, продолжается

десятилетиями, не прекращаясь ни на минуту? Наверное, про такие дни и говорят, что они длятся дольше века. Впрочем, «дольше века» – слишком сильно сказано. Не станет Рона и Роны, родителей Лирона, и день кончится сам собой.

– Ну да.

– Спасибо, братишка.

– Да ладно, чего там.

– Нет-нет, они в тебе души не чают. Ты им, как сын родной... вместо меня.

Илья нетерпеливо фыркнул. В своей призрачной ипостаси покойный друг удивительным образом сохранял занудные свойства характера живого Лирона Галя.

– Если ты ревнуешь, я могу и не ходить.

– Что ты, что ты! – замахал руками призрак. – Я не об этом... наоборот...

– Наоборот... – проворчал Илья. – Каждый раз одно и то же.

Они познакомились в армии, где прослужили бок о бок неполных восемь месяцев. Называть Лирона другом Илья, пожалуй, не стал бы: все-таки друзья – это то, что ты выбираешь сам, по схожести взглядов, по стыкующимся с тобой углам характера, по глубине взаимного понимания. А соседа по армейской палатке не выбирают: судьба навязывает его, не спрашивая твоего согласия, десантирует на парашюте приказа, пригоняет вплотную на пароме обстоятельств, как брата. Брат ведь не обязательно еще и друг, не так ли?

От отца Илья Доронин унаследовал твердую веру в то, что нет на земле такого занятия, которое было бы неподвластно его рукам и разумению – стоит лишь разобраться в логике дела, найти правильный упор и поухватистой взяться за нужные рычаги. Поэтому армия с ее, временами смешной, временами гнетущей, но всегда неизменно внутренней логикой пришлась ему совершенно впору. Илюша стал «настоящим солдатом», едва успев переступить порог учебки.

Его форма и поведение с легкостью держались в уставных рамках, но при этом обладали той отчетливой долей небрежности, которая не позволяет заподозрить в человеке позорной склонности к подхалимажу, а напротив, транслирует независимость и постоянную готовность к отпору. Учебные задания Илья завершал среди первых, но и не слыл выскочкой; в добровольцы шел не то чтобы неохотно, но и не так, чтобы мозолить людям глаза неуместным энтузиазмом.

Лирон Галь представлял собой полную противоположность этому единственно верному типу поведения. Тонкокожий щупленький ашкеназ, интеллигентик в круглых очочках, в черно-русой толпе новобранцев бригады «Голани» призыва августа ноль первого года он казался даже не белой вороной, а розовым фламинго. Его желание служить именно здесь было тем более удивительным, что, в отличие от Ильи, заранее не имевшего ни малейшего представления о сложившемся в Стране традиционном образе голанчиков – диковатых, постоянно склонных к бунту сорвиголов преимущественно сефардского происхождения, – Лирон прекрасно знал, на что шел.

Собственно, в этом и выражался его подростковый бунт против отца: сибаритствующего интеллектуала, англомана во всем, что касалось литературы, телевидения и кино и франкомана в отношении настоящей еды и хороших вин. Свою давнюю армейскую службу

Галь-отец провел в компьютерном отделе ЦАХАЛа, откуда прямоком переместился в штат крупнейшего тогда производителя вычислительных машин, а затем, после трехлетнего интервала на получение университетской степени – в лондонское отделение той же компании.

Примерно такой же стартовый маршрут Рон Галь предполагал и для сына, и даже успел задействовать с этой целью соответствующие связи. Связи были хорошие, еще с армейских времен, да мальчик и сам проявлял, скромно говоря, нешуточные способности в компьютерных системах, так что проблем не предвиделось. Поэтому объявленное Лирином желание служить непременно в пехотных частях было воспринято его отцом как несерьезная блажь. Во-первых, щуплое телосложение парня не давало ему шансов пройти жесткий вступительный отбор, а, во-вторых, единственных сыновей принимали в боевые части лишь с письменного разрешения родителей.

С первой проблемой Лирон начал справляться, записавшись на частные, довольно дорогие курсы физподготовки. Галь-старший пожал плечами, но деньги на оплату дал: пускай паренек немного подкачается, не помешает. Посмеиваясь, он наблюдал за тем, как вернувшийся с тренировки сын полумертвым валится на постель.

– Не обращай внимания, – отмахивался Рон Галь от встревоженной жены. – Перебесится и бросит.

Но Лирон продолжал «беситься», и отец поневоле стал беспокоиться: уж больно это походило на самоистязание. Но главные тревоги ждали чету Галь впереди, когда сын последовательно, как напоказ, прошел отбор в «Гивати», «Голани» и парашютно-десантную бригаду. Вызванный на решительный разговор, Лирон молча выслушал бодрые отцовские похвалы в адрес собственной целеустремленности.

– Считаю, что ты доказал городу и миру все, что ты хотел доказать, ол райт? – сказал Галь-старший и выдержал внушительную паузу, показывая, что переходит к другой, более серьезной части беседы. – Но теперь пора поговорить о...

– Не надо, папа, – перебил его сын. – Я уже решил. Я записываюсь в «Голани».

Мать охнула.

– Именно в «Голани», а? – усмехнулся Рон и повернулся к жене. – Слыхала, мать? Я же говорю: не может быть, чтобы он это серьезно. Пройти отбор в парашютисты и выбрать клоаку, полную арсов...

Лирон вскочил и выставил в сторону отца дрожащий указательный палец.

– Ты!.. – выкрикнул он и задохнулся. – Ты!..

– Доволен? – горько сказала жена, после того, как Лирон, хлопнув дверью, выскочил наружу. – Сколько раз я тебя просила: оставь эти свои снобистские шуточки. Не при нем. У него лучший друг – тайманец. А Инбаль, по которой он сейчас помирает – вообще марокканка.

– Опять я виноват? – скинулся Галь. – А кто в Бейсингстоке не усидел? Я? Если бы мы тогда в Англии остались...

Жена хлопнула ладонью по столу: «Хватит!» – и он послушно замолчал. Ее звали Рона. Рон, Рона и Лирон. В сущности, они росли из одного корня – все трое, и нынешнее Лириново сумасшествие было не более чем оборотной стороной этой близости, ее временным, детским отрицанием: так ребенок сначала мотает головой, прежде чем открыть рот перед родительской ложкой.

– Хватит! Так и знай: я ему не подпишу разрешения. Никогда. Никогда.

Она подписала, хотя, действительно, не сразу, а после долгой борьбы. В этом нередком и нелегком конфликте всегда побеждают дети. Странно... почему? Почему можно отстояться в споре о покупке мотоцикла, о поездке в Индию, даже о ранней женитьбе, а в вопросе об армии – нет, не получается? Возможно, потому, что здесь дети абсолютно уверены в своей правоте: ведь на их стороне играет весь сводный оркестр общественного мнения, в то время как несчастные родители ведут свою дрожащую партию в одиночку...

Рона успокаивала себя тем, что мальчику и в самом деле будет полезно получить небольшую прививку адреналина перед тем, как взвалить на плечи давящую ношу упорядоченной жизни, расписанной наперед, от первой лекции до последних дней богадельни: университет, карьера, семья, карьера, дети, карьера, дом, карьера, пенсия, внуки, стоп. Полезно еще и потому, что без такой прививки даже с самыми нормальными людьми нет-нет да и случается кризис где-нибудь между карьерой и домом, когда человек ни с того ни с сего вдруг выпрыгивает в окно, или уходит в бомжи, или пьет горькую... как, например, двоюродный брата Рона, помнишь, Рон?

Муж молча кивал, прижимая ее к себе на семейном диване, и мать, не видя, чувствовала этот кивок, знакомый до последнего штриха, как и все, связанное с ним и с сыном. А кроме всего прочего, стрелять им, видимо, придется только на учениях, правда, Рон? Муж кивал снова, поспешнее прежнего, и эта поспешность гулко отзывалась в ее полном тревоги сердце. Но разве что-нибудь могло помочь от этой гложащей тревоги, от этих недобрых предчувствий, которым даже волю нельзя было давать, чтобы, не дай Бог, не накликать?

Итак, Лирон Галь оказался в роте автоматчиков бригады «Голани». Он победил, но, увы, потратил для победы так много сил, что на собственно службу их почти не осталось. Проблема заключалась даже не в щуплой комплекции, а в том, что Лирон никак не мог приспособиться к новому для себя миру. Ему мешали очки, мешала чересчур правильная речь, мешала вежливость, склонность к рефлексии, неумение ругаться, незнание восточной музыки и абсолютное невежество в области телевизионных сериалов. Попросту говоря, ему мешала излишняя интеллигентность.

Но с этим еще можно было жить, хотя бы и подвергаясь ежеминутным насмешкам. К несчастью, Лирон в принципе не понимал специфической армейской логики, не чувствовал ритма армейского бытия, этого незамысловатого вальса, лишь врубившись в который, можно напрочь отключить голову и действовать на полном автопилоте, вскакивая, рапортуя, присаживаясь на перекур, ложась в койку и стреляя на бегу. Кто бы мог подумать, что Лирон, прекрасно игравший Моцарта и Шопена на домашнем рояле, окажется настолько глух к армейской «музыке»? Он честно силился расслышать ее аккорды, но постоянно ошибался, не вовремя выступал или, наоборот, запаздывал, совершал лишние движения и безнадежно выпадал из общего слитного танца.

Под конец учебки, разбивая отделение на пары для выполнения совместных заданий и караульных нарядов, сержант постарался запрячь самого умелого солдата в одну упряжку с самым проблематичным. Нельзя сказать, что Илья Доронин пришел в восторг от

такого напарника. Он даже немного порыпался, пробуя освободиться от неожиданной и неприятной нагрузки, но сержант заупрямился, и пришлось подчиниться.

Для Лирона это означало решительное изменение статуса. Теперь можно было, наконец, расслабиться и автоматически копировать действия авторитетного партнера. Постепенно и Илья перестал досадовать, а через месяц-другой они даже сдружились – особенно после нескольких отпускных суббот, проведенных Дорониным в иерусалимском доме Галей. Первый раз он попал туда довольно случайно: в одну из пятниц их дольше обычного задержали на базе к северу от Эйлата, затем на злой негевской жаре закипел и сломался автобус, так что в Иерусалим прибыли уже после того, как наступивший шабат отрезал столицу от остальной страны, в том числе и от Тель-Авива, где тогда проживал Илья вместе с матерью и сестрой.

Ребята выгребли из карманов все деньги до последней агоры, но на такси все равно не хватало, и Лирон предложил переночевать у него – отец с матерью будут рады. Илюша подумал и согласился. Конечно, можно было бы спуститься к автозаправкам на выезде из города и поймать попутку, но, честно говоря, не слишком хотелось домой, в их тогдашнюю конуру, где в тесном пространстве между плитой, душем и холодильником едва хватало места и для двоих.

К тому времени Рон и Рона Галь были о нем более чем наслышаны, так что очное знакомство пришлось весьма кстати. Ей не могло не понравиться уверенное спокойствие сыновнего друга, его рассудительная не по годам зрелость, его сдержанная и в то же время ощутимая сила. С таким напарником ее мальчик наверняка чувствовал себя более чем надежно. Рону же импонировал питерский лоск Ильи: парень, не напрягаясь, поддерживал разговор о всемирной истории, европейском кино и американской литературе, вовремя улыбался в ответ на тонкие английские шутки и мог по достоинству оценить качество настоящего ирландского сингл-мальта. Уже после первого шабата супруги сошлись во мнении, что сыну, а значит, и им тоже, повезло необыкновенно.

Илье тоже нравилось бывать у Галей. Нравилась их огромная квартира в Немецкой колонии – старом и дорогом иерусалимском квартале, где еще прячутся под стенами тени изгнанных британцами темплеров, нравились книжные стеллажи в библиотеке и кабинетный рояль в гостиной, нравилась гостевая комната, которая, казалось, ждала его возвращения не меньше, чем соседняя комната – возвращения Лирона, нравилась тактичная молчаливая хозяйка и общительный, забавный в своем незлобивом снобизме хозяин.

Это были настоящие интеллигенты в питерском, российском понимании этого слова, люди не слишком заметные на общем крикливом фоне панибратски-фамильярных, чаще всего искренних, временами даже сердечных, но всегда несколько жлобствующих сабр – местных уроженцев, новой породы, подчеркнуто далекой от прежнего забитого галутного образца. Как знать, возможно, подобные Гальям люди даже представляли собой реакцию отторжения от этой породы, когда-то считавшейся здесь главным положительным результатом израильского плавильного котла – реакцию неприятия, отворачивания – иногда несколько чрезмерную, но в то же время легко

объяснимую, полезную в нелегком маятникообразном процессе выстраивания современного национального характера.

Но не только это тянуло Доронина в дом на Эмек-Рафаим. Здесь его признавали сыном или почти сыном, причем не из милости, а с охотой и благодарностью: в конце концов, разве не стал он Лиرون старшим братом, хотя бы и только названным, армейским? Возвращаясь сюда, Илья возвращался в семью – теплую, живую, с настоящими любящими родителями. Он как бы добирал то, чего был лишен с восьмилетнего возраста, когда в его жизни произошла ужасная, ни с чем не сравнимая катастрофа, в результате которой он вынужденно превратился и в отца, и в мать, и в главу семьи, и в собственно семью, причем не только для себя лично, но и для других – для тех, кого он теперь не торопился навещать в тесной и душевной яффской конуре.

Да-да, не торопился! Ну и что с того? Разве ему самому не причитается хоть чуть-чуть, хоть немного того, что у нормальных людей именуется домашним очагом? Разве нет? А в конуре... в конуре привыкают справляться и без него. Лишний рот в шабат только в тягость. Ирке, слава Богу, уже одиннадцать лет, не маленькая, может позаботиться и о матери, и о себе.

А потом пришла весна, и субботние отпуска кончились вместе с последними мирными надеждами. Уже непонятно было, где безопаснее – в армии или на гражданке: на улицах городов взрывались автобусы, террористы-смертники во славу аллаха нажимали на роковые кнопки в переполненных кафе.

В начавшейся военной операции Илью ранило – даже не в бою, а во время патрулирования – легко, на излете, случайной, в белый свет пущенной пулей... чего, тем не менее, хватило для отправки в больницу. Когда его эвакуировали, товарищи по роте посмеивались: ранение в ягодицу располагало к не слишком разнообразным, но обидным шуткам. Зато Лирон чуть не плакал: они расставались впервые за последние пять месяцев.

– Надо же, как меня по-идиотски угораздило, – сказал ему Илья напоследок. – Обиднее только от своих получить... Да не грусти ты, братишка. Послезавтра вернусь, никуда не денусь.

Но вернулся он раньше – следующим утром, на похороны. Потому что Лирон погиб той же ночью – по глупости, еще более нелепой, чем ранение Ильи. Их рота всего-навсего стояла в оцеплении вокруг дома, где засел один из видных бандитов: спецназовцы ждали утра, чтобы начать активные действия. Как правило, загнанные в ловушку террористы сдавались при виде «дуби» – бронированного армейского бульдозера Д-9, подъезжающего к дому с угрожающе задранной ножом. Сдался бы и этот, но к несчастью, до рассвета было еще далеко, а под рукой у подлеца оказалось достаточно патронов и марихуаны, чтобы ночь напролет, не смыкая глаз, поливать из окна свинцом во все стороны, наугад и наобум.

В густонаселенной касбе это могло кончиться плохо если не для солдат, то для любопытствующих и сочувствующих соплеменников героя джихада. Посомневавшись, командир спецназа позвонил танкистам и дал координаты злосчастного окна. Одного снаряда должно было хватить. Его и хватило – но не для бандита, а для Лирона и его временного напарника. Нет, офицер не ошибся в координатах. И танкисты стреляли в точном соответствии с полученными данными

и компьютерной картой местности. Кто ж мог знать, что на пути снаряда окажется свеженадстроенный третий этаж близлежащего здания, где расположились двое салаг-голанчиков из внешнего оцепления? В темноте не видно. А что карта не выверена, то поди уследи за такими вещами... Строят-то в тесноте касбы как придется, разрешениями и проектами не заморачиваются: сын женился, вот тебе и еще один этаж.

Напарника, кемарившего на полу в ожидании своей смены, контузило и придавило, но не насмерть. Лирона же, глазевшего из окошка на окруженный дом, убило сразу, прежде чем он успел что-либо понять или почувствовать. Как говорил ему сержант из учебки:

– У тебя, Галь, врожденная проблема с таймингом. Так и норовишь оказаться в неправильном месте в неправильное время. Добром это не кончится, Галь, попомни мое слово.

Вот и накаркал, сундук чертов.

– Как же так, Илия?

Это были единственные слова, которые произнесла Рона на похоронах сына. Так они звали Илюшу: «Илия», с ударением на первом слоге. Как же так, Илия? Почему тебя не оказалось рядом? Как ты позволил этому случиться?

Нет-нет, никто не обвинял его ни в чем. Ни в чем. Да и в чем заключалась его вина? В ранении, полученном накануне? И в то же время... в то же время он стоял здесь, живой и невредимый, если не считать спасшую его идиотскую дырку в заднице, даже не дырку, а вмятину, залепленную пластырем, стоял и слушал пение войскового раввина, и запинаящуюся речь бледного командира роты – того самого, который поставил двоих на проклятую новостройку – уж если кого винить, то его, его, а не меня! – и кадиш, с паузами и неточными ударениями читаемый Роном по бумажке – страшный в своей неестественности кадиш отца по сыну; смотрел на неожиданно маленький сверток, который опускали в яму, первую в очереди заранее отрытых... такой маленький?... это все, что осталось?... – он, Илия, старший брат, ангел-хранитель, щит и опора, стоял, слушал и смотрел, а Лирон... Лирон был этим свертком.

После церемонии его подозвал комроты, положил руку на плечо.

– Слушай, Доронин, – сказал он, глядя в сторону. – Вообще-то не положено: сам знаешь, увольнительные отменены, а ты даже не родственник. Но это... мать Галя просила отпустить тебя на шиву, на всю неделю. Учитывая обстоятельства, я могу провести... типа отпуска по ранению. Ты сам-то как?

– Учитывая обстоятельства... – повторил Илья. – Учитывая обстоятельства, ты ей должен до конца жизни полы мыть.

Побледнев еще больше, офицер кашлянул в кулак. «Зря я это, – подумал Илья. – Подло. Свою вину на других перекидываю». Капитан поднял на него взгляд. По возрасту почти ровесник Ильи, он был старше на несколько похорон, то есть очень намного.

– Ты сам-то как? – повторил комроты, словно не расслышав сказанного солдатом.

Отсидев шиву, Илья продолжал затем навещать Галей – даже чаще, чем раньше. Уезжая на базу, забирал с собой пирожки, выстиранное белье, тщательно выглаженную форму. Звонил Роне во время крупных операций, успокаивал:

– Со мной все в порядке...

Отвечал на ее тревожные звонки, когда телеграф слухов быстрее всех новостных каналов распространял по Стране известия о потерях:

– Нет, Рона, что ты: ранили не меня, мы вообще сейчас не там, не беспокойтесь...

Стал ей сыном – суррогатным, всего лишь несущим отражение того, безвозвратно ушедшего, но сыном.

Теперь многое перевернулось в доме на Эмек-Рафаим. Прежде немногословная Рона говорила, не переставая, а Рон, напротив, замолчал. В конечном счете, женщине всегда легче: все-таки она связана с дорогими людьми не только пуповиной чувства, но еще и тысячью конкретных дел и бытовых забот, а потому ей проще заполнить хотя бы часть разверзшейся ямы, понапихав туда такую же конкретику, тот же быт и те же заботы – пусть о другом человеке, всего лишь похожем на утраченного, – неважно, лишь бы этот другой согласился, лишь бы принял столь необходимую для нее игру. Илья – принимал. Учитывая обстоятельства.

Рон же как будто сдулся. Нет, его по-прежнему можно было вызвать на разговор о тех или иных особенностях разных делянок виноградников Жиронды, и временами в его глазах даже загорался знакомый огонек, довольно быстро, впрочем, угасавший в самый разгар увлекательных рассуждений о кислотности почвы и количестве осадков удачного сезона пятилетней давности. Когда-то этот огонь не смогли бы загасить не только скромные французские дожди, но и многодневные тропические ливни... а теперь... теперь хватало крохотной слезы или намек на слезу, или одного лишь взгляда, без всяких намеков наткнувшегося на фотографию, стул, диванную подушку, половицу, чашку, стену, жену, жизнь.

Поначалу он старался много ездить, словно рассчитывая пристроить свой чересчур памятный взгляд в такие места, где в принципе не могло быть напоминаний о погибшем сыне: зимой – в швейцарские Альпы, на лыжные склоны и грушевый шнапс, весной – в цветущую Тоскану, к граппе, кьянти и округлым флорентийским холмам, летом – в Шотландию, под пропахшие скотчем ветра северной Атлантики, осенью – в Баварию или Эльзас, заливать мозги пивом и белым мозельским вином на шумных, пугающе германских октябрьских фестивалях.

Но Лирон странным образом обнаруживался и там – хотя и реже, чем дома, но намного больше, ударяя под дых самой неожиданностью своего появления. Он выскакивал из витрины оптометра, где на белой атласной подложке лежали точно такие же очки, его небольшая сутулая фигура виднелась в очереди на подъемник, так что приходилось удерживаться от того, чтобы подбежать и схватить за плечо, макушка холма прикидывалась расцарапанной сыновней коленкой, ушибленной в шестилетнем возрасте при падении с велосипеда, а вон та симпатичная девушка вполне могла бы стать Лирону прекрасной женой и матерью внуков, которых теперь уже не будет никогда.

Устав от этого постоянного прессинга, Рон Галь перестал путешествовать вообще. Зато в его прежнем пристрастии к хорошим винам стал отчетливо просматриваться сдвиг к новому состоянию,

которое все меньше и меньше походило на дегустацию – и объемом, и крепостью выпитого. Оставалась еще работа – в той же корпорации, куда он поступил еще желторотым птенцом и прослужил потом всю жизнь, где его ценили за бывшие заслуги и до поры до времени старались не замечать нынешнее безынициативное безразличие и отчетливый запах спиртного.

Демобилизовавшись, Илья вскоре поступил в Тель-Авивский университет и стал бывать у Галей существовенно реже, а затем посещения и вовсе свелись практически к одному разу в год, по вечерам накануне Лиронова дня рождения. В этом скукожившемся общении не было ничего нарочитого, наоборот, оно выглядело абсолютно естественным: разве не происходит того же самого и с родными сыновьями, которые живут собственной самостоятельной жизнью и не столь часто, как следовало бы, навещают стареющих родителей?

– Пришли, братишка, – сказал Илья, останавливаясь у капитки. – Сам-то зайдешь?

Призрак покачал головой.

– Что ты... не могу на них смотреть. Сердце разрывается.

– Тогда я пошел. Дождешься меня? Я ненадолго.

– Не знаю. Как получится.

В квартире вкусно пахло куриным бульоном и пирожками, которые Илья особенно любил и которые всегда готовились специально к его приходу. Рона, открывшая дверь, обняла, прижалась щекой к плечу, отстранилась, провела по голове быстрой ладонью:

– Где волосы, Люша? Год назад было больше...

Илья смолоду сильно лысел – в отца. Он усмехнулся:

– Что не упало, то донес.

Все еще не выпуская илюшиного локтя, Рона привстала на цыпочки, быстро зашептала, щекоча ухо:

– Позавчера его уволили, Люшенька. Имей в виду. Выбросили на пенсию. Я тебе не звонила, боялась – услышит...

И, снова отстранясь, громко:

– А у нас пирожки! Вот неожиданность, правда?

Рон сидел в библиотеке – как всегда, чисто выбритый и одетый не по-домашнему. Лирон частенько шутил по этому поводу – у папы, мол, круглый год Пурим: любит переодеваться в английского джентльмена. Отец не обижался, подмигивал:

– Что ж... Разве это не понятное желание для выходца из захудалого польского местечка?

Впрочем, своими глазами Рон Галь увидел то, что осталось от тех польских местечек, лишь в очень зрелом возрасте, присоединившись к сыну во время традиционной школьной поездки по местам эсэсовской трудовой славы. Но дед его, переехавший в Страну в начале двадцатых, и в самом деле еще носил фамилию Галковский. Нынешняя же представляла собой удобное, а потому напрашивающееся сокращение.

– Илия, рад тебя видеть! – он привстал, пожимая гостю руку. – Что ты будешь... а впрочем, налей себе сам, ты ведь здесь все знаешь. Как продвигается учеба? Переводы? Рахель?

Со стихами Рахели Илья Доронин познакомился в свое время именно в этой библиотеке. Он плеснул в стакан виски, отметив про

себя еще более сократившийся выбор. Качество напитков уже давно приносилось здесь в жертву количеству.

– Учусь помаленьку, – сказал он, усаживаясь напротив хозяина. – Второй раз проще.

– И, полагаю, намного интересней! – подхватил Рон. – Честь тебе и хвала, мой друг. Видишь ли, в последнее время, оглядываясь назад, я все больше и больше убеждаюсь, что в молодости совершил ошибку с выбором профессии. Сожалею, что занялся компьютерами, а не искусством. Что ж, молодость – время ошибок, так же как старость – время сожалений...

Он улыбнулся уголком тонкогубого рта и отхлебнул из стакана. Щеки в красных прожилках, истончившийся нос, жидкая седая прядь на лбу... Илья прокашлялся, дробя таким образом некстати подкативший к горлу комок.

– Ну зачем вы так, Рон? Вашей карьере позавидовали бы очень и очень многие. Столько лет в такой фирме! Я прекрасно помню, как они вас ценили...

Рон поднял палец, словно делая знак остановиться.

– Ценили? – повторил он, покачивая головой. – В прошедшем времени, а? Она уже тебе рассказала, не так ли? Когда только успела...

Илья смущенно молчал. Хозяин поднялся, подошел к бару, налил себе полстакана виски и добавил содовой доверху.

– Разбавляю, как видишь. А то слишком быстро уходит...

Рон вернулся в кресло, отхлебнул и снова улыбнулся уголком рта, спокойно, без горечи.

– Рона говорит, что они – холеры: не додержали до пенсии. Но кто в этом бизнесе дорабатывает до таких лет? Надоело. Нужно было в искусство переходить, как ты, честь тебе и... – он вдруг на секунду задумался и поднял на Илью усмехающиеся глаза. – Хотя и в искусстве – холеры ничуть не меньшие. Вон, даже Рахель выкинули в канаву, правильно? Выгнали, как собаку.

Илья кивнул. Правильно. В «бизнесе» Рахели далеко не всегда удавалось доработать до преклонных лет. Рон вдруг заговорщицки подмигнул и поманил гостя поближе.

– Она будет уговаривать тебя прийти завтра. Знаешь, как всегда: собираются одноклассники, друзья, многие.

Илья опять кивнул, на этот раз с оттенком недоумения. Как обладатель статуса почти сына, он специально приходил на день раньше, чтобы не мешаться с общей толпой. Рон предостерегающе погрозил пальцем.

– Я тебя специально предупреждаю, потому что это не просто так, – прошептал он. – Она тебя знакомить затеяла. С девушкой. Ее, кстати, тоже Рахелью зовут. Женить тебя ей приспичило...

Рон Галь поперхнулся шепотом и вдруг выдал какой-то полубезумный смешок. Илье стало не по себе.

– А ты не ходи, друг мой... – продолжал шептать Галь, вытянув вперед подбородок и щуря слезящиеся глаза. – Не ходи. Незачем тебе жениться, Илия, поверь мне, старому человеку. Одному лучше. Не так страшно...

Он снова хихикнул и, словно испугавшись собственного безумия, спрятался за стаканом.

– Эй, мужчины! – бодро крикнула из гостиной Рона. – А ну, быстро за стол! Хватит с вас аперитивов! Люша! Галь! Давайте, давайте, стынет!..

Тремя часами позже Илья Доронин вышел на улицу. Час стоял поздний, и редкие прохожие спешили домой, глубоко засунув руки в карманы курток и задевая локтями зазевавшихся призраков. Призраки не обижались; они медленно брели по тротуарам, неприкаянно толклись на перекрестках, устраивались на ночлег под добротными стенами бывшей Немецкой Колонии. Лирона Галя среди них не было.

*Они умрут весной этой,
Они умрут весной,
Порой цветения и света,
Веселой и хмельной,
Когда все горести забыты,
И счастье на дому,
И тайны мира приоткрыты
И сердцу и уму.
Когда на все нашлись ответы
И нет ни мер, ни кар,
Они умрут весной этой...
Проклятье или дар?*

5.

С Игнатьичем Илюша Доронин познакомился на седьмом году жизни, едва начав учиться в школе. В детский сад он не ходил по причине необходимости заботиться о маме – в этом, собственно говоря, заключалась его главная обязанность, о которой отец не уставал напоминать мальчику, покидая дом даже на самое короткое время, – например, выходя в магазин:

– Ты, Илюха, остаешься за старшего. Присматривай за мамой.

И Илюха присматривал. Поначалу он совершал ошибки – не из-за отсутствия внимания, а потому, что по малости лет просто не мог представить себе объема угрожающих маме опасностей. Поэтому сплошь и рядом приходилось переживать из-за того, что мама обожглась выкипевшим молоком, в задумчивости расшибла лоб о дверной косяк, забыла сдачу в магазине или подвернула ногу, поскользнувшись на гололеде. Отец успокаивал:

– Ничего, сынок, научись. В следующий раз будешь умнее, правда?

– Правда, – насупившись, кивал Илюша.

К шести годам он уже и впрямь поспеивал повсюду: вовремя включал и выключал газ, свет и обогрев, не выпускал из виду кошелек в критических точках его возможной кражи или потери и тщательно обводил мать вокруг потенциальных опасностей, которые во множестве подстерегали ее на улице, в коридоре и даже в самой комнате. Поэтому необходимость оставить свои жизненно важные обязанности ради какой-то школы Илюша воспринял с

понятным недоумением. Отец, хотя и соглашался с ним в принципе, но на школе, тем не менее, настаивал, оправдываясь требованиями закона.

Закон для Илюши персонифицировался в конкретном образе участкового капитана. Примерно раз в полгода соседке тете Оле надоедали мужнины пьяные побои, она шумно выскакивала в коридор, вызывала по телефону милицию, а потом, всхлипывая, кричала вслед уводимому дяде Сереже:

– Пусть закон тебя, дурака, образумит!

На следующее утро, одумавшись, она бежала выручать мужа, которого закон отдавал далеко не сразу и только через взятку, отчего тетя Оля снова плакала, занимала у мамы мятые рубли и горько жаловалась на бессердечие ментов. Дядя Сережа возвращался притихший, но через несколько месяцев все повторялось сызнова. И хотя эта повторяемость свидетельствовала о некоторой беспомощности закона, Илюше отнюдь не хотелось разделить несчастную дядь-сережину судьбу. Помимо всего прочего, папа нередко отсутствовал из-за постоянных халтур, а в маминной способности выручить кого бы то ни было из законных ежовых рукавиц Илюша испытывал весьма серьезные сомнения.

Скрепя сердце, он согласился с доводами отца. В школе оказалось скучно, но легко: по умениям и жизненному опыту Илья тянул как минимум на шестиклассника. Если бы еще не беспокойство за маму... Наташа и в самом деле немного растерялась. Свои восемь школьных лет она помнила как непрекращающийся кошмар в клоаке лжи, насилия и унижений. Сознание того, что теперь настала очередь сына, словно заставляло ее заново пройти почти уже позабытый крестный путь. Это имело неожиданный итог: забросив свое макраме, мать занялась интенсивными поисками альтернативного образования для Илюши.

Целыми днями она сидела на телефоне, ходила на семинары, посещала кружки, объединения, общества – благо, к концу восьмидесятых этого добра развелось в Питере видимо-невидимо. Отец воспринял новую мамину блажь с тем же серьезным спокойствием, с каким принимал до того все ее странности и заскоки. Он любил ее именно такой, какой она была, ни граммом сумасшествия меньше. Вот и теперь отец терпеливо и даже заинтересованно выслушивал подробные соображения жены о преимуществах интуитивных восточных систем перед выхолощенной формалистикой Запада, о бессловесном воспитании музыкой, о телепатическом методе образования и прочих замысловатых крендебобелях, успокаивая себя в душе тем, что когда-нибудь пройдет и этот бзик – точно так же, как прошли предыдущие.

Так бы оно и получилось, если бы где-то к началу второго полугодия Наташа не набрела на Игнатъича. Она сразу поняла, что искала именно его. А поняв, одновременно и возрадовалась за Илюшу, и горько пожалела о собственном потерянном детстве, которое можно было бы спасти, если бы эта встреча произошла на пятнадцать лет раньше.

Самого себя Игнатъич с вызывающе нескромной скромностью именовал Учителем. Среднего роста, возраста и формы одежды, он носил средней длины – чуть пониже ушей – волосы и среднего

же размера остроконечную бородку. Сзади волосы были гуще и оттого слегка топорщились, напоминая формой и цветом потемневший от дождей соломенный пук, торчащий из разоренной скирды. Зато спереди они постоянно активничали, падая на глаза длинными жидковатыми прядями, отчего Игнатьичу приходилось то и дело откидывать их за лоб тыльной стороной ладони.

Жест этот весьма распространен, но в то же время и уличающе индивидуален. Кто-то искренне досадует, сдвигает помеху на сторону и про себя клянется при первой же возможности зачесать, прилепить, пришпилить, отрезать докучливую прядь, но тут же немедленно забывает об этих клятвах по причине несущественности – как помехи в частности, так и всего собственного внешнего вида в целом. Кто-то сдувает челку совершенно бессознательно, впопыхах, смешно оттопыривая нижнюю губу и не отдавая себе никакого отчета в происходящем действии. Кто-то, наоборот, заранее отработывает перед зеркалом благородное движение головой, которое затем и воспроизводит на публике, внимательно следя за сохранением гордой осанки и не выпуская из виду реакцию окружающих.

Учитель собирал упавшие на лоб волосы, как собирают с рабочего стола любимые книги, которым настала пора вернуться на полку – со вкусом, бережно и неторопливо. Тщательно пристроив загудевшую прядь на соответствующее ее статусу место, Игнатьич какое-то время медлил, словно ожидая повторного побега волос и убирал руку лишь через секунду-другую, с некоторой нерешительностью, огладив ласковым движением висок, а заодно и прихватив по дороге бородку, чтобы та не обижалась на недостаток внимания.

На момент наташиного с ним знакомства Учитель руководил так называемым Экспериментальным Центром Творческого Воспитания при одном из районных Домов культуры. Официально предполагалось, что Центр должен служить факультативным дополнением к обычной общеобразовательной школе, с чем сам Игнатьич не соглашался, а напротив, недвусмысленно подчеркивал, что в состоянии не только дополнить, но и заменить. Именно это понравилось Наташе едва ли не больше всего остального.

Впрочем, первый пробный урок тоже произвел на нее благоприятное впечатление своей неформальной атмосферой. Мать пошла на него одна, без Илюши. В большой комнате, увешанной пестрыми рисунками и репродукциями, стоял гул приглушенных голосов. За столами творили серьезные дети всех возрастов, многие с родителями. Игнатьич, занавесив лицо длинной русой прядью, сидел у стены на возвышении. Временами он вставал, совершал обряд отбрасывания волос и, сохраняя задумчивый вид, принимался рассказывать между рядами, то и дело останавливаясь, чтобы взглянуть, но при этом никого не поправляя и ни единым звуком не выказывая своего одобрения или осуждения.

На исходе второго часа Учитель вышел на середину комнаты и хлопнул в ладоши. Все разом отложили кисти и повернулись к нему. В наступившей тишине слышалось лишь деликатное журчание батарей парового отопления, но Игнатьич немного выждал, словно требуя внимания и от них, и трубы, устыдившись, смолкли. Учитель поднял голову, ласково перевел прядь за лоб и собрал бороду в кулак. Сияющие глаза его взирали поверх присутствующих в какие-

то невозможные дали, пронизывая стены и грань высокого потолка, туда, куда уходил стояк послушной его воле отопительной системы.

– Сегодня, как и всегда, я просил вас... – произнес Игнатьич неожиданно мягким, но сильным голосом. – Я просил вас вслушаться в себя. Вглядеться в себя. Как говорил наш великий предшественник Павел Филонов, глаза могут не только смотреть, глаза могут знать. Знать!

Он с некоторым усилием оторвал взгляд от стояка и пристально, подолгу задерживаясь на каждом, обвел глазами затаивших дыханье слушателей.

– Я просил вас найти в себе это знание, этот ярчайший внутренний свет, дарованный нам природой от рождения и после этого лишь затапываемый грубой искусственной повседневностью, низким воровством, насилием, ложными ценностями. Найти его, взять в горсть...

Игнатьич сложил руки лодочкой и, сморщив в бережном усилии лицо, медленно понес их вверх, к потолку. Сидевшая рядом с Наташей беленькая четырехлетняя на вид девочка испуганно пискнула.

– ...и выплеснуть этот свет на холст! – торжествуя закончил Учитель. – Так, чтобы он стал виден всем! Всем нам. Чтобы мы ощутили счастье света, радость любви, зов космоса. Это ведь так прекрасно! Вы согласны? Ну, не молчите же, говорите: согласны?

Собрание нестройно загудело, маленькие подбородки детей задергались коротенькими «да!»... «да!»... взрослые зашикали шершавыми «конечно!» а какой-то дядька в углу даже вскочил и, молитвенно сложив руки, закричал:

– Мы согласны, Учитель! Согласны! Да здравствует свет!

Удовлетворенно кивнув, Игнатьич повелительным жестом водворил прежнюю тишину.

– Все вы старались, я видел, – он ласково, но весьма неосмотрительно кивнул, отчего коварная прядь тут же соскользнула вниз. – Но у кого-то получилось похуже, у кого-то получше, а у кого-то – лучше всех! У кого же?

Благоговейная, заряженная радостным ожиданием тишина была ему ответом. Даже батарея отопления, казалось, испытывала определенные надежды на похвалу. Игнатьич торжественно препроводил волосы на отведенное им место, после чего так нежно погладил себя по щеке, что Наташа на секунду предположила, будто Учитель присудил пальму первенства себе самому. Но она ошиблась. Игнатьич быстро шагнул вперед и взял со стола лист ватмана – рисунок той самой беленькой девчужки, наташиной соседки.

– Вот, – сказал он, поднимая лист над головой и разворачивая его в разные стороны, чтобы все могли разглядеть. – Вот наш сегодняшний концентрированный свет. Молодец, Леночка. Ты делаешь большие успехи. Леночка, ты меня слышишь?

Леночка несколько заторможенно кивнула: похоже, она не совсем поняла, что одержала победу. Зато ее молодые родители просто сияли от счастья. В комнате заплодировали, повскакали с мест. Поднялась и Наташа: было уже поздно, а домой предстояло ехать на другой конец города.

Трамвая пришлось ждать долго, она порядком намерзлась и оттого обрадовалась, когда подошла знакомая молодая пара с девчуж-

кой-победительницей: в хорошей компании не так холодно. Они еще улыбались, словно подсвеченные изнутри своей большой радостью.

– Вы ведь новенькая? – дружелюбно спросила девчушкина мать. – Или я ошибаюсь?

– Нет-нет, не ошибаетесь, – с готовностью отвечала Наташа. – В первый раз. Пришла вот посмотреть. Думаю привести своего мальчика. Ему семь. Как вы думаете, стоит?

Ее собеседница только всплеснула руками, а мужчина рассмеялся.

– Вы еще спрашиваете? – сказал он. – Неужели сразу не видно? Дети там просто счастливы. И родители тоже. Нашу Ленку вон – раньше в отстальные записывали: мол, поздно ходить начала, не говорит еще... ну, вы знаете эти дурацкие официальные прихваты. По психологам ее затаскали, бедняжку. А теперь у Игнатъича – лучше всех... сами видели.

Его жена кивала, радуясь и подтверждая.

– Конечно приводите, даже не думайте. Польза моментальная. Ой, смотрите, трамвай! Видите – даже тут повезло! Максим, бери Ленку!

Домой Наташа вернулась с твердым намерением записать сына к Игнатъичу. Попробовать стоило даже в том случае, если польза от кружка заключалась в одном только везении на быстрый приход трамвая.

Илье в Центре не понравилось. Рисование никогда не притягивало его; до знакомства с Игнатъичем он даже не пытался брать в руки карандаш или кисточку, хотя и был уверен, что при необходимости у него непременно получится. Ведь, как утверждал отец, не существует такого занятия, которому нельзя было бы научиться при условии приложения минимального внимания и старания понять. Так оно вышло и с Центром. Присмотревшись к развешанным в комнате образцам, Илюша уже к середине первого занятия понял, чего от него ждут. Поначалу он удивился: разве можно назвать рисованием это хаотическое нагромождение пестрых цветных пятен? Но спорить с мамой не хотелось, тем более что она заручилась поддержкой отца.

Поначалу Илюша изобразил большую кривоватую окружность, затем набросал внутри нее несколько разноцветных клякс, перечеркнул все это десятком решительных прямых линий, а поверх прилепнул, как печатью, собственной пятерней, которую старательно обвел, приложив к рисунку. Готово!

В комнате между тем продолжали работать; Учитель, прикрывшись челкой и устрашающе кренясь набок, восседал на своем возвышении. Вернувшаяся из туалета мать, наморщив лоб, долго разглядывала творение сына. Ей нездоровилось, вторую неделю подташнивало: это Ирка, незапланированная младшая илюшина сестренка, а в тогдашнем своем состоянии – крошечная запятая, неизвестный и ненужный человеческий головастик, впервые заявляла о своем присутствии, уже требуя внимания и любви или, возможно, протестуя против своего предстоящего появления на свет.

Вполне вероятно, что мать и вняла бы этому протесту, если бы связала причину своего недомогания именно с Ирккой-головастиком, но, как обычно, самое реальное объяснение приходило Наташе в голову в последнюю очередь. Пока же, рассмотрев илюшин рисунок, она через силу улыбнулась и подбодрила сына:

– Здорово, молодец. Похоже на человека за решеткой. Вот лицо, вот прутья, а это он, бедненький, изнутри рукою схватился. Трясет, трясет, а не выбраться.

Илюша нахмурился. Мамина критическая трактовка исключительно точно отражала сиюминутное отношение автора картины к окружающей действительности. В то же время что-то подсказывало мастеру, что в рамках данной художественной школы избыток смысла не слишком приветствуется. Поэтому он тут же усовершенствовал свое творение: налепил в окружности несколько желтых клякс, отчего лицо немедленно превратилось в большую яичницу-глазунью, а к пятерне добавил еще три пальца, что сделало общий вид рисунка намного приветливей.

Творческий дебют Илюши имел оглушительный успех, беспрецедентный для новичка. Учитель не только назначил его картину дежурной вспышкой концентрированного света, но и вывел красного от смущения художника на подиум и, поставив рядом со своим стулом, долго расхваливал детали рисунка, особо упирая на восьмипальную руку, в которой видел символ и квинтэссенцию творческого космического начала. Затем Игнатъич распустил группу, а Наташу с сыном попросил остаться на несколько минут для личной беседы.

– Ваш мальчик исключительно талантлив, – сказал он. – Свет горит в нем намного ярче, чем в большинстве детей. Тем обиднее будет, если вы позволите этому чуду померкнуть в повседневной грязи и суеде.

Наташа беспомощно развела руками. Ее мутило, голова раскалывалась. Она не знала, что ответить.

– Вы, без сомнения, хотели бы знать, что делать, чтобы этого не произошло, – помог ей Игнатъич. – Что ж, я объясню. Как вы видели, большинство детей здесь – с обоими родителями. Это не случайно. У нас, взрослых, канал связи со светом, как правило, давно уже забит ложью или заплыл жиром самодовольной слепоты. Поэтому дети для нас – последний шанс восстановить эту бесценную пуповину. А им, в свою очередь, присутствие родителей необходимо для осознания важности процесса. Ведь ребенок не станет делать ничего просто так, а погружение в глубины незамутненной младенческой чистоты – нелегкий труд. Ребенок согласится на эту нелегкую задачу лишь тогда, когда он осознает действительную пользу, которую приносит самым дорогим существам – папе и маме. Насколько я понимаю, Илюша очень привязан к отцу?

Наташа устало кивнула. Она уже поняла, к чему клонит Учитель.

– Хорошо, я попробую его уговорить. Но он сильно занят. Работает по вечерам.

– Я сам поговорю с ним, – улыбнулся Игнатъич. – Запомните, Наташенька, деньги не проблема. Вы, главное, приведите мужа. Договорились? На следующее занятие.

В насковзь промерзшем трамвае маме стало легче, и она задремала. Илюша сидел рядом, отслеживая остановки, чтобы не пропустить нужную. Несмотря на триумф, он чувствовал себя беспокойно, и причиной тому был этот странный Игнатъич. К семи годам мальчик достаточно набегался с беспомощной мамой по всевозможным конторам, магазинам и учреждениям, чтобы научиться понимать язык взрослых – не столько слова, сколько жесты, мимику, улыбку, взгляд.

На него как на малыша никто не обращал внимания, а потому он мог себе позволить смотреть на человека во все глаза, изучая и улавливая тревожные или, наоборот, благоприятные сигналы, сообразно которым следовало предупредить или, соответственно, ободрить бестолковую не-от-мира-сегошнюю мать. Со стороны легко было различить фальшь или искреннюю доброту, прочувствовать степень доверия, враждебности, равнодушия, желания помочь.

Игнатьич явно не лгал. Он искренне верил во все, что говорил. Он также не желал зла ни маме, ни Илюше. Тем не менее, Илюшу не оставляло чувство, что Учитель хочет от них намного больше, чем это сейчас подразумевается мамой, отцом или самим Илюшей. Опасностью веяло не от того, что было произнесено, а от того, что оставалось пока недосказанным. Впрочем, почему опасностью? Неизвестность может оказаться и доброй. Особенно заманчивой казалась мальчику перспектива занятий вместе с отцом. Из-за частых халтур они виделись намного реже, чем хотелось бы. А тут – по два часа дважды в неделю! А если еще прибавить полтора часа дороги, то это вообще получается... вообще получается... хм, сколько же это получается?... Увлеченный подсчетами, он едва не пропустил остановку.

Позднее Илья не раз вспоминал эту поездку в нетопленном полупустом февральском трамвае с наглухо заиндевевшими окнами и желтыми струпьями дермантиново-поролонных, в клочья изрезанных сидений, из-за которых вагон выглядел так, словно только что перенес чудовищные, бесчеловечные пытки. Если бы тогда Илюша дернул маму за рукав и, разбудив, потребовал бы забыть патлатого Игнатьича и его Центр, забыть и никогда больше не возвращаться туда даже мыслями – что было бы тогда? Что?

Скорее всего, так бы оно и случилось. Наученная многократным опытом, мама привыкла верить его оценкам и впечатлениям. Не зря по дороге на остановку она вопросительно поглядывала на сына, ждала. Но он промолчал – и тогда, и позже, в трамвае, и потом, дома, во время ее разговора с папой. Почему? Ведь позднее, когда они привели к Игнатьичу отца, стало уже поздно что-либо менять... Почему, почему... Да все потому же: из-за бесценной возможности сидеть с ним бок о бок дважды в неделю по два часа, не считая дороги!

Дважды по два часа... ага, как же... На первой же встрече отец стал объяснять Игнатьичу, почему он может уделять Центру лишь один вечер в неделю, да и тот с трудом. Они тогда только-только утвердились на очень выгодном коридоре – коротком, чистом, каменном, всего на двадцать минут работы, зато заработок – тридцатник чистыми в месяц. Жалко было терять такую чудесную синектуру из-за прогулов. Игнатьич внимательно выслушал и спросил:

– А зачем вам эти деньги?

– Как это – зачем? – рассмеялся отец. – Чтобы платить за квартиру. Чтобы питаться. Чтобы жить.

– Чтобы жить? Но вы ведь хотите не просто жить, вы хотите жить счастливо, не так ли? – серьезно возразил Игнатьич. – Я уверен, что эти деньги не помогают счастью, а, наоборот, мешают. Это – возня, а не жизнь. Суррогат. Давайте-ка я вам кое-что объясню...

Он произвел процедуру откидывания пряди и повернулся к Наташе.

– Мы тут поговорим, а вы пока с Илюшей порисуйте вон там, в уголке. Вон там.

В голосе Учителя звучали неприятные властные нотки, и Илюша вопросительно взглянул на отца. Тот кивнул ему: давай, мол, слушайся, можно. Они проговорили часа три, не меньше, закончив, когда мать с Ильей, сморившись, уже спали на стульях, а все трамваи шли в парк, и потому Игнатъичу пришлось давать им деньги на такси.

– Вот видите, – усмехнулся он, вручая отцу трешку. – Я же говорил, что деньги всегда найдутся. Да и не нашлось бы – тоже не беда: можно переночевать здесь. Или в другом месте. Мир не без светлых людей.

Отец растерянно улыбнулся в ответ. Эта улыбка не сходила с его губ и позже, на улице, в такси и даже дома, когда он пришел поцеловать сына на ночь. Такой странной улыбки Илюша не видел на отцовском лице никогда прежде. Не приходилось ему видеть ее и потом – только тогда, в тот вечер. Она выражала неуверенность, состояние неустойчивости – крайне не характерное для стопроцентно уверенного в себе человека, каким отец был всегда. Видимо, именно в ту ночь в нем произошла какая-то перемена, а растерянная улыбка просто знаменовала этот переход.

– Ну как, папа, тебе понравилось? – спросил Илюша, уже произнеся свое «спокойной ночи» и получив традиционный поцелуй, но еще задерживая обеими руками сильную отцовскую шею. – Будем ходить?

– А?.. Что?.. – рассеянно пробормотал отец и высвободился без обычной ласковой деликатности. – Куда ходить? Ах, ты об Учителе... Какой удивительный человек, правда? Я даже не думал, что такие бывают. Даже не думал...

На следующее утро он снова выглядел бодрым и уверенным, и Илюша вздохнул с облегчением, радуясь возвращению к привычной жизненной норме – возвращению, которое очень вскорости проявилось как более чем иллюзорное, поскольку теперь отец был непоколебимо уверен совсем в другом, а вовсе не в том, в чем был столь же непоколебимо уверен раньше. Хотя, с другой стороны, в чем он был уверен раньше?

Много позже, обретя наконец способность думать об этом более-менее спокойно, Илья без конца возвращался мыслями в ту зиму, стараясь понять и определить причину случившейся с отцом перемены, перелома, преобразования, напоминавшего скорее легендарные страшилки про оборотней, чем реальную историю человека, казавшегося столь здравомыслящим, трезвым, спокойным, всегда и во всем твердо полагавшимся на собственный рассудок – ясный, устойчивый и упорядоченный, как современный автоматизированный, управляемый компьютерами склад.

Как так произошло, что все это рухнуло... вернее, даже не рухнуло – это еще можно было бы понять: бывают же с людьми помутнения, сумасшествие, душевная болезнь, когда на том самом вышеупомянутом складе вдруг начинают рушиться полки, корежатся рельсы подъемников, падает потолок, едет крыша, а тщательно расставленные, надежно каталогизированные вещи летят вверх тормашками куда попало, образуя в итоге невообразимую кучмалу? Бывает, еще как бывает.

Но в том-то и дело, что с отцом ничего такого не случилось. Ничто не обрушилось, не перекорежилось, не съехало. Склад по-

прежнему удивлял образцовым порядком: там так же, как и раньше, светились компьютерные экраны, чинно разъезжали груженые товаром тележки, а бирки и бар-коды на ящиках с завидной точностью соответствовали своим полкам и стеллажам. Все так же, за исключением одного: это был абсолютно *другой* склад. С другим планом дорожек, другой системой кодирования и оценки, другим расположением шкафов, коробок и вещей в коробках. Даже в лифтах там теперь играла другая мелодия – не та, что вчера.

Как объяснить эту неправдоподобную по своей глубине, внезапно и быстро перемену? Что такого необыкновенного мог сказать, показать, открыть проклятый Игнатич? Возможно, до той встречи с Учителем отец просто никогда не задумывался о таких основных вещах, как смысл и устройство жизни? Все-таки они с матерью были очень похожи – не внешним поведением, а сутью. Оба интуитивно верили во всеобщую связность, доброту и обустроенность мира, оба использовали эту веру на практике, хотя и по-разному: мать – пассивно, почти полным неучастием в жизненной суете, отец – активно, с уверенностью хватаясь за любое участие, дело, ремесло.

Но может ли интуиция заменить основу – в особенности, если учесть неистребимую тягу человека к путеводной карте – даже тогда, когда человек топчется на месте и вовсе не намерен отправляться в дорогу? Как часто проводником, гидом, вождем становится в этой ситуации тот, кто всего-навсего первым протягивает планшет: безумный доброхот, случайный прохожий, безжалостный шарлатан...

Кем был Учитель – обманщиком или сумасшедшим? Илюша не знал ответа на этот вопрос: по малости лет он так и не удостоился быть допущенным к Учению в подробном его варианте. Одно не подлежало сомнению: Игнатич и в самом деле оказался первым, кто предложил отцу путеводную карту, основу жизни, модель бытия, и отец взялся за нее с тем же энтузиазмом, с каким подходил до того к рытью котлована, разводке электронной схемы, плотницким работам и мытью коридора... Как и там, здесь требовалось всего лишь понять несколько главных принципов и поудобнее ухватиться за инструмент. Что отец и проделал с обычным своей эффективностью.

На первых порах мало что предвещало беду. Напротив, никогда еще Илюше не предоставлялось так много времени для общения с отцом. Доронин-старший исправно посещал вместе с сыном занятия Центра – поначалу по два раза в неделю, а затем все чаще и чаще, пока не перешел на ежевечерний режим. Понятно, что с мытьем коридоров пришлось завязать. Когда Илюша неосторожно выразил сожаление по поводу уплывшей синекуры, отец посмотрел на него отчужденно, как не смотрел еще никогда:

– Откуда в тебе это?

– Что, папа? – выговорил мальчик, холодея от неизвестно откуда взявшегося, неприятного чувства опасности.

– Эта темь. Откуда в тебе эта темь? – отец покачал головой и добавил с интонацией Игнатича. – Запомни, сын: деньги в жизни – не проблема.

Постепенно отвалились и другие отцовские халтурки; на службу он тогда еще продолжал ходить, хотя сразу начал поговаривать о том, что должность помощника, предложенная ему Игнатичем, требует полной самоотдачи. Предприятие вообще развивалось с

поразительной быстротой. Комната районного ДК перестала вмещать желающих приобщиться к Учению; в апреле Центр переехал в помещения при Русском музее, и народу прибавилось еще больше. Теперь Учитель просто физически не мог поспеть всюду. Впрочем, этого и не требовалось: занятия велись его помощниками-апостолами, а сам Игнатьич являл свой лик народу лишь по исключительным случаям.

Тогда же выяснилось, что деньги действительно не проблема: упомянутая отцом полная самоотдача как близких помощников, так и продвинутых учеников подразумевала отдачу не только личного времени и душевных сил. Полученные от верных адептов деньги бескорыстный Игнатьич не брал себе, а пускал в дело: на аренду помещений, закупку материалов и помощь нуждающимся апостолам – таким, как отец. Дети на занятиях пока еще продолжали рисовать, но риторика Учителя все больше и больше сдвигалась от живописи к архитектуре: в его проповедях зазвучали слова о строительстве – сначала Здания, затем Дворца Света... к лету речь шла уже о целом Царстве.

Илюша Доронин к тому моменту пребывал в полной растерянности. Да, он оставил постылую школу и почти не расставался с отцом, сопровождая его повсюду на полуденных, вечерних и всенощных занятиях, присутствуя даже на собраниях внутреннего круга особо приближенных к Учителю апостолов. Но эта близость оказалась совсем не такой, какой представлялась раньше. Близость – к кем? Временами Илюша просто не узнавал отца: тот вел себя так, как никогда не повел бы прежде. Разве мог бы прежний отец оставить без присмотра больную маму?

Наташина беременность протекала трудно: мать мучили токсикозы, отеки, кровотечения. Тем не менее, отец продолжал настаивать на том, чтобы она посещала Центр, и мама покорно вставала, и шла, и тряслась через весь город на трамвае, и высиживала часами в душных, воняющих краской комнатах – до тех пор, пока в один из майских дней просто не смогла подняться с постели. Но и тогда отец накричал на нее, как будто она была в чем-то виновата. Накричал и ушел, хлопнув дверью и уведя с собой сына. Можно ли было представить себе такое еще полгода назад?

Нет, нельзя. Но и перечить отцу Илюша не смел. В этом человеке заключалась вся суть его недлинной семилетней жизни, ее смысл и образец; с той минуты, как мальчик осознал себя, он всегда старался говорить, думать, двигаться, жить как отец. Отец не мог быть неправ или плох, как не могут быть неправы легкие, которыми дышишь. Неправота легких означает смерть. Илюша не знал, что такое смерть: в семь лет невозможно осознать такое, но, даже не зная, он, не колеблясь, умер бы по отцовской команде. Не колеблясь ни секунды.

Уходить от мамы было неправильно – ведь в одиночку она не сможет выжить. Обязательно поскользнется, ошпарится, прищемит, ушибется, потеряет кошелек... а, впрочем, черт с ним, с пустым кошельком, одной угрозой меньше. Илюша с готовностью остался бы присмотреть за ней, как делал это раньше по просьбе отца. Но теперь отец не просил остаться, а, напротив, приказывал сыну сопровождать его. Мог ли Илюша ослушаться? Конечно, не мог.

Больше того: спускаясь вслед за отцом по лестнице, уходя и оставляя за спиной беспомощную мать, он испытывал радость оттого, что уходит, оттого, что – вслед, оттого, что – за отцом. И даже пони-

мая краем сознания гадкую подлость этой радости, даже стыдясь ее краем своей детской, еще не оформившейся души, он все равно не мог поступить иначе: ведь речь тут шла об отце, а отца он заранее предпочел бы всему прочему, каким бы стыдным, подлым или неправильным не оказалось это априорное предпочтение.

А Игнатъич все расширялся и расширялся, как нашествие, как чума, как психоз. Питер становился тесен для Учения. На апостольских вечерах заговорили о гастрольной выставке Центра в Москве. Давнишнее иллюзионо впечатление оказалось правильным: Игнатъич действительно хотел много большего. Он готовился к походу на столицу, на мир, на вселенную: для житнетворящего света не существовало границ. Началась лихорадочная подготовка: отбор и оформление работ, тематические лекции, репетиции бесед и мистерий. Времени катастрофически не хватало: апостолы кочевали вслед за Учителем из группы в группы, с квартиры на квартиру, ночевали где придется.

Отец с Илюшей перестали бывать дома, и мать осталась совсем одна – с огромным животом, без помощи и денег. Примерный срок родов приходился на конец июля – как раз тогда, когда намечалась выставка, но об отмене поездки Дорониных в Москву речи не заходило. Учение требовало полной самоотдачи, даже не самоотдачи – рождения заново. В этом общем символическом свете частные, не санкционированные Учителем наташины роды выглядели досадным недоразумением, не заслуживающим отцовского внимания. Накануне отъезда Игнатъич провел торжественный обряд «свечения», в процессе которого апостолы и ближайшие ученики, как и положено новорожденным, получили новые имена. Илюшин отец стал Петром, и это в полной мере отражало тот высокий статус, которого он сумел добиться в глазах Учителя своим рвением и послушанием.

«Светили» только взрослых, так что Илья остался Ильей. Впрочем, он мог утешаться тем, что его творчество по-прежнему очень нравится Учителю, а значит – и отцу. От добра добра не ищут; следуя найденному еще на первом занятии образцу, мальчик добросовестно комбинировал черные решетки с цветными пятнами, тут и там разбавляя это удручающее однообразие экспрессией восьмипалых ладоней. Этому простому рецепту сопутствовал неизменный успех: работы Илюши Доронина составляли едва ли не треть отобранных для выставки рисунков.

В Москву ехали на автобусе, мучительно долго и неудобно. Илюшу мутило – к нескрываемой досаде отца, отчего мальчик чувствовал себя еще более неловко и вспоминал мать: наверное, она так же переживала свою дурацкую тошноту, болезненность, распухшие ноги, неуклюжий живот – все те крайне несвоевременные и неуместные помехи, которые могли воспрепятствовать исполнению важных отцовских планов.

Затем, уже в городе, очень хотелось есть и спать, но времени не оставалось ни на сон, ни на еду. Нужно было работать: размещать картины, клеить рекламные плакаты, раздавать на улице флаеры. Выставке выделили помещение окраинного ДК, большую часть которого занимали игральные автоматы, которые круглосуточно завывали, взвизгивали, взлаивали, сверлили голову оглушительным электронным шумом, ревом двигателей, громом взрывов, барабанной дробью стрельбы. К концу третьего дня Илюша одурел

окончательно и жил наугад, бесчувственно, как зомби. Тогда-то и произошло это роковое интервью.

Дело в том, что в избалованной столице никто не заметил приехавшей из Питера выставки; ни плакаты, ни флаеры, ни даже две-три крошечные заметки в отделах новостей городских газет посетителей не прибавили. Свет Учения терялся в бесовском мелькании огней играль-ных автоматов, к коим, наоборот, народная тропа не зарастала в любое время суток. Игнатьич, занавесив лик волосом, ходил мрачным, скрежетал зубами и туманно намекал на всеобщее предательство, а на последней вечере, преломив хлеб, прямо пожаловался на то, что апостолы объедают его ввиду своей очевидной бесполезности.

Устыдившись, ученики постановили привлечь телевидение. На первый взгляд это казалось невозможным, но, как известно, илюшин отец, а ныне – апостол Петр, с младых ногтей отказывался признавать невозможным что бы то ни было. Как он этого добился – неизвестно, но фактом является то, что, выехав из ДК утром, в одиночку и на метро, он к четырем часам пополудни вернулся в сопровождении съемочной группы и на «Газели», разукрашенной всемирно известными логотипами одного из центральных телевизионных каналов.

Пока техник и осветитель, споро разматывая кабели, расставляли штативы и аппаратуру, отец водил по выставке корреспондентку, совсем еще молоденькую, но уже известную никак не менее вышеупомянутых логотипов. Корреспондентка загадочно улыбалась и поглядывала на апостола Петра с затаенным расчетом: отец, когда хотел, умел быть совершенно неотразимым.

– Видите, видите? – сияя глазами, говорил отец. – Как я вам и обещал, это что-то необыкновенное. Не только и даже не столько живопись, сколько мировосприятие, глубокое и совершенное в своей абсолютной законченности. Впрочем, я не умею рассказать как надо. Сейчас придет Учитель и...

– Что вы, что вы, Петя, – отвечала корреспондентка, невзначай упираясь правой грудью в плечо экскурсовода. – Вы и сами все превосходно объясняете. И так увлеченно... Послушайте, а вот этого художника мы уже видели раньше, вон на той стене. Я не ошиблась? Он и в самом деле... хи-хи... восьмипалый?

Отец улыбнулся.

– Нет, конечно. Восемь пальцев отражают стремление души к свету. Представьте себе, что пальцы – это лучи. Неужели вам в этом случае не покажется, что пять – это катастрофически мало? Не захочется больше?

– Захочется... честно говоря, Петя, мне уже... хи-хи... хочется... Но тогда почему только восемь? Ах, да: ведь это рисовал ребенок. Наверное, он умеет считать только до восьми, так?

Корреспондентка снова хихикнула, и крутившийся недалеко от отца Илюша почувствовал укол самолюбия. Он с четырех лет считал не хуже этой раскрашенной дуры.

– Сама говорит, а сама не знает...

Мальчик пробурчал это буквально себе под нос, совсем-совсем тихо, но корреспондентка услышала и обернулась.

– А вот и он сам, – сказал отец с легким оттенком недовольства. – Иди сюда, Илюша. Знакомьтесь: Илья Доронин, автор этих картин. А по совместительству – мой сын.

Это конторское «по совместительству» задело Илюшу еще больше. Он был *прежде всего* сыном, а потом уже все остальное, включая эту дурацкую тетку, дурацкую Москву и дурацкую выставку.

– Боже, какие ресницы! – воскликнула корреспондентка, приседая на корточки и таким образом подравниваясь с Илюшей в росте. – Прямо смерть чувихам. В точности, как у папы... Петя, сделай-те мне такого же... хи-хи...

Он протянула руку для знакомства.

– Вика.

– Илья, – ответил Илюша, стараясь сделать рукопожатие максимально крепким.

– Ого! Да он еще и прижать умеет! – Вика рассмеялась еще игривее прежнего, но вдруг, словно сама себя оборвав, посмотрела на часы. – Петя, вы, может быть, поторопите своего босса? У меня-то лично вечер вполне себе свободный, а вот техники каждую минутку считают... Телевидение, что поделаешь. Вы идите, а я тут пока... хи-хи... развлекусь с молодым человеком... о'кей? Он ведь не даст мне соскучиться, правда?

Немного поколебавшись, отец кивнул и быстрым шагом направился в глубь помещения, в направлении конторки, где апостолы в несколько рук готовили Учителя к судьбоносному телевизионному интервью. Корреспондентка склонила голову набок и уставилась на Илюшу изучающим взглядом. Глаза ее улыбались.

– Ну что, Илья Петрович...

«Красивая, – подумал мальчик. – Почти как мама. Жаль, что такая дура».

– Илья Алексеевич, – поправил он.

– Алексеевич? Разве твой папа – не Петр?

– Петр, – неохотно подтвердил Илюша. – Но вообще-то он Алексей. А Петр – это как бы. Вернее, как будто.

– Ага, понятно... – Вика зачем-то щелкнула пальцами. – Как бы, вернее, как будто.

Коренастый, наголо обритый парень примостился рядом с ними и принялся возиться с огромной камерой, нажимая на кнопки и покручивая колесики. В другое время мальчик с удовольствием понаблюдал бы за ним, но сейчас Илюша заменял отца и не мог отвлекаться.

– Особое впечатление на выставке производят картины одного из художников, Ильи Доронина... – вдруг произнесла корреспондентка с какой-то странной интонацией, словно репетировала ответ на уроке. – Их автор любезно согласился предоставить нам эксклюзивное интервью. Сколько тебе лет, Илюша?

– Семь.

– Семь лет, и уже столь ярко выраженная манера... я бы даже сказала – стиль! Как тебе это удается?

Илюша пожал плечами. Эта Вика не переставала удивлять. То говорила нормально, то вдруг зачастила, как радио на кухне.

– А чего тут такого? – буркнул он. – Беру краски, кисточку и рисую.

– Вот так! Беру краски и рисую! – с энтузиазмом повторила корреспондентка. – Вот так. Что ж, не принято спрашивать у художника о смысле его творения: тут нужно внимать сердцем и чувствовать душой. И все же, Илья: что ты хотел выразить, показать... ну, вот хотя бы этим рисунком?

«Вот оно», – подумал Илюша. Всех приехавших на выставку детей подготовили к этому вопросу заранее. Мальчик откашлялся, с трудом припоминая зазубренный текст.

– Я хотел выразить свет. В душе у каждого... – он запнулся, дернул подбородком и начал сначала. – Нет, не так... Я хотел выразить свет. Согласно Учению, в душе у каждого есть частица света живой природы. Нужно только постараться услышать его. Учитель говорит, что рисунок – это то, что услышано глазами.

Закончив тираду, Илюша облегченно вздохнул. Накопившаяся усталость давала себя знать: слова, которые раньше бодрыми камешками отскакивали от зубов, теперь шлепались на пол, как жирные жабы. Корреспондентка заинтересованно покачала головой. В ее взгляде появилось новое выражение, которое можно было бы назвать хищноватым, если бы речь шла о продавщице или о менте, а не о такой красивой, хотя и глуповатой тете.

– Ага... Значит, услышано глазами... – Вика прищурилась, помолчала и вдруг снова заговорила нормальным голосом. – Но это ведь, как ты говоришь, как бы. Вернее, как будто. Правда?

Илюша оторопел. Откуда она знает? Корреспондентка заговорщицы подмигнула мальчику.

– Ну, вот видишь. Хочешь, я угадаю еще один твой секрет? Тебе самому не нравятся твои рисунки. Твои учителя их хвалят, но тебе они ни капельки не нравятся. Ни капелюшечки.

Она показала сложенную шепоткой руку. Илюша почувствовал, что краснеет. Эта красивая Вика оказалась вовсе не такой дурой. Он оглянулся по сторонам. Хорошо, что никто их не слышал. Вика снова весело подмигнула. Она видела его насквозь – его страх, его сомнения, его повседневное напряжение. Илюша стоял перед нею, как голый.

– Я никому не скажу, – шепнула Вика, сделав таинственное лицо. – Можешь не бояться. Я в твоём возрасте тоже любила разыгрывать взрослых. Почему бы не дать им то, что они так хотят получить, правда? Пусть себе тешатся, да? А мы посмеёмся... ха-ха... Ты ведь над ними посмеиваешься?

– Нет, – сказал он. – Я не посмеиваюсь. Они хорошие.

– А что ты рисуешь *на самом деле*, Илья? Скажи, все равно никто не услышит. Или ты боишься? Ведь боишься?

– Вот еще! – вспыхнув, отвечал Илюша. – Ничего я не боюсь. Я рисую...

Он на секунду задумался и вдруг припомнил, как рисовал свою самую первую картину, когда мир еще был целым, рядом сидела почти здоровая мама, а отец звался Алексеем и любил их не по совместительству.

– Итак?.. – поторопила его Вика. – Ты рисуешь...

– Яичницу, – тихо сказал Илюша. – Глазунью в тюрьме. Видишь, вон она. А вот решетка.

– Вижу, – свистящим шепотом отвечала Вика. – А руки?

– Это она хочет наружу. На свободу.

– Ага, понимаю. А почему восемь пальцев?

– А чтобы он не догадался, – почти неслышно прошелестел мальчик.

– Он – это кто? Учитель?

Илюша кивнул.

Корреспондентка вскинула голову и, повернувшись к оператору, развела руками.

– Что ж, – произнесла она своим прежним радиоголосом. – Вы все видели сами. Глазунья в тюрьме... Стоп.

– Вика! Вика!

Отец спешил к ним из другого конца зала, огибая стенды и делая призывные знаки. Корреспондентка потрепала Илюшу по голове.

– Давай, Илья как бы Петрович, вернее, Алексеич. Держись. И извини, если что. Пошли, Сережа.

Оператор вскочил, ловко подхватил камеру и двинулся за Викой к месту исторического интервью, где их уже поджидал Учитель, величественно зажав в кулаке свою небогатую бороденку.

Сюжет о выставке предполагался к показу в конце недели, в рамках не слишком рейтинговой, но авторитетной программы новостей культуры. А кроме того Вика обещала тематическую заметку в пятничной вечерней газете, где вела собственную колонку. И хотя убогий ручеек посетителей, состоявший из одних лишь окрестных пенсионеров, окончательно иссяк уже к четвергу, Игнатъич приободрился, а вместе с ним повеселели и апостолы.

Знали бы они, какой она будет, эта долгожданная телепередача... Из получасовой проповеди Учителя в нее вошло в общей сложности минуты полторы, да и то едва слышно – в сопровождении заглушающих слово Учения едких закадровых замечаний. Львиная же доля сюжета отводилась на интервью с Илюшей Дорониным и на сопутствующий комментарий некоего доктора плешивых наук – специалиста по оккультно-эзотерическим сектам. Но самое неприятное содержалось даже не в самом телесюжете, а в опубликованной накануне статье, для которой передача служила дополнительной иллюстрацией. Вместе газетная публикация и телевизионный репортаж образовывали кумулятивный заряд поистине ядерной силы.

Статья называлась «Глазунья за решеткой» и описывала несчастную судьбу детей, волею своих неразумных родителей подпавших под влияние всевозможных шарлатанов, коих, как известно, развелось нынче видимо-невидимо. И живой пример семилетнего горе-художника из очередной питерской полуизуверской – по словам корреспондентки – секты играл в статье едва ли не главную роль. Помимо загубленной илюшиной судьбы Вика описывала еще несколько леденящих душу эпизодов из мирового сектантского наследия, зачем-то приплетала сюда Чарльза Мэнсона, приводила мнения ученых, милиционеров и чиновников из министерства народного образования, а в финальных абзацах призывала родителей лишний раз подумать, прежде чем отдавать детей в руки маргиналов разного толка, а власть предержавших – получше разобраться: нет ли в данном конкретном случае прямой угрозы душевному здоровью подрастающего поколения.

Случилось так, что «Вечерку» принесли на выставку довольно поздно, когда Илюша уже спал. Он к тому времени изнемог так, что с трудом добрался до матрацев, расстеленных в углу зала за стендами. Рядом за тонкой гипсовой перегородкой оглушительно визжали и улюлюкали игральные автоматы. Прежде мешавшие спать, теперь они казались ужасно далекими, почти не слышными за ватными слоями неимоверной усталости. Мальчик упал, где упал, и впервые за всю поездку заснул по-настоящему.

Он провалился настолько глубоко, что, грубо вздернутый на ноги, даже не сразу понял, кто он и где находится. Чьи-то жесткие руки, больно защемив плечи, трясли его так, что голова болталась из стороны в сторону, и это еще больше затрудняло ориентацию измененного сознания, так и норовившего перетечь назад, в сон. Сначала слух отказывался включаться, но затем в илюшину голову ввинтился электронный сверлеж автоматов, а сразу вслед за ним – и чей-то голос, настойчиво повторявший одно и то же слово:

– Вставай!.. Вставай!.. Вставай!..

От него ждали, что он разлепит веки, и Илюша проделал этот фокус, потратив на него уйму сил. К несчастью, зрение пока отказывалось просыпаться.

– Пошли!

Илюшу резко дернули за шею; он с трудом сфокусировал воспаленные, словно песком засыпанные глаза, и увидел отца. Это поразило мальчика настолько, что он решил, будто продолжает спать. Но и это допущение выглядело неправдоподобным, потому что даже во сне у отца не могло быть таких жестких, грубых, безжалостных рук. Илюша помнил эти ладони еще с младенчества: они были мягче и умнее материнских, они всегда успокаивали и врачевали, несли тепло и уют. Они просто не умели иначе.

– Папа... – изумленно пролепетал Илюша. – Папа...

– Пошли! Ну! Шевели ногами, пакостник!

Это был голос отца... и в то же время, это был совершенно чужой голос – злобный, ненавидящий. Отец тащил оторопевшего мальчика через зал, избегая смотреть на него, оставив подальше руку, словно касался не сына, а какой-то мерзкой гадины. Невероятность происходящего была настолько чудовищной, что даже язык и слезы замерли от удивления, и Илюша не мог ни заплакать, ни закричать. Люди в зале – взрослые и дети – отступали в сторону, уходили с дороги с таким видом, словно боялись заразиться; в их взглядах Илюша читал отвращение, смешанное с брезгливым состраданием, а их нахмуренные, вытянувшиеся, единообразные лица были как одно большое зеркало, в котором отражался он сам – маленький, слабый, гонимый, парализованный ужасом грешник, не ведающий своего преступления.

Он никогда еще не представлял себе собственной гибели, но в тот момент его тащили напрямик в ее черную пасть – ведь хуже того, что происходило, не могло произойти ничего, ничего. Мальчик задыхался и едва успевал перебирать заплетающимися ногами; на улице отец взял его за шиворот, и так полутолкал, полуволочил до метро, и в метро, и из метро наружу – на платформу железнодорожного вокзала, в душный, пахнущий углем, электричеством и машинным маслом предбанник смерти. А там, положив свою ужасную руку на беззащитный илюшин затылок и для виду изобразив на лице улыбку, устрашающе похожую на прежнюю, отец о чем-то долго договаривался с толстой кривоногой теткой, которая, видимо, и была той самой смертью, в чьи руки следовало передать Илюшу, и в определенной степени это воспринималось как облегчение, потому что рука на затылке пугала мальчика намного больше.

Затем, отключив смерть несколько банкнот за ее будущую работу, отец отпустил наконец мальчика и повернулся уходить, но тут

илюшин язык вдруг сам собой пришел в движение и неожиданно четко вымолвил слово, еще недавно бывшее для него самым приятным на вкус, дорогим и частоупотребляемым.

– Папа.

Трудно понять, зачем язык проделал с Илюшей эту шутку: в тот момент мальчик меньше всего хотел бы снова почувствовать отцовскую длань на своей шее, так что зовом это не было точно. Тогда чем? Прощанием? Видимо, так. Прощанием даже не с самим отцом, а со словом, которое обозначало столь многое в прошлой жизни и в планах на будущее, тоже оказавшихся теперь частью прошлого. Но отец не мог этого знать, поэтому он остановился на полушаге и, вернувшись, присел перед Илюшей на корточки, как делал когда-то в особо доверительные моменты.

– Я тебе не папа, ублюдок, – произнес он, глядя в остекленевшие в предсмертной своей готовности илюшины глаза. – Я тебе не папа, а ты мне не сын. Запомнил?

Илюша поспешно кивнул. Трудно такое не запомнить.

– Попрощались и будет, – позвала сзади тетка-смерть. – Заходи, пацан, не мелькай.

Ее ладонь на плече была жесткой, но не шла ни в какое сравнение с той, что приволокла Илюшу сюда. Самое тяжелое осталось позади. Не так страшна смерть, как ее приближение, – эту истину Илюша усвоил намного раньше большинства живущих. Смерть ввела его в узкое купе, усадила на скамью и вышла, щелкнув дверным замком. В голове у мальчика, как мячик в пустой комнате, не натываясь ни на что, кроме стенок, перекатывалось странное слово «ферополь». Ферополь. Ферополь. Некоторое время он неторопливо гадал, откуда оно взялось и что может означать, пока не обнаружил, что смотрит прямо на него и что это вовсе не слово, а часть слова, которое написано на табличке, прикрепленной к стоящему напротив вагону. Когда поезд двинулся, открылись и недостающие слоги: «Сим» и что-то еще, через черточку, неинтересно.

С тем же металлическим лязгом вошла тетка-смерть, сняла серый форменный пиджак, облегченно вздохнула, села рядом с Илюшей и улыбнулась, а может, оскалилась. В пользу первого варианта говорило нестрашное выражение теткиного лица, зато в пользу второго – сразу два обстоятельства: цельнометаллический набор зубов и то, что речь, как ни крути, шла не о ком-нибудь, а о самой смерти. На всякий случай Илюша отодвинулся подальше к окну.

– Не бойсь, сынок, – сказала смерть и оптимистически хлопнула себя по коленям. – Сейчас чайку попьем, и я тебя уложу. Чаю-то хочется, а? С баранками чай. Чего молчишь?

– Я не сынок, – тихо ответил Илюша. – Я ублюдок.

Последнее слово у него получилось только наполовину, потому что именно в этот момент вдруг решили прийти в себя слезы, остолбеневшие вместе с языком от первоначального удивления и накопившие за прошедшие два часа чертову массу энергии и обиды. Илюша судорожно дернулся и зарыдал, сотрясаясь всем телом и даже не пытаясь утереть мокрое лицо ввиду очевидной бесполезности подобных попыток.

– Что ты, сынок, что ты... – захлопотала выдавшая виды проводница, осторожно притягивая мальчика к себе. – Иди сюда, мой

хороший, вот так, вот так... Ничего, милый, все пройдет, ничего. Поплачь, сынок, поплачь... эдак ты мне всю гамнастерку зальешь, хорошо ли это? Плачь, милый, плачь, не слушай меня, дуру глупую, шут с ней, с гамнастеркой, у нас другая есть.

Слез оказалось так много, что они продолжали литься и потом, когда он уже лежал на верхней полке, заботливо закутанный в сыроватую серую простыню и укрытый байковым одеялом, и, хотя они выплескивались не так сильно, взрывными рыдающими толчками, как вначале, а текли тихой, спокойной рекой, их все равно было никак не унять, и Илюша перестал стараться, а просто смотрел в окно на мелькающую ближнюю темь и дальние огоньки костров, а может, уличных фонарей, а может, автомобильных фар, а может, окон каково-нибудь города, например, Ферополя или как его там.

Утром глаза просохли. В Питере на вокзале проводница долго не давала ему уйти, безуспешно поджидая встречающих, обещанных еще при посадке илюшиным отцом, но затем смирилась с печальной реальностью и, подчеркнув ее выстраданным обобщением «все мужики – говны», выдала мальчику один пятак на метро, два влажных поцелуя в обе щеки и с тем отпустила. Илюша доехал до Петроградской, дальше нужно было пешком. Он шел по родным каждой своей выбоиной тротуарам и знакомился с ними заново. Тротуары были теми же, зато он – другим.

Входную дверь открыла почему-то соседка, хотя Илюша звонил в свой, доронинский звонок. Что ж, Доронины теперь тоже стали другими. Увидев его, тетя Оля всплеснула руками:

– Слава Богу, наконец-то! Где отец, внизу? Беги, скажи ему, чтоб не поднимался, а ловил такси. В роддом надо, срочно!

– Не волнуйтесь, тетя Оля, – спокойно отвечал Илюша. – И маме передайте, чтоб не волновалась. Я сейчас приведу такси. Я быстро.

*Вот она, радость, вот!.. Близко, в твоих руках...
Можно потрогать? – Нет!.. Можно обнять? – Назад!
Ну отчего, скажи, холоден так твой взгляд,
так неприятен смех, так равнодушен страх?*

*Брат страданью – не брат! Чужой, возьми мою боль!
Спрячь, заberi, утоли, – даром её отдам...
Ну отчего, скажи, так одинок Адам?
Навзничь – один!.. один!.. – в серу брошен и в соль!*

6.

Вечером, когда после работы Рахель спустилась к озеру, маки на северо-западном склоне уже готовились закинуть юбки на голову, как стыдливые гаремные красавицы, которые предпочитают обнажить перед чужим взглядом все что угодно, только не лицо. Этот берег Кинерета успел к тому времени спрятаться в тени, но солнце не сдавалось, продолжало свою ежедневную предзакатную битву на другой стороне озера, цепляясь за базальтовую кромку Голанского плато, припадая всем телом к зеленым по зимнему времени распадам, скользя слабеющими щупальцами-лучами по обледеневшему хребту снежного Хермона.

Прошлой ночью Галилею трепала непогода: сильная буря, гроза, ливень, потоп подстать Ноеву. Перепуганные гуси изгототались до хрипоты в своем загончике, а бесстрашный сторожевой пес Барашка, отбросив соображения репутации, скулил и скребся в дверь жилого барака, умоляя, чтобы его впустили, а добившись своего, с разбегу забился под лавку и дрожал там так, что вибрировали доски пола. Некоторые девушки тоже боялись весьма активно: ахали, зажимали уши и вздрагивали, хотя до амплитуды барашкиной дрожи все же не доходили. Даже бывалая Хана Майзель чувствовала себя не совсем в своей тарелке... но Рахель... Рахели все эти детали всеобщего смятения только добавляли восторга.

Она выскочила во двор в одной рубашке и кружилась там, мокрая насквозь, сожалея лишь о том, что не может еще больше слиться с неистовым ливнем, стать им, предстать земной тьмой, земной твердью, каждой своей пядью вздыбленной дикими порывами ветра, пластать ревушим, не на шутку разошедшимся Кинеретом внизу, хлестать ослепительной снежной бурей наверху, на темном тении Хермона. Но самое прекрасное происходило тогда, когда черноту беснующегося пространства вдруг прорезала кривая извилистая молния – огромная, как трещина в ткани Вселенной, а мгновением позже и в самом деле слышался треск рвущихся ниток, и вслед за ним – разрывающий душу и уши стон мироздания.

В эти моменты Рахель привставала на цыпочки и, поставив ладонь козырьком от ливня, напрягала глаза, торопясь разглядеть, разобрать, угадать: что там, внутри, в трещине? Какова она, Твоя изнанка, Господи? Какова Твоя суть? Какого цвета оно – живое мясо Твоей трепещущей плоти и похоти? Но разлом закрывался, так и не позволив рассмотреть ничего; смыкались великанские веки, захлопывались двери, сходились разошедшиеся было надвое воды небесного моря, срасталась мощная ткань, не знающая прорех и заплат. И Рахель снова кружила в одиночку по чавкающей грязи двора, запрокинув в небо мокрый пылающий лоб, охотясь за новой молнией, новой трещиной, новой возможностью понять, увидеть, узнать...

Зато сегодняшнее утро вышло на славу: и свет, и синь, и младенчески влажная дрожь промытого воздуха, и солнце, которое не жжет, как утюг, а гладит, как... гм... да и черт с ним, пусть будет тоже «как утюг» – ведь и утюг не только жжет, но и гладит, разве не так? Пес Барашка после ночного конфуза лебезил, как мог, и только что не вымел хвостом весь двор, так что пришлось долго его успокаивать: не переживай, мол, ничего не бояться только глупцы, а ты ведь у нас умный собакевич, правда? – «Правда, правда...» – и преданный взгляд, особенно приятный в сочетании с блеском по-волчи хищных клыков и просительно протянутой лапой, способной одним ударом свалить барана.

Зато с гусей прошедшая буря стекла, как с гуся вода: похоже, они ее даже не помнили. Гусак столь же уверенно топтался меж своих хлопотливых наложниц, а те столь же зазывно крутили гузкой, прямо намекая ленивому властелину, что этот объект подходит для топтания намного больше. Кем лучше жить: гусем или Барашкой? А может, просто: лучше – жить, кем бы то ни было, лишь бы жить?

Она прошла вдоль берега до своего любимого места, где у кромки воды покачивала кроной низенькая лохматая пальмочка. Едва заметная волна рябила, разбегаясь кругами от тонкого ствола, и

оттого казалось, что это сам берег, подобно уставшему от дневной беготни мальчишке, прилег на травянистый холм и теперь болтает в озере ленивой ногой. Рахель медленно вошла в Кинерет, взяла его на руки, прижалась разгоряченным лицом.

Вкус этой воды не имел названия... «горько»?.. «сладко»?.. «солono»?.. «кисло»?.. неужели есть всего четыре слова?.. всего четыре слова на такую прорву вкусовых оттенков?.. возможно ли?.. Рахели не хватало Кинерета даже тогда, когда она стояла в озере по горло, эту воду хотелось пить бесконечно, всем телом, превратив каждую пору в ненасытную, широко разверстую глотку. Ах, Кинерет, Кинерет... смогу ли я прожить без тебя? Ничего, это ведь ненадолго. Два года, не больше. А может, и раньше: всегда ведь можно вернуться, если что.

Вернувшись на берег, Рахель примостилась под пальмой и достала гребень. Длинные, блестящие, тяжелые, добела выгоревшие на галилейском солнце волосы потемнели от воды. Здесь они всегда приобретали цвет Кинерета, словно были его продолжением: пряди становились течениями, косы – ручьями, выбившийся из-под платка завиток – отбившейся от стаи волной. Эй, волосы! – Вытекаете ли вы из Кинерета или, наоборот, впадаете в него?

Важный вопрос... Если первое, то уезжать отсюда – смерти подобно: потускнеете, рассохнетесь, посечетесь без материнской подпитки, превратитесь в безжизненное русло ручья, как старые вадии на Кармеле. А вот если второе... если второе, то уцелеете и сами, на собственных родниках; уж как-нибудь найдете себе другое место для устья-златоустья: Женевское озеро, реку Волгу, Адриатику, Атлантику, Атлантиду...

Нет под рукой ромашки, не погадаешь. А что, Раяша, разве не прожила ты девятнадцать лет вдаль от Кинерета? Было ведь, правда? Отчего же сейчас такие сомнения? Припомни: вы с Розкой приехали сюда проездом, мимоходом, по дороге к той самой Адриатике, которая сегодня отпугивает тебя своей дальностью от этой вот милой пальмочки. Приехали всего-то на две-три недели. Сколько прошло с тех пор? – Три года! Три великолепных, чудных, невероятных года. Три года, сделавших ее другим человеком. Совсем другим.

Рахель улыбнулась, вспомнив тот день, когда пароход встал на рейде напротив яффского холма, облепленного неопрятными, серыми от старости домами, и причудливо разрисованные лодки с крикливыми лодочниками, толкаясь бортами, ринулись навстречу, как пираты на абордаж. Несколько десятков молодых людей взволнованно и бестолково толпились на палубе, перекикивая один другого. Кто-то требовал петь хором «Атикву», кто-то настаивал на молитве, кто-то хотел тут же, не сходя с места, дать коллективный обет не покидать более никогда эту, в крови утраченную, в крови сохраненную, а ныне вновь обретенную Землю.

За две недели плавания Раяша успела послушаться предостаточно подобных обетов – возможно, именно из-за их жара и количества Земля называлась Обетованной. Хотя скорее всего, эти бесконечные клятвы и присяги выражали всего лишь понятную неуверенность присягающих в своей способности выполнить обещанное. Удивительно ли, что на фоне библейской Яффы, обернувшейся кучкой жалких арабских халуп на выжженном солнцем холме, жела-

ние дать еще один обет верности стало и вовсе неоторимым? Дружно подняв вверх напряженно подрагивающие десницы, молодые люди принялись присягать на вечную верность.

– Рахель, Шошана! – крикнул кто-то. – Что же вы? Присоединяйтесь!

Раяша и Розка переглянулись и тоже подняли руки. Вечная верность отнюдь не входила в их текущие планы, но уж больно восторженно, больно романтично звучали слова импровизированной клятвы, все эти «древние камни», «мечты двух тысячелетий», «вавилонские реки» и, конечно же, «народ Книги, взявший в руки кирку и мотыгу»...

Пройдоха-подочник знал, казалось, всего два слова, которые и выкрикивал на все лады за все время короткого переезда на берег – вместе они составляли название какого-то пансионата. Но сестрам заранее рекомендовали определенную гостиницу; узнав об этом, араб потерял к своим пассажиркам всякий интерес, наскоро покидал на причал чемоданы и уплыл за новыми клиентами.

Что теперь? Стоя на берегу рядом с грудой своего багажа, сестры беспомощно оглядывались в поисках возницы или носильщика. Чертова Яффа словно не желала замечать их, по горло поглощенная своими делами – если только можно было назвать делом ту странную смесь заполошной суеты и расслабленного созерцания, которая царилла вокруг. Здесь все казалось другим – совсем не похожим на то, что рисовалось в воображении, в полусне, на горячей подушке подростковых полтавских мечтаний.

В голову упрямо лезли недавние предупреждения господина Молхо. Похоже, турок знал, о чем говорил. После чинной стольности Киева, праздничного веселья Одессы и величественного константинопольского размаха убогость Земли Обетованной особенно была в глаза. В глаза? – Не только в глаза, но и в ноздри, и в уши. Эта пыль – если она так одолевает у самого моря, то что же творится чуть дальше, на плоскогорье?.. Эта тошнотворная вонь гниющей рыбы и экскрементов, разбавленная назойливыми пряными запахами с прилавков и лотков, где торгуют едой прямо над заросшими грязью ослиными задами. Эта неприятная гортанная речь – не то кхеканье, не то кашель, перемежаемые пронзительными выкриками, от которых звенит в ушах... и рев верблюдов, и скрип снастей, и грохот импровизированной бабы о сваю, которую вколачивают тут же, по ходу дела, в наивной попытке удержать берег на берегу.

Неужели это и есть Палестина? Неужели вот к этим камням, напоминающим не скалы, а съеденные временем пеньки старческих зубов, была прикована красавица Андромеда? Из этих желтых замусоренных вод поднималась разверстая пасть морского чудища, здесь садился на корабль несчастный Иона, бегущий от своего предназначения, бродил могучий Шимшон, препоясанный львиной шкурой, укрытый собственной львиной гривой? Здесь, в этом ничтожном месте, смахивающем на задворки рыночных харчевен, где подьедаются нищие и прочие пропащие люди, которые настолько свыклились с отбросами, что стали похожи на них? Быть такого не может... Провести здесь целых две недели? Здесь?!

– Рая... ох... Рахель, Рахель!

Раяша обернулась. Розка звала ее, вцепившись в скобу какого-то шарабана – не то кареты, не то телеги. Возница в клетчатом головном

платке и длинной, до пят, рубахе неопределенного цвета, уже слез с козел и, положив руки на поясицу, топтался возле своего мула, словно раздумывая, стоит ли ему начать разминать спину прямо сейчас или погодить с этим часок-другой. Мул сочувственно наблюдал за хозяйскими сомнениями. Транспорт в гостиницу ожидал своих пассажиров.

Комната рекомендованного «приличного» отеля была тесной и давно не метеной; по стенам на узкие неудобные топчаны напелзала черно-зеленая плесень, оказавшаяся, впрочем, не единственной здешней живностью, а всего лишь незначительным дополнением к тараканам, мокрицам и мышам, посвятившим всю последующую ночь интенсивному шуршанью и шушуканью. Утром сестры встали с головной болью, спустились к завтраку, но есть не смогли; заезд в Палестину все больше и больше прояснялся как пустая трата времени, если не хуже. Винить в ошибке было некого, кроме самих себя, что делало ситуацию и вовсе катастрофической.

– Поезжайте в Реховот!

– Простите?

На Раяшу с беззлой насмешкой смотрела дочерна загорелая кареглазая девушка в белом полотняном свободном платье. Она вошла в гостиничный буфет немного позже сестер и сейчас за обе щеки уплетала местные пресные лепешки, обмакивая их в тарелку с оливковым маслом. Девушка говорила по-русски.

– В Реховот! – повторила она. – Я вижу, настроение у вас не из лучших. Вчера приехали? Ожидалось что-то совсем другое, а? Что-то более библейское, чем... чем этот дворец!

Она широко улыбнулась и еще шире взмахнула рукой с зажатой в ней лепешкой, едва не задев при этом слугу с его подносом. Ловко увернувшись, тот пробормотал что-то по-арабски – то ли ругательное, то ли шутовское, кареглазая немедленно ответила в тон, и оба расхохотались.

– Это нормально... – сказала девушка, отсмеявшись и снова поворачиваясь к сестрам. – Первый шок. Только не езжайте в Ерушалаим, а то совсем загрустите. Наймите сегодня же повозку в Реховот, это недалеко. Там все другое... Извините, мне пора.

Проглотив остаток лепешки, она встала и вытерла руки прямо о платье.

– Простите! – крикнула ей вслед Розка. – А что там другое, в Реховоте?

– То, о чем мечталось! – весело воскликнула девушка. – Ни больше ни меньше! Воплощенная сказка! Нет бога, кроме труда, и Адэ Гордон – пророк его!

Она снова расхохоталась.

– А вы? Вы едете туда же?

– Нет уж! Я – в Хайфу! – карие глаза вдруг посерьезнели – слегка, ненамного. – Буду открывать там сельскохозяйственную школу для девушек! Таких, как вы, обучать, барышни. Приезжайте. Запомните: дипломированный агроном Хана Майзель!

Девушка отвесила шутовский поклон и исчезла. Рахель отломил кусок лепешки, обмакнула его в масло – на вкус получилось очень даже неплохо. Здешнюю жизнь следовало распробовать, и поскорее.

Реховот – новое сельскохозяйственное поселение в нескольких часах тряской езды от Яффы – и впрямь показался Раяше и Розке

совсем другим миром. Настолько другим, что они решили пропустить ближайший пароход в Италию, поехать на следующем. Но и тот, следующий, разочарованно прогудев сиреной, ушел с яффского рейда без них. А за ним еще много таких же – крикливых, дымных, исчезающих, превращающихся на глазах в крохотные крупинки соли, тающих, как соль, на соленом горизонте соленого моря. Из соли вышедший – в соль и вернется.

Страна крепко держала сестер на невидимой, необъяснимой и оттого неразрывной цепи.

– Зря мы поклялись тогда на пароходе, Рахель... – говорила Шошана, качая головой.

Игра в новые имена незаметно перестала быть игрой – подобно той, шуточной, неосмотрительно данной клятве. Здешняя земля все принимала всерьез. Сначала эта ее странная особенность не ощущалась, потом пугала, потом просто превращалась в реальность, часть жизни, кровь, дыхание. Прежние Рая и Розка исчезли, ушли, растворились за горизонтом, как те уплывшие в Италию пароходы, как и сама Италия – когда-то яркая, глянцевая, трепещущая в иллюминаторе мечта, теперь – поблекшая, выцветшая открытка на столе, письмо от брата, газетный лист.

Почему? Как получилось, что страна, куда они так стремились, но так и не доехали, которой не видели никогда, но о которой так долго мечтали, вдруг стала частью бывшего, постылого, надоевшего? Возможно, все началось с пения и танцев на пыльной площадке меж реховотских барачков? Со звуков ивритской речи – не натужной, запинаящейся, мучительно ищущей аналоги русских, немецких, украинских слов, но естественной, льющейся сама собой, произвольно, как жизнь, кровь, дыхание? Нет, скорее всего – с реховотского детского сада, куда Рахель и Шошана пришли помогать, а заодно и учиться у детей языку...

Только ли языку? Эти дети были настолько не похожи на полтавских, киевских, кременчугских, российских детей, что казались прилетевшими с другой планеты. В них не чувствовалось осторожной повадки подчинения, исподлобного ожидания удара, первобытного испуга, впитанного с молоком матери, въевшегося в тело с младенческих ногтей. Они были по-настоящему свободны, эти дети, и учиться у них хотелось именно этому – свободе.

Раньше слова «новый человек», «новая жизнь» означали для Рахели прежде всего правильность действия, логику бытия, устроенное по разуму, а потому счастливое существование бок о бок с другими людьми. Теперь они обрели новый смысл – до того скрытый, потерявшийся в нагромождениях теоретических конструкций: «свободный человек», «свободная жизнь». Ею – свободой – внезапно обернулась вся желанная новизна, и воплощением этой новизны был Реховот, его строители, в которых неволя присутствовала лишь тенью, воспоминанием, темным далеким облаком, неприятным фоном, а также их дети – особенно их дети, чье новенькое прошлое родилось на свет, родилось для света и во имя него, начисто свободное от подлого рабского фона и облачных воспоминаний.

А еще там был Накдимон – один из самых первых реховотских уроженцев, семнадцатилетний красавец-сабра, прекрасный, как Давид, и сильный, как Шимшон. Возможно, главным в перечне причин, по

которым так поблекла Италия, следовало бы назвать именно его. Этот парень слыхом не слыхивал о Ницше и не прочитал ни одной строчки Толстого, зато в его жилах бурлила такая смелая и гордая кровь, что ей позавидовал бы сам Заратустра, а руки трогали почву полей и садов с такой умелой лаской, о какой мог только мечтать великий яснополянский землепашец. В его глазах не было затаенного страха, галутной тоски, столь часто и ошибочно принимаемой за «библейскую» – нет, в них играла настоящая библейская мощь – мощь безжалостного солнца, неуступчивая твердость сухой каменистой земли, застенчивая нежность прохладных летних ночей, веселая усмешка раннего утра, неулыбчивый прищур Страны, не понимающей шуток.

Казалось, над ним не властна усталость: рассвет Накдимон встречал в поле, полдень – в апельсиновой роще, вечер – на стройке. Затем он еще мог танцевать до темноты и до упаду – до упаду всех прочих танцующих, потому что сам не только оставался на ногах, но брал винтовку и, вскочив в седло, отправлялся сторожить посевы и скот от окрестного вора. Впервые Рахель увидела его спящим, когда однажды под утро он наконец закрыл глаза и задремал, уткнувшись кудлатой головой в ее горящее от поцелуев плечо, но даже тогда на его спящем ночном лице отпечатались не усталость и жажда покоя, а счастье жить – то же самое деятельное, клопочущее счастье, что и днем.

Сначала он отчаянно стеснялся ее, хотя влюбился, как и Рахель, сразу, с первых же улыбок, и ей приходилось в одиночку изобретать за двоих предлоги для встреч, заравнивать ямки случайных недоразумений, наводить хлипкие мостики ничего не значащих разговоров, трудных еще и оттого, что к тому времени они с Шошаной решили говорить только и исключительно на иврите – незнакомом в общем-то языке, сделав уступку лишь для стихов, отказ от которых означал бы отказ от души. Так продолжалось несколько недель, пока она не поняла, что умрет, отравившись любовью, если вот прямо сейчас не возьмет его за руку и не уведет от костра субботней вечеринки в густую тень старых оливковых деревьев, к первой щемящей радости объятий, к неумелой торопливой решительности своего впервые отпущенного на свободу тела и к нежным, неожиданно опытным мужским рукам и губам.

Там, под остролистыми морщинистыми оливами, на горячей почве, остро пахнущей спорами растений и спермой уставшего за день солнца, она отдала свою невинность – отдала даже не Накдимону, семнадцатилетнему деревенскому пареньку, а всему миру вокруг: этой ночи, этой земле, этому головокружительному запаху жизни, но главное – этой свободе, свободе, свободе!

Накдимон сразу заговорил о свадьбе, но Рахель только смеялась в ответ, закрывая поцелуями его рот, полный недоуменных вопросов, его глаза, полные надежды и тревожного счастья. Рахель принадлежала теперь свободе, а вовсе не реховотскому Давиду, сколь бы он ни был красив, весел и искушен в пронзающих до судороги, до спазма любовных танцах под оливами. Стать всего лишь женой Накдимона? – Вот еще! Она хотела стать самим Накдимоном, не меньше.

В Реховоте отнеслись к ее желанию работать в поле с плохо скрытой насмешкой. Шошана тоже недоумевала: руки сестер привыкли к клавишам рояля, к перу, карандашу и кисти, но уж никак не к мотыге и заступу. Не разумнее ли посвятить время изучению языка, по-

ехать в Ерушалаим, найти там серьезного учителя? Много ли узнаешь, вслушиваясь в лепет двухлетних ребятишек и горланя общие песни у костра? Язык – это грамматика, Танах, Талмуд, новая литература, журналистика... Рахель слушала и не слышала: в ее серо-голубых глазах мерцали россыпи крупных звезд – много их нападало туда сквозь прозрачный кров оливковых листьев, когда она отдавалась свободе, выгнувшись дугой под сильным Накдимоновым телом.

Что ж, если ее не хотят здесь – не беда. На Реховоте свет клином не сошелся: в Стране уже есть достаточно таких поселений, найдутся и менее привередливые земледельцы. Такие, как та загорелая кареглазка, встреченная ими в самое первое утро в яффской гостинице. Не зря ведь она сказала тогда: «Буду обучать таких, как вы...» Как ее звали? – Хана?.. Да, да, Хана. Хана Майзель.

Для Шошаны это было уже чересчур. Сестры крупно поссорились. Вернее, ссорилась одна старшая: младшая молчала и отрешенно улыбалась, что бесило Шошану еще больше. В Хайфу Рахель отправилась одна, не сказав Накдимунону, чтоб не удерживал, чтоб не увязался следом. Вместо него рядом с попутной телегой, весело улыбаясь, вприпрыжку семенила свобода. Свобода приняла эти жертвы – любимую сестру и первого возлюбленного – с благосклонностью выдавшего виды резника: подобных телят к ней водили на убой чуть ли не ежедневно.

Хана Майзель ее не узнала, что обрадовало Рахель дополнительно: меньше всего она хотела бы походить сейчас на ту, прежнюю барышню. Хотя давнишнее яффское приглашение на учебу в новой сельскохозяйственной школе адресовалось именно той, прежней Рахели. Не опоздала ли она к набору? Хана смущенно усмехнулась в ответ: со школой пока не получилось. Сейчас она работает поденно у одного из местных фермеров: готовит землю под саженцы, подрезает оливы – обычный осенний труд. Если Рахель хочет, можно попробовать уговорить хозяина, чтобы взял еще одну работницу...

– Хотя... – Хана с уже знакомым по Реховоту сомнением посмотрела на руки Рахели. – Боюсь, что он не согласится дать тебе полную оплату.

Хозяин отказался платить вообще – ни гроша. Да, да, ему пришлось слышать о новомодных веяниях, ежегодно пригоняющих сюда образованных молодых господ, которые никогда в жизни не втыкали в землю лопату, но непременно хотят посвятить себя именно земледелию. Что ж, бывают капризы и похуже. Если барышня столь бесповоротно решила испачкать ручки, то пусть делает это за свой счет и под ответственность Ханы. Матрац он, пожалуй, даст, но не более того.

Фермер говорил по-русски, Хана переводила на иврит. Новая Рахель принципиально понимала теперь только этот язык – за исключением стихов. Но хозяйская отповедь представляла собой сугубую прозу. Выслушав перевод, Рахель кивнула: мол, все в порядке, господин, согласна помогать даром. Хозяин сплюнул и пошел в сарай за матрацем.

Через месяц он сам предложил деньги: девушки работали за троих. Рахель была счастлива: у нее получалось почти как у Ханы! Волосы выгорели и стали совсем светлыми, кожа приобрела оливковый оттенок, ступни огрубели, мозоли одна за другой сходили с отвердевших ладоней вместе со старой – а значит, излишней – кожей, обнажая свежую – чистую и розовую, как девственная душа новорожденной Рахели.

Она училась трогать почву, как еще недавно училась касаться тела Накдимона, угадывая нежную, отзывчивую мягкость земли, обходя узлы закаменевшей боли, избегая резкости, грубости, нечуткой силы. И земля всей своей массой подавалась навстречу – огромная, наивная и восторженная, неуклюже ворочаясь под мотыгой, подставляя загривок горы, теплую щеку склона, полураскрытые губы оврага, сосцы родников, курчавую шевелюру кустарника. Она была и любовником, и матерью, и подругой, дарила ежедневное наслаждение, заботу и помощь, а Рахель – ее благодарная невеста и дочь – с каждым таким волшебным днем заново ощущала, что одолела еще одну ступень на чудесной лестнице счастья, и это чувство наполняло ее радостью и удивлением: что-то будет дальше? Неужели и это – не предел?

С наступлением зимы работы стало существенно меньше – хозяину уже не требовалось помощи. Зато пришли две хороших новости сразу. Во-первых, Земельный фонд согласился выделить Хане Майзель участок под учебную сельскохозяйственную ферму на Кинерете, рядом с другим только что основанным поселением – Дганией. Это означало, что ближайшие недели, если не месяцы, Хана должна будет посвятить бумажной волоките. Во-вторых, в Реховот из Лейпцига приехала младшая сестра Рахели – Верочка. По всему выходило, что нужно расставаться и с подругой, и с Кармелем.

Прощаясь, договорились встретиться весной на свежестроенной кинеретской ферме и немножко поплакали, хотя плакать, в общем, было не о чем. Прекрасная, во весь горизонт улыбающаяся жизнь продолжала манить все новыми и новыми подарками.

Во второй приезд Рахели Реховот выглядел немного потускневшим – возможно, по сравнению с ее собственным сиянием. Теперь уже никто не мог назвать ее городской белоручкой, бледным, запуганным ростком галутного рабства. В поле она шла едва ли не впереди всех, а уж в пении и в танце Рахели и вовсе не было равных. Верочка, ставшая здесь Бат-Шевой, привезла с собой пианино; по вечерам три сестры устраивали концерты, на которые собиралась вся округа. С легкой руки проезжего петербуржца их дом прозвали «Башней трех сестер» – почему, непонятно: приземистое строение меньше всего походило на башню.

– Потому что мы – три принцессы, – жеманилась новоявленная Бат-Шева. – А принцесс заточают в башнях.

Рахель только хмыкала в ответ. Попробовали бы заточить ее в башню! Ну-ка, удержи ситом ветер! Конечно, в музыке и рисовании есть определенная прелесть... но лично она предпочитает играть на мотыге и рисовать на земле. Пусть никто не заблуждается относительно ее планов: здесь, в Реховоте, Рахель всего лишь дожидается апреля. А потом – Кинерет, Кинерет, продолжение счастья!

Именно это она объяснила Накдимону в первую же их ночь после разлуки. Парень любил ее по-прежнему отчаянно и безоглядно, но, к несчастью для него, с Кармеля вернулась совсем другая Рахель. Это раньше она смотрела на него снизу вверх, а теперь под оливами сплетались два одинаково загорелых, одинаково сильных тела, равным образом близких этой жестокой, ласковой, огнедышащей, не понимающей шуток земле. Теперь она уже была сама себе Накдимоном, только еще свободнее, еще смелее...

– Возьми меня с собой, Рахель. Ты знаешь, я пригожусь в любом месте.

– Что ты, глупыш... – она гладила его по голове, как взрослые, собираясь уходить по своим взрослым делам, глядят просящегося с ними ребенка. – Это ведь учебная ферма для девушек. Разве ты девушка?

– Я буду жить рядом. Я могу спать снаружи, под вашим забором. Я буду ночным сторожем.

– Сам подумай, милый, как это будет выглядеть, если я приеду со своим парнем, словно какая-нибудь расфуфыренная аристократка со свитой... Подожди немного, ладно? Я вернусь за тобой, обязательно вернусь.

Накдимон тяжело вздыхал, откидывался на спину, и узкие оливковые листья, повернувшись на манер жалюзи, вдруг открывали перед ним все звезды разом. Звезды моргали и плакали, вонзая в землю свои стремительные слезы. «Нет, не вернется», – говорили звезды. Да он и сам это знал: теперь уже не вернется.

В апреле Рахель уехала на Кинерет. Она узнала озеро с первого взгляда, издалека, едва лишь синий его глаз подмигнул снизу путникам, спускающимся к Тверии по серпантину горной дороги. Узнала, хотя и не видела его прежде ни разу. Так – по неопределимому сочетанию облика, запаха, звука, сердечного пульса, душевного ритма – щенки узнают мать, птенцы – гнездо. Конечно, та, прежняя, полужнакомая-полузабытая девушка, которую звали Рая Блувштейн, родилась и выросла совсем в другом месте, на расстоянии многих лун отсюда. Но та Рая давно умерла, исчезла, как исчезает выползшая на свет личинка с появлением бабочки. Разве родина бабочки – сырое личинкино подземелье? Нет, ее родина – яркий солнечный луг: ведь именно здесь она впервые распахнула и крылья, и глаза!

*Как близки Голаны – вот они, потрогай!
Но строга твердыня: не пошутишь там...
Дед Хермон кемарит, разбросав отроги,
холодок сбегает по крутым хребтам.*

*Там к воде склонился берег низкой пальмой –
плещется, смеётся, дрыгает ногой,
как шалун-мальчишка, нежный и нахальный,
каждый день – всё тот же, каждый день – другой.*

*Алой кровью маков загорятся склоны,
крокусы ответят желтизной полей...
Здесь бывает зелень всемеро зелёней,
здесь бывает небо всемеро синей.*

*Даже если тело сносится, как платье,
и чужие хоры в сердце запоют,
как могу забыть я, как могу предать я
мой родной Кинерет, молодость мою?*

С тех пор прошло почти два года, и Кинерет ни разу не подводил ее – даже тенью, намеком, возможностью. Не обманывал, не таил подводных камней, двойного дна, враждебного противотока. Пел и радовался вместе с нею, врачевал в минуты усталости, остужал,

согревал, утешал не хуже покойной раяшиной матери, ласкал лучше любого любовника, с готовностью молодого веселого пса пускался в легкомысленные игры и забавы. Два почти счастливых года.

Почти... Рахель улыбнулась и тихо, едва касаясь, погладила озеро. Ах, Кинерет, Кинерет, вот уж кого не в чем упрекнуть, так это тебя... А кого можно? Она поднялась на ноги, спугнув маленькую нежную волну резкостью своего движения. Кого можно...

Это началось не сразу: сначала жизнь на ферме казалась улучшенным вариантом и без того удачного опыта с Ханой на Кармеле. Дюжина девушек легко ладили между собой; споры, если и возникали, разрешались быстро и беззлобно. Да и о чем они могли спорить? – О сроках посева и уборки? О том, кому ходить за птицей, а кому – за огородом? В конце концов, все эти малые практические вопросы выглядели не столь существенными перед лицом главной, общей, заранее определенной задачи.

Работа на земле была ни в коей мере не целью, а средством. Ведь в конечном итоге они строили вовсе не ферму – они возводили самих себя – новых, свободных людей. Перед ними стояла задача быть счастливыми – ни больше, ни меньше. Они наконец-то получили практическую возможность претворить в жизнь все то, о чем столь горячо, умно и доказательно говорилось в полтавских, одесских, гомельских гостиных. Они точно знали, что делать, им никто не мешал, хватало и рук, и земли, и инвентаря. Их начинание было просто обречено на успех. Почему же тогда?.. Возможно, проблемы пришли из соседней Дгании?

Рахель поднялась на берег и медленно пошла вдоль озера. Нет, ребята из Дгании ничем не отличались от девушек с фермы. Те же частные задачи, та же общая цель. Те же песни и танцы в канун субботы, совместное плавание по Кинерету, прогулки на Голаны. Со многими Рахель сдружилась, а ее отношения с Берлом Кацнельсоном – тамошним верховодом – так и вовсе, казалось, переросли в нечто намного более близкое, чем просто дружба.

Впрочем, кто тогда не пробовал ухаживать за Рахелью – душой и сердцем любой компании? Высокая голубоглазая красавица с длинными, густыми, выбеленными солнцем каштановыми волосами, она не лезла за словом в карман, постоянно шутила, пела, смеялась. «Кинеретский соловей», – так называли ее в Дгании и на ферме. А уж ученые господа, журналисты и очкастые теоретики, приезжавшие из Европы и России своими руками потрогать воплощенную мечту о «новых людях», так и вовсе смотрели на Рахель, раскрыв рот. Она была здесь чудом из чудес.

Сам Адэ Гордон, поселившийся в Дгании пророк и гуру «религии труда», дошел до того, что заявил, будто она рождена для величия. Рахель презрительно фыркнула. Она бы никогда не поверила, что Гордон мог такое сказать, если бы не слышала это своими ушами! Для величия... От Учителя, столько лет писавшего о новой, свободной жизни, не омраченной прискорбными традиционными устремлениями и предрассудками, следовало бы ожидать совсем другого. Величие – вещь относительная. Величие возможно лишь в сравнении с чьей-то малостью, чьим-то ничтожеством... Разве новый человек в состоянии согласиться на такую убогую подлость? Разве может он желать подобного будущего себе или

другим? Новый человек рожден не для величия, а для счастья – счастья, достигаемого посредством свободного физического труда. Что может быть яснее и проще?

И ведь было, было – и труд, и счастье... И с Ханой на Кармеле, и здесь, на волшебном Кинерете – поначалу, пока сюда не стали сбегаться, как мыши на зерно, мелкие, неподходящие, чужие люди. Почему сейчас их становится все больше и больше? Почему к ним с такой легкостью присоединяются и свои – свои, забывшие простой рецепт истинного счастья? Берл давно уже не работает в поле, суетится с какими-то бумажками, строчит какие-то нелепые статейки, совещается в каких-то убогих комитетах. Зачем? Чего ему не хватало? Может, и впрямь захотелось «величия»? И если бы один только Берл – вон сколько их теперь развелось – этих маленьких коротконогих вождей с крепкими заседательскими задами и фальшивой бодростью ярмарочных зазывал – так и шастают вокруг, шустряют, заискивают, интригуют, шепчутся за спиной... пакость, пакость!

Она сжала кулаки и ускорила шаг. Впереди показались строения Дгании; кивнув сторожу, Рахель вошла во двор, прислушалась. Из столовой слышались громкие голоса: опять заседают! В каморке Гордона горел свет. Она постучалась.

– Рахель! – Адэ Гордон поднялся навстречу, протянул было руку, но тут же засмутился, отдернул на полпути, ухватил в кулак бороду. – Садись, пожалуйста. Могу я предложить тебе воды?

Рахель кивнула, взяла стакан. Еще немного Кинерета...

– Я не помешала?

– Что ты, что ты... – он показал на заваленный бумагами стол. – На все письма так или иначе не ответишь. Хотя надо бы. Что нового на ферме?

– Уезжаю.

Гордон процедил бороду через кулак и снова перехватил ее у самого подбородка.

– Значит, все-таки решила... окончательно?

– Да.

Они снова помолчали.

– Ну, а что говорит... – нерешительно начал он и снова остановился на полпути, не договорил.

– Берл? – подсказала Рахель. – А что он теперь говорит, Берл? Его теперь интересуют куда более важные проблемы. Единство пролетариата. Необходимость собственной газеты. Очередной конгресс.

– Не будь к нему чересчур строгой, Рахель, – мягко сказал Гордон. – Он делает все это не для себя. Берл хочет помочь другим.

– Другим, а? – иронически повторила Рахель. – Народу, должно быть? Спаси, возглавить и вести. Ах, оставь, Адэ. Фразы о народной пользе я слышала в маминой гостиной намного чаще, чем «здрате» и «до свидания». И знаешь что? Их твердят либо полные дураки, либо честолобивые ничтожества, которые остаются таковыми даже на эшафотах или в председательских креслах. Народ!..

Гордон развел руками.

– Я тоже не в восторге от его нынешней программы... Но не слишком ли ты требовательна? Вспомни: даже царь Давид грешил и честолобием, и мелочностью. А Михаль презирала его примерно так же, как ты сейчас презираешь Берла... И что получилось в итоге?

Рахель вздохнула. Погруженная в собственные мысли, она, казалось, не слышала Гордона.

– Куда все ушло, Адэ? Куда? Еще год назад мне казалось... мне казалось... – она подняла голову и взглянула на Учителя в упор. – Скажи, может такое быть, что мы ошибались? Что ты ошибаешься?

– Не знаю, – спокойно отвечал Гордон. – Время покажет.

– Не знаешь? – переспросила Рахель. – Это что-то новенькое. Прежде ты был намного решительнее. Как же тогда эти письма? Что ты отвечаешь людям? Тоже – «не знаю»?

– Я никогда никого не обманывал, Рахель, – сказал Гордон, отходя к окну. – Никого. Всегда говорил то и только то, во что верил. Если ты упрекаешь меня за это – воля твоя.

Рахель прикусила губу. Ее резкость и в самом деле была неоправданной и несправедливой. Гордон никогда не лез ни в вожди, ни в пророки, последовательно отказывался от предлагаемых ему почетных постов и должностей, даже не брал гонораров за публикуемые статьи. Кто же тогда ответит? – Вот ты и ответишь, девушка. Никто тебя не заставлял в это верить. А пока извинись. Она подошла к Гордону, обняла его сзади за плечи.

– Извини, Адэ. Сморозила, не подумав. Я не хотела тебя обидеть.

Рахель почувствовала, как он напрягся: поистине, здесь в нее были влюблены все, включая пожилых идеологов. Гордон неловко высвободился.

– Когда ты уезжаешь?

– Дня через три, сразу после того, как закончим с саженцами... – она усмехнулась. – И не делай такое похоронное лицо. Я вернусь через два года. Без Кинерета мне теперь, как без души. Выучусь на агронома и вернусь. Этой земле нужны хорошие агрономы, а не профсоюзные вожди. Заведу свою ферму, возьму хороших ребят – настоящих, без берловой гнили, без статей и заседаний. А ты у нас будешь ночным сторожем – все равно ведь по ночам не спишь. Идет?

– Идет, – улыбнулся Гордон. – Куда ты едешь?

– Сначала в Тель-Авив. Отец купил там дом. Поживу у него, подтяну французский, вспомню гимназию. Затем – во Францию, в Тулузу.

– Будешь писать?

– Каждую неделю. Прощай, Адэ.

– Прощай, Михаль.

Рахель вышла наружу, к ночному Кинерету. Решение, о котором она только что объявила Гордону, было принято тогда же – примерно в тот момент, когда он предложил ей стакан воды. Надо уезжать, и как можно раньше. Лучше потерять друзей, чем свободу.

После ее отъезда переписка закончилась, едва начавшись: Гордон посылал длинные письма, Рахель не отвечала. Зачем?

*О, Михаль! Как видна, сестра, поког ний связь...
Не смогла загубить твой сад орда сорняков,
На твоей сорочке не блекнет узора вязь,
И звенят браслеты сквозь стену глухих веков.*

*Сколько раз я видала тебя в угловом окне –
Эту гордую нежность и царскую эту стать...
О, Михаль! Суждено нам обеим – тебе и мне
Полюбить того, кого надо бы презирать.*

7.

Погруженный в текст письма Гордона, Илюша не сразу разобрал свое имя и среагировал скорее на возмущенное шиканье библиотекаря. Дима Рознер звал его от двери, жестикулируя неумеренно даже по понятиям здешних мест, где разговор без помощи рук воспринимается как разновидность немоты. Илья вышел в коридор.

– Что случилось? Война?

– Хуже, – мрачно отвечал Рознер. – Влагалла накрылась.

– Пожар, что ли? Говорил я Леше: не выдыхай после глотка – спалишь помещение.

– Тебе все хиханьки, – сказал Димка осуждающе. – А я, между прочим, серьезен как никогда. Хозяин барака вернулся.

– Ого! Постой, он же вроде бы где-то на юге швармой торгует...

– Фалафелями, – поправил Рознер. – А впрочем, какая разница? Так и так распугали ракеты всю тамошнюю клиентуру. Вот и вспомнил человек о родном сарайчике. Короче, освобождаем помещение. Срок – до завтра.

– До завтра? Он что, подождать не может?

Димка фыркнул.

– Ну ты нахал, брат. Скажи спасибо, что он нас за бомжей принял, денег не требует. Завтра, и ни днем позже, пока не передумал. Если, конечно, мы не хотим иметь дело с десятком громил из семейства Абу-Хацера... В общем, давай, Илюша, ищи варианты. Срочно! Я побежал.

«Надо же, как это не вовремя... – думал Илья, глядя вслед уходящему Димке. – Только-только работа пошла... столько источников... переводы... Жаль отвлекаться на эту скучную чушь. Хотя, с другой стороны, Влагалла тоже себя изжила. Надоели бесконечные споры о преимуществах спирта перед «Голдом» и наоборот – причем не только тебе надоели, но и самим спорящим. И вообще... даже самые интересные люди со временем становятся невыносимо скучны. Так... Можно недельку-другую перекантоваться у Галей. Они будут только рады. Но снимать все равно надо. Деньги на счету еще есть, жаль – отдельную квартиру одному не потянуть. Нужно компаньона искать. Погоди, погоди... где-то я что-то такое видел, совсем недавно...»

Он покопался в кармане куртки и вытащил горсть всякой всячины, распавшейся на ладони причудливым сочетанием монет, скрепок, использованных батареек, клочков бумаги и таблеток от головной боли. Это? – Нет... Это? – Да, точно... хорошо, что не выкинул... так... «Требуется компаньон на съем квартиры». Телефон. Рахель. Илья достал мобильник и набрал номер.

Дом на улице Афарсемон. Третий этаж. Дверь, звонок. Шлепань босых ног по плиткам пола. На вид этой Рахели было, наверное, лет двадцать пять. Очень короткая стрижка – почти наголо. Блеклая длинная футболка на два размера больше, так что в вырез попеременно видны то одна, то другая ключица, круглое плечо и черная тоненькая ляжка, ныряющая вниз, как колодезная цепь. Мятые застиранные шорты. Маленькие босые ступни – ну, их мы уже слышали...

– Здравствуйте, я Илья Доронин. Мы только что говорили по телефону...

Она подняла брови.

– Быстро вы. Такси? Машина?

– Что вы, какая машина... – поспешил опровергнуть Илюша. – Автобус сразу подошел.

Эта непонятная ему самому поспешность словно подразумевала, что обладание машиной или пользование таксомотором представляют собой если не уродство, то существенный недостаток. Видимо, Рахель в той или иной мере разделяла это мнение, потому что удовлетворенно кивнула. Они прошли в небольшую, стандартно обставленную гостиную: диван, кресло, журнальный столик, телевизор.

– Вот, – сказала девушка. – Мебель хозяйская. Кухня, ванная и две спальни. Хотите посмотреть счета?

Илья машинально взял в руки папку с аккуратно подшитыми счетами: свет, газ, вода, коммунальные налоги...

– Как у вас все... – он поискал слово. – Схвачено...

– Как? Схвачено? – переспросила Рахель и вдруг расхохоталась. Смех у нее был залиvistый, высокий, как у детей. Илья смущенно ждал объяснения.

– Извините, – сказала она, все еще посмеиваясь. – Правду говоря, все обстоит ровно наоборот. Я ужасная балаганистка. Чемпионка мира по безалаберности. Постоянно забываю самые простые вещи. Ну и вот – приходится прибегать ко всяким хитростям вроде этой папки. Ловушка такая, на Рахель. Иначе бумажки обязательно теряются, а потом начинаются неприятности.

– Ну да. Кто ж не боится неприятностей.

Девушка отрицательно помотала головой.

– Я не боюсь. Времени жалко. У меня очень мало времени. Вы студент?

– Филолог. Ивритская литература. А вы?

– Учусь на биофаке. Ботаника. Можете зайти в комнату и вообще осмотреться. Если еще заинтересованы.

Неловко улыбаясь, Илья шагнул в коридор. Невелика квартирка, что и говорить. Комнатушка – метров двенадцать. Кровать и шкаф, ни стула, ни стола. Ни дна тебе, ни крышки. А ты какую крышку хотел? Атласный балдахин в стиле Людовика Пятнадцатого? Во Влагалле, небось, на полу спал, не жаловался...

Девица, похоже, ничего – не вредная. И счета все подшиты, порядок блюдет. Времени у нее нету, видите ли... Что за птица такая? Может, лесбиянка? Вообще-то геи кучкуются в Тель-Авиве. Там на счет ее ориентации даже сомневаться не приходилось бы: взять хоть эту стрижку налысо. Такие берут в свою квартиру мужика-компаньона в качестве прикрытия, родителям голову дурить: вот мол, живу с бой-френдом, вполне себе нормативно...

А что, версия вполне рабочая. Заодно и объясняет, почему комната еще не сдана. Смотри: девушек она брать не может – любимая подруга заревнует. Да и парня нужно найти такого, чтобы, во-первых, не приставал, а во-вторых, согласен был бы в случае чего предков динамить. Лучше всего для такой роли подходит гей, но геи, как уже сказано, в Иерусалиме не кучкуются. Проблема.

Ну и что? Ее проблема, не твоя. Тебе-то какая разница, с кем она спит – с папой римским или с мамой? – Да в общем-то, никакой разницы. Жалко просто: такая красивая девка... Илья вернулся в гостиную. Девушка ждала, стоя ровно на том же месте, где они пре-

рвали разговор. Ей шла даже эта дурацкая лысина, словно подчеркивающая трогательную линию затылка, правильный овал лица, полные губы, изысканный разрез серых задумчивых глаз.

– Мне подходит. Можно въехать сегодня же вечером?

Она снова расхохоталась.

– Вот так? Прямо сразу? А вдруг я не согласна? Может, вы мне не подходите...

«Ну вот, – подумал Илья. – Сейчас спросит, не гей ли я, и – все, пиши пропало». Он вдруг ощутил разочарование, даже какую-то очень неприятную горечь, тем более удивительную, что заранее не строил никаких планов именно на эту квартиру. Может, представиться геем, а там посмотрим?

– Я тоже очень занят, – торопливо произнес он. – Учеба, работа, знаете ли. Все силы отнимает. Больше ни на что не остается, ни на что. Буквально. Прихожу поздно, ухожу рано. Но бесшумно. И не всегда. Я вам не помешаю, это точно. Зато помогу. Я руками что угодно умею – и электрик, и сантехник, и слесарь по особо важным поручениям. Могу компьютер починить. Готовить умею. А полы так и вовсе мою с раннего детства. Идеальный компаньон.

Рахель слушала, насмешливо прищурившись.

– Что ж... – она выдержала издевательски длинную паузу. – Действительно, звучит в высшей степени заманчиво. Хотя и не очень понятно, как можно использовать ваши разнообразнейшие способности в условиях вашей же тотальной усталости, бесшумности и постоянного отсутствия на месте.

Усевшись в кресло, Рахель принялась задумчиво покачивать ногой, словно ища решение трудной задачи. Круглые загорелые колени, стремительный абрис длинных исцарапанных голеней, точеные лодыжки. Неужели выгонит? Илья сделал последнюю отчаянную попытку.

– Если вам нужны рекомендации с факультета...

– Нет, господин Доронин, – улыбнулась она. – Рекомендаций не требуется. Я вас знаю и так.

Новый взрыв хохота – уж больно глупо, наверное, выглядело его изумленное лицо. Илюша почувствовал досаду. Она явно любила посмеяться, эта Рахель. Прямо воплощенное жизнелюбие, черт бы ее подрал. Девушка сунула руку за кресло и вытащила широкополую соломенную шляпу.

– Так узнаете?

Так?.. Ну конечно. Судя по шляпе, это была та самая девица с тяпкой, которую он не раз видел, проходя через ботанический сад университета.

– Шляпу – да, узнаю, – сухо сказал Илья. – Она у вас такая же смешливая, как и ее хозяйка?

Рахель примиряюще подняла руку.

– Не сердитесь, хорошо? Мы со шляпой смеемся, в основном, сами над собой. Или над ситуацией. Согласитесь, совпадение невероятное. Потому что, честно говоря, Илия, я знаю вас не только по ботаническому саду. Видите ли, мои родители очень дружны с семейством Галь. По-моему, у них даже были планы насчет нас с Лироном. Знаете, как это бывает у дружащих семьями: а хорошо бы нам их поженить... ну и так далее. А потом я не раз слышала о тебе от Роны.

– Ничего себе... – Илья сел на диван и потер лоб. – Почему ты сразу не сказала?

Она пожала плечами.

– Хотела убедиться.

– В чем?

– В том, что ты подходишь. Думаешь, до тебя мало народу здесь перебивало? Объявление в универе уже месяц как висит.

– И что же, подошел?

Вместо ответа Рахель указала на столик, где лежал ключ. Илюша поспешно сгреб его в ладонь.

– Так я приду чуть попозже, ладно? – сказал он, еще не веря, что все так быстро и хорошо устроилось. – У меня вещей немного, всего один рюкзак и коробка с книжками.

– Хозяин-барин... – она смотрела на него, чуть прищурив смеющиеся глаза и склонив голову набок. – Я освобожу тебе полку в холодильнике.

– Тогда до встречи!

Илья выскочил было из комнаты, но тут же вернулся.

– Слушай, а чем это я тебе так подошел, если не секрет?

Рахель молчала, покачивая ногой. «Могу поспорить – сейчас она скажет что-нибудь вроде того, что я не от мира сего, астронавт такой...» – подумал Илья. Девушка улыбнулась.

– Ну, во-первых, ты не от мира сего. Астронавт такой. А во-вторых, ты витаешь в правильном космосе. Точнее – в том же космосе, что и я. Согласись, это важное качество для компаньона...

Илья вприпрыжку сбежал по лестнице. Холодный воздух собачьим носом ткнулся в его разгоряченное лицо и отскочил, обжегшись. Ждать автобуса означало стоять, а стоять Илья не мог сейчас в принципе. Каждая молекула в нем пела и требовала движения, а потому малейшая остановка грозила немедленным распадом, разбегом, раскатом души и организма. Чему ты так радуешься, чувак? Ну, нашел комнату, дело немаловажное, но чтобы из-за этого пускаться в этакый галоп? Придержи лошадей...

Дорога с горы Гило неслась ему навстречу крутым спуском, стремительным, как линия ее исцарапанной голени. Где она так ухитрилась? – Ах да, в саду. Она ведь работает в саду. Ты десятки раз проходил мимо, даже не догадываясь заглянуть под огромную соломенную шляпу. Идиот... Впереди светились сероглазые огоньки Катамонов, в зыбких очертаниях ночных холмов то и дело назойливо проявлялись то коротко стриженный затылок, то ключица, то круглое плечо... или круглое колено? Пропал ты, Илюха, кранты. Приходи ко мне присниться и затылок, и ключица, и... что там дальше? Ах да: и жучок, и паучок, и медведица...

– Эй, она же лесбиянка, помнишь?

– Ну да, брось: лесбиянки такими глазами не смотрят.

– Откуда ты знаешь? Много ли ты знал лесбиянок?

Илья решил посчитать и не насчитал ни одной. Потом он попробовал припомнить, когда в последний раз бывал в таком взъерошенном состоянии и тоже не припомнил. Память наотрез отказывалась слушаться.

– А может, память как раз в полном порядке, а? Может, таким ты и не бывал еще никогда?

– Каким – *таким*?

– Ну, вот *таким*, воздушным, рабегающим во все стороны каждой своей молекулой?

– Похоже – нет, не бывал.

– Даже с Леной?

– Даже с Леной...

Все время что-нибудь мешало, давило, отвлекало. Все время – с неполных восьми лет, с той страшной ночи на вибрирующей, вытряхивающей последние слезы вагонной полке, в обнимку с милосердной металлозубой смертью. Не каждому выпадает стать в таком возрасте настоящим главой семьи – со всеми проблемами, головной болью и ответственностью, связанными с этой нелегкой ролью.

Илюша отнюдь не рвался занять это место. Но кто-то ведь должен был заботиться о беспомощной матери, о крохотной Ирке, которая поначалу так упорно отказывалась спать, есть, жить, словно осознавала, навстречу какой реальности ее выдернули из материнского чрева. Ха! Мальчик прекрасно понимал ее протест: он и сам был бы не прочь убраться куда подальше – хоть в небытие, если уж бытие не предоставляет надежного убежища человеку, даже когда этот человек еще ребенок. Но он не мог! Не мог! Потому что на шее у него сидела семья.

Нельзя сказать, что эти обязанности оказались для Илюши чем-то принципиально новым: разве не он оставался в семье за старшего во время длительных отцовских отлучек? В общем и целом он прекрасно представлял себе объем и порядок действий. Неожиданности тоже не пугали его: уж если Илюша что и унаследовал от отца помимо поразительного внешнего сходства, так это непререкаемую уверенность в том, что не существует на земле такого дела, проблемы, задачи, с которой он не в состоянии справиться самостоятельно – стоит лишь хорошенько разобраться, вникнуть в принцип и поудобнее ухватиться.

Правда, в отличие от отца, Илюше приходилось справляться без помощников: мать решительно ни на что не годилась, особенно в первые месяцы после того, как окончательно поняла, что муж не вернется. Она почти перестала разговаривать; руки у нее опускались в самом буквальном смысле – ни с того ни с сего плетью повисали вдоль тела, забывая, выпуская, роняя то, что держали мгновением раньше: ложку, книжку, кастрюлю, ребенка. И хотя Илюша придумал для матери несколько правил, достаточно простых, чтобы можно было требовать их беспрекословного соблюдения – например, не выходить из комнаты без его разрешения, пользоваться пластиковой посудой, кормить Ирку только в его присутствии – она постоянно забывала этот несложный кодекс. Илюша сердился, выговаривал нарушительнице. Мать вздыхала:

– Боже, какой ты стал зануда... – но, в общем, подчинялась.

Зануда... станешь тут занудой, когда нужно одновременно успеть и на мытье полов, и за детским питанием, и в магазин, и на кухню, где кипятятся пеленки, и в комнату, где орет некормленная сестра. Ирка, кстати, тоже получила свой свод законов, к которому, в противоположность матери, привыкла на удивление быстро.

Через полгода полегчало: мать немного отошла, перестала ронять вещи и временами даже улыбалась во время иркиного купания.

Как раз в один из таких моментов отворилась дверь и вошел отец. Он совсем не изменился. Мать охнула и стала привставать.

– Сидите, – сказал отец. – Я за вещами.

И, пройдя к шкафу, принялся копаться в ящиках и на полках. Илюша выбежал на кухню и вернулся с ножом. Он не ожидал отцовского визита, а потому действовал непродуманно и в результате наделал ошибок. Во-первых, нож был большой и потому не слишком удобный. Во-вторых, Илюша ударил не снизу, а сверху, так что отец успел заметить и перехватить его движение. Мать снова охнула. Нож упал на пол. Упал и Илюша, отлетев от толчка в угол. Он не стал вскакивать сразу: неудачу следовало обдумать и выработать более надежный план действий. Может, попробовать топором?

– Звереныш, – сказал отец. – Тварь темная.

Рюкзак он унес еще прежде, а теперь взял большую коричневую сумку. Сумка быстро наполнилась, и отец стал оглядываться, ища другую, хотя должен был бы помнить, что других больших сумок у них нет. Довольная Ирка плескалась и гугукала в своей ванночке.

– Леша... – прошелестела мать.

– Ладно, – сказал отец, поднимая сумку. – Пока хватит.

На следующий день Илюша сменил личинку замка и добавил в кодекс новое правило: запирает дверь. Он также заточил несколько гвоздей-пятнашек, выдержал их на подоконнике, чтоб хорошенько заржавели, а потом спрятал в комнате, в разных местах. Теперь даже самое малое ранение в ногу должно было стоить врагу неперенного заражения крови и очень мучительной смерти. Очень-очень мучительной. Так, вооруженный гвоздями, замком и планом, мальчик стал ждать следующего нападения.

Он ждал, не расслабляясь ни на минуту, даже во сне, ждал неделя за неделей, месяц за месяцем, год за годом. Он совершенствовал оружие, оттачивал план, а враг все медлил и не шел.

– Пока хватит, – сказал враг, уходя.

Надолго же ему хватило! Но эту пассивность нельзя было списать на трусость: Илюша слишком хорошо знал своего противника, чтобы тешить себя подобной иллюзией. Враг просто выбирал подходящий момент, а потому следовало поддерживать постоянную боеготовность.

Впрочем, жизнь состояла не из одного только этого напряженного ожидания. Мать, в общем, притихла, словно впала в вечную спячку, зато подрастала Ирка, каждым своим самостоятельным движением претендуя на независимость, пробуя на прочность частокोल илюшиных правил, расшатывая заборы и нарушая границы. Это тоже требовало внимания, раздражало и отвлекало. В школу сестра пошла с радостью, удивившей Илюшу. Сам он это учреждение ненавидел еще со времен мытья коридоров, но знал его казенную, лицемерную, воняющую туалетом и хозяйственным мылом изнанку достаточно хорошо для того, чтобы успешно дурить систему, прямыми и обходными путями перепрыгивая из школы в школу, из класса в класс – вплоть до аттестата.

Весной 99-го у матери обнаружилась опухоль, и в комнату их вечной коммуналки задом наперед, как будто подчеркивая страх перед будущим, вползло неприятное слово «рак» – вползло и поселилось в каждом укромном уголке, рядом с проржавевшими насквозь гвоздями.

ми-пятнашками. Парадоксальным образом болезнь словно вдохнула жизнь в наташино равнодушное полумертвое бытие: мать встрепетнулась, стала бегать по библиотекам, врачам, консультациям.

Илюша в то время неплохо зарабатывал сборкой игровых приставок и ремонтом компьютеров; этих денег с лихвой хватало на обычные расходы, но никак не на лечебные процедуры. Он перетер проблему с умными приятелями – те в один голос советовали уезжать: в Израиле медицина хорошая и дармовая, заодно и от армии закосишь... Мать встретила новый проект с небывалым воодушевлением, заговорила о втором рождении, обновлении, дополнительном шансе. Ей вдруг разом и до отвращения опостылела коммуналка, раскаленное петербургское лето, вонь мусорных баков во дворе, унылый телящик, клешнястая смерть, поселившаяся за шкафом и под кроватью, а пуще всего – воздух несчастья, которым ей пришлось дышать вот уже почти десять лет, с отцовского ухода.

Кстати об отце: для оформления документов требовалась его подпись – согласие на вывоз детей. Впервые за эти годы Илья стал наводить справки – с тем же осторожным омерзением, с каким по острой необходимости просовывают руку в сырую вонючую нору. Наконец друг свел Илюшу с парнем, специализирующимся на постоянных поисках истины и себя в ней. На момент встречи поисковик пребывал в хипарях, но совсем незадолго до этого прошел через Игнатъича.

По его словам, Учитель здравствовал и процветал, а секта по-прежнему обладала устойчивым, хотя и не слишком большим ядром, причем упор в «воспитании Светом» делался теперь не на детей, а на молодых людей, преимущественно – девушек от восемнадцати и старше.

– Понимаешь, – говорил хипарь. – У Игнатъича сейчас теория, будто Свет приходит в мир только через новорожденных. А для этого телки нужны помоложе да поздоровее. Он их, значит, собирает, башку дурит, а потом подкладывает под особо светлых апостолов. Вернее, под апостола. Есть у него там один, особо елдастый осемянка. Апостол Петр, блин. На тебя похож, только лысый.

– Фамилия? – похолодев, спросил Илюша.

– Вроде как Доронин, – отвечал хипарь. – Но я не уверен. Так это он тебе нужен? Родственник? Ну, чувак, этого так просто не заставишь. Его ведь от телки к телке водят, как быка-производителя. Согласно расписанию осеменения. Неплохая работка, а? Может, зря я оттуда свалил...

Илюша записал несколько телефонов. В противоположность мнению хипаря, найти апостола Петра Доронина не составило большого труда. Голос в трубке звучал до ужаса знакомо.

– Надо встретиться, – сказал Илюша.

– А с кем я разговариваю?

Илья откашлялся.

– Это Илья.

– Ага, – после секундной заминки произнес отец. – Не узнал. Хрипишь сильно. Простудился или просто волнуешься?

– Надо встретиться.

– Зачем? Пырьать ножом станешь?

Илья объяснил.

– А какой мне резон подписывать? – усмехнулся отец. – У вас что – деньги есть?

Илюша вдруг разом успокоился. Торговаться он умел хорошо.

– Комната, – пояснил он. – Мы выписываемся, ты остаешься.

– Ага. Комната и тысяча баксов.

«Сволочь...» – подумал Илюша, но вслух согласился.

Встречу отец назначил в насквозь продуваемом пригороде, в одной из квартир-осеменявок. Был конец ноября, холодного и бесснежного. Разыскивая нужный дом, Илюша шел от метро по чавкающей грязи, старательно сосредоточившись на вопросе, отчего эта мерзость отказывается промерзнуть даже при такой минусовой температуре. Ответа не находилось, и слава Богу, потому что иначе пришлось бы думать о чем-то другом.

Отец оказался поразительно маленьким: Илюша помнил его великаном. Он действительно очень сильно облысел. Раздеваться Илья отказался. Прошли на кухню, он достал бумаги, показал:

– Подпиши здесь и здесь.

Отец взял ручку.

– Деньги принес?

– Принес.

– Покажи.

Илюша вынул пачку, дождался, пока отец подпишет, затем вернул деньги в карман, собрал документы и тогда уже с наслаждением ударил кулаком в лицо, похожее на ежедневное отражение в зеркале. Опрокинув табуретку, отец сел на пол между плитой и холодильником.

– Оставь деньги, – прохрипел он и завозился, пытаясь подняться. – Это не для меня.

В дверном проеме мелькнуло испуганное женское лицо. Илюша достал заранее припасенный газовый пистолет. На этот раз он пришел с планом.

– Видал? Сиди, не рыпайся, тварь темная. Бычара тупой. Жди, пока на случку позовут.

Горохом ссыпавшись по лестнице, Илья высочил из подъезда. Ветер встретил его пощечиной; выставив вперед локоть для защиты от ударов ноября, он двинулся по чавкающей марсианской пустыне. О! Вот почему эта грязь не замерзает при минус семи: просто она не земная, а марсианская! Все прошло по плану, но радости от успешно проведенной операции не было и в помине. Наоборот – на сердце мерзла все та же марсианская мразь, а кулак горел, как оскверненный.

Он остановился, присел и сунул кисть руки в коричневую лужу с колкими айсбергами льдинок. Стало полегче. Из-за угла вывернулась навстречу высокая круглоголовая фигура в короткой куртке. Илья обернулся: сзади тоже чернел кто-то, пониже. Неужели по его душу? Спасибо тебе, папа... Выпрямившись, он сжал в кармане рукоятку газового пистолета. Бежать нельзя: догонят непременно, вдвоем, и тогда уже точно затопчут. Единственный шанс – ударить первым. Илья глубоко вдохнул и стартовал навстречу высокому – быстрыми мелкими шагами, ставя ноги пошире для пущей устойчивости.

Высокий приближался. В темноте Илюша видел лишь его силуэт. Вот он сделал движение, проверяя, застегнута ли куртка, поднял

локти, натягивая на голову капюшон, затем еще что-то... что? Илья прибавил ходу, подавляя в себе желание оглянуться на второго: пусть высокий знает, что вся сила противника нацелена только на него. Теперь они шли, как два самолета на встречных курсах: кто не выдержит, дрогнет, отвернет?

Между ними оставалось не более десяти метров, когда противник вступил в световой круг фонаря, и Илюша увидел его лицо... лицо?.. – нет, не лицо!.. – марсианское рыло с вытарашенными кругляшами гипертрофированных гляделок, кабаньим пятакон вместо носа и гладкими бурыми щеками. Уже потом, снова и снова прокручивая этот эпизод в замедленной съемке памяти, Илья понял, что перед ним был всего-навсего человек в противогазе: нападавшие страховались против его газового пистолета или баллончика, или других подобных неожиданностей... – но тогда... тогда он был абсолютно уверен, что речь идет о самой что ни на есть дикой, гадкой, нечеловеческой, инопланетной мерзости, более чем естественной в этом гадком, нечеловеческом, инопланетном антураже спального петербургского пригорода, в этом мерзлом, пустынном, гнилом, ночном ноябре, сочащимся грязью, и смертью, и холодом.

Тогда он слишком испугался, чтобы планировать или анализировать свои действия. Он просто поднял вверх обе руки, стараясь казаться больше и, отчаянно воя, ринулся на прорыв – к жизни, к свету, к земному теплону бытию, к обновлению, о котором твердила мать, к возможности родиться еще раз – другим, веселым, здоровым и, главное – счастливым. Счастливым! Он так этого хотел, что неудержимостью своего порыва напоминал стадо перепуганных мамонтов.

Что-то звякнуло об асфальт – не то кастет, не то арматура; высокий марсианин отшатнулся, так и не сделав попытки ударить, перехватить, помешать. Оставив его за спиной, Илюша несся вперед, и радость закипала в его жилах, и станция метро выростала перед ним, как первый вокзал на недлинном пути, где все остановки известны заранее, а конечная называется «Счастье».

Улетали 31 декабря, под Новый год, Новый век, Новое тысячелетие. В этом тоже можно было усмотреть символ Большого обновления, тем более, что получилось так не специально, а из-за наличия свободных мест только на это число. В последнее время много говорили о «Баге-2000», и нормальные люди предпочитали миновать ночь календарного перелома в благоразумном удалении от компьютеров, приборов, и уж тем более – самолетов.

В аэропорту, ожидая посадки, смотрели актуальную телевизионную дискуссию. Спорили два эксперта: первый, длинноволосый и в свитере, предсказывал, что назавтра мир проснется в руинах – если проснется вообще; второй, с квадратным лицом министро-депутата, снисходительно улыбаясь, уверял, что все под контролем, а потому не следует поддаваться панике. Мать тревожно поглядывала на Илюшу. Не то чтобы она верила первому эксперту – просто второй пугал ее гораздо больше. Ее историческая память говорила, что именно такие заверения всегда предшествуют самым разрушительным катаклизмам.

– Может, не полетим?

Сын укоризненно покачал головой:

– А как же второе рождение, мам? Ты что, хочешь вернуться *туда*?

Нет, *туда* матери не хотелось ни в коем случае. Ирка дернула ее за рукав.

– Ма! А куда деваются пассажиры, когда самолет разбивается? Прыгают с парашюта?

– С парашютом, – поправил Илья.

– Я не тебя спрашиваю, а маму!

Девчонка, чем старше, тем больше отбивалась от рук.

Полет прошел замечательно. Стюардессы разносили еду и напитки с таким видом, будто делали это в последний раз. Второй пилот расхаживал взад-вперед по полупустому салону и тревожно ощупывал взглядом лица пассажиров и багажные полки, словно ожидая, что отовсюду вот-вот начнут выскакивать взбунтовавшиеся электронные схемы и микропроцессоры. Он явно ощущал себя если не капитаном Гастелло, то по крайней мере его помощником.

Новый год встретили в израильском аэропорту. Там, видимо, тоже боялись катастроф, потому что заблаговременно отключили компьютеры, и Дорониным, в числе немногочисленных прочих, пришлось ждать несколько часов, пока соответствующие спецы не удостоверятся, что в их драгоценном хозяйстве и в мире вообще не сдвинулось ничего, кроме стрелки часов – да и та ровно настолько, насколько ей полагалось сдвинуться по ее привычному, раз и навсегда размеренному ходу.

Честно говоря, это смущало и в какой-то степени даже разочаровывало. Еще бы – столько ждали, столько готовились, а вышел совершеннейший пшик, обычный тик-так: езжайте дальше, господа пассажиры, оркестра не будет, да и где ему встать, оркестру, если платформы нету, да и откуда ей взяться, платформе, – здесь, в кустах посреди перегона?

– Гм... а как же тогда часовые стрелки, господин машинист? Полночь, век, миллениум?..

– Стрелки, господа, стрелками, а время, господа, – временем. Разные это вещи. Стрелки часов, действительно, ваши, а вот время – нет, извините.

– Это что же тогда получается: еще не доехали? Век вроде бы и не начался, да? Так вас следует понимать, господин машинист?

– Отчего же не начался, господа? Начался, давно начался. Вы просто не заметили, всего и делов. Не заметили. Не заметили. Не заметили... Ту-ту-у-у...

Новая жизнь навалилась новыми делами. А может, новыми были только дела? Черт его знает... известно, что большое количество новых дел легко принять за новую жизнь. Матери, во всяком случае, стало легче: болезнь стусевалась, спряталась, залегла. Ирка мгновенно обросла друзьями, целыми днями пропадала на улице, дома перешла на иврит, демонстрируя тем самым свое преимущество перед взрослыми, издеваясь над языковой беспомощностью матери, над тяжелым акцентом брата.

Кратчайший путь в местное общество лежал через армию: именно там максимально быстро приобретались знакомства, сленг, навыки и тот неопределимый словами базовый набор вкусов, привычек и мнений, лишь переварив который, можно было с полным правом почувствовать себя своим. Демобилизовавшись, Илья поступил в университет, дальновидно избрав будущей специальностью не

модные, но иссушающие душу высокие технологии, а тривиальную, зато надежную механику.

На втором году армии у него появилась постоянная подруга Лена; вскоре они съехались с явным прицелом пожениться сразу после того, как Илья выйдет в инженеры с высокой зарплатой и гарантированным процветанием. Потом сразу планировались дети – как минимум, четверо. Будущее казалось расписанным на сто ходов вперед. Вот только была ли эта жизнь «новой» – в том смысле, на крыльях которого Илюша летел когда-то к светившейся вдали станции метро – своей первой остановке на пути к счастью? Летел, едва касаясь марсианской грязи, без руля и без ветрил, без правил и без оглядки?

Нет, следовало честно признать, что жил он, в общем, по-старому, хотя и в новых обстоятельствах. Изменился список дел, но суть их оставалась той же. К заботам о беспомощной матери и войнам со все более неуправляемой Ирккой теперь добавилась еще и Лена. Впрочем, эта дополнительная ноша практически не чувствовалась: надежные рельсы жизненных правил, которые Илья начал прокладывать еще в восьмилетнем возрасте, могли перенести и не такие нагрузки.

Могли, и, конечно, перенесли бы... если бы все не обрушилось разом, как паучий домик в углу веранды от одного касания тряпки, взмаха метлы, нескольких капель дождя, легкого порыва ветра, дыхания первых холодов... Господи, да мало ли что в состоянии смахнуть тонкую паутинку, которая наверняка казалась ее создателю сплетением мощных тросов, прочной рельсовой конструкцией, основой основ?

Как выяснилось, рак не остался в прежнем марсианском мире, в комнате коммуналки, под шкафом и под кроватью, рядом с ржавыми гвоздями-пятнашками. Он долго прятался в материнском теле, готовился, собирал силы, шлифовал и оттачивал план, как в свое время это делал сам Илюша. Как и Илюша, он вернулся во всеоружии и атаковал так быстро и решительно, что, когда люди спохватились, было уже поздно.

Мать разрезали и зашили, признав неоперабельной; она умирала, исчезала прямо на глазах, как пятно от дыхания на холодном стекле. Уходила, наотрез отказываясь смириться с этим, хватаясь за самую малую надежду, за тень надежды, за рассказ о тени надежды, за намек на этот рассказ. По принятой здесь практике, ей сразу объявили приговор, но она так и не поверила в него – до самого конца. Вся ее недлинная бестолковая жизнь свидетельствовала о том, что чудесное спасение появляется непременно, откуда ни возьмись – как тогда, на черной наледи у площади Льва Толстого, как потом – снова и снова.

– Ведь случается, что и от такого выздоравливают, правда, доктор?

Врач врал, отводя глаза и неохотно пожимая плечами:

– Ну да, всякое бывает...

– Вот видите!

Этого пожатия плеч ей хватало на неделю:

– Илюша, доктор сказал, что я поправлюсь!

– Конечно, мама... конечно, поправишься...

Илья сидел у ее постели, не отходя. Он никогда не мог себе представить, до какой степени не может обходиться без постоянно-

го материнского присутствия – если не физического, то мысленного, воображаемого – в виде заботы, планов на будущее, мелких и крупных поручений, досады за ее вечные промахи и нелепые потери. Вообще-то, эту зависимость можно было предположить заранее: все-таки он ходил за ней, как за малым ребенком, начиная со своего восьмилетнего возраста, а если считать отцовские отлучки, то еще и раньше – с четырех лет.

Рядом с умирающей Наташей он ощущал себя даже не сыном, а родителем, теряющим собственное дитя. По странному стечению обстоятельств так и не успев побыть ребенком, так и не успев толком осознать, что это значит – жить ради самого себя, он всегда жил ради кого-то другого – ради Ирки, ради Елены – но, в первую очередь, ради матери. Он элементарно боялся остаться без нее, остаться с пустотой, задохнуться в отсутствии смысла, как в отсутствии воздуха. Кто вокруг мог по-настоящему понять его горе и страх? Кто?

Уж во всяком случае не шестнадцатилетняя Ирка, с головой ушедшая в омут своих первых прыщавых любовей. Слава Богу, она хотя бы не попрекала Илью чрезмерным вниманием к умирающей, как это делала Лена. Будущая илюшина жена всегда чувствовала в Наташе соперницу, причем намного более сильную, чем она сама. Но невероятные, ни в какие ворота не лезущие масштабы привязанности Ильи к матери стали видны только в последние месяцы, когда та окончательно слегла.

Могла ли Лена с этим смириться? Наверное, могла – но не захотела. Выходя замуж, женщина рассчитывает получить все яблоко целиком, а не какую-то ущербную долю, огрызок, объедок. Конечно, в итоге ее желание исполняется далеко не всегда, но тем не менее, нет для женщины ничего унижительней, чем заранее, еще до свадьбы, отказаться от своих законных притязаний.

В данном случае не могла помочь даже неминуемая близкая смерть соперницы: Лена не сомневалась, что и мертвой свекровь никуда не денется, останется с сыном в его воспоминаниях, в его горе, будет тенью бродить по комнатам, заглядывать в шкафы и кастрюли, искать свои черты в пока еще не родившихся детях. Мужа следовало завоевать до ее смерти. Ведь нет ничего безнадежнее, чем сражение с мертвецами – хотя бы потому, что мертвецы, в отличие от живых, не совершают ошибок. Нет, нет – Наташу ни в коем случае нельзя было отпускать непобежденной.

Поначалу Лена сражалась в одиночку, но это лишь ухудшило ситуацию: погруженный в свое несчастье, Илья либо вообще не замечал те мелкие придирки, капризы и недовольные гримасы, которыми женщина обычно выражает свои самые серьезные претензии, либо наоборот, реагировал с неоправданным раздражением, хлопал дверью, уходил, отказывался вступать в разговор. Он словно перестал понимать язык, на котором она столь успешно общалась с ним прежде, язык, на котором она собиралась общаться с ним потом – после свадьбы и до конца жизни. Это все больше и больше походило на катастрофу.

В принципе, следовало признать поражение уже тогда, но Лена предпочла бросить в бой союзника: ребенка. О, сколько таких маленьких, ни в чем не повинных солдат ежедневно отправляется воевать на чужих, безнадежных и бесполезных войнах! Сколько их там калечится, гибнет, попадает в плен, пропадает без вести...

Лена тщательно спланировала начало кампании: выбрала редкий момент, когда Илья вернулся из больницы домой, надела заветное платье – чего он, впрочем, не заметил, приготовила его любимые спагетти, которые он вяло покрутил вилкой и отставил в сторону, поставила на стол бутылку хорошего красного – он даже не обратил внимания, что она налила только ему – так и тянул из бокала – молча, безразлично, явно не ощущая вкуса.

– Что ж ты мне не наливаешь? – с напряженной игривостью сказала она, устав ждать.

– Да, действительно... – Илья устало пожал плечами и потянулся за бутылкой.

Лена прикрыла бокал ладонью.

– А вот и нет! Мне теперь нельзя!

Она приняла загадочный вид. Сейчас он спросит, почему... А может, догадается сам...

– Ну как хочешь... – он вернул вино на стол и поднялся. – Извини, мне нужно немного поспать. Я пойду.

– Я беременна! – крикнула Лена ему в спину. – Слышишь? У нас будет ребенок! Я взяла очередь на ультразвук.

Он остановился. Нет, он не бросился к ней с поцелуями, не упал на колени, не прижался ухом, губами, сердцем к ее замечательному животу, в котором крохотной запятой зрело неимоверное чудо – их общий ребенок, их счастье и будущее, самое ценное, что только может быть в мире для них обоих. Он просто приостановился и слегка повернул голову – одну лишь голову.

– Что ты сказала?

– Ты слышал, – ответила она сквозь подступающие слезы.

– Да, слышал... – он немного помолчал, потер ладонью лоб. – Когда, ты говоришь, ультразвук? Хотя нет, напомни мне завтра: нужно проверить, не пересекается ли с маминими процедурами... А сейчас извини, мне нужно поспать.

Лена не стала напоминать. Ультразвук она заменила абортom. Успешная, красивая и самостоятельная девушка имеет право рассчитывать на нечто большее, чем чужой огрызок, не так ли? Ее интерес к Илье умер сразу вслед за ребенком, незадолго до наташной смерти. Впрочем, сообщать об этом Лена не стала, приберегла на потом. Безошибочная интуиция мести подсказывала ей, что так будет больнее.

Последние дни мать прожила на морфии, в наркотическом полубреду. Илюшу она принимала за отца, называла Лешей, и обижалась, что он не целует ее в губы.

– Ну погоди, Лешка, – говорила она, заговорщицки подмигивая. – Дай мне только поправиться, я тебя на части разорву. Закроемся в ванной. Ты только Ольге заранее скажи, чтобы не занимала. А Илюшке конструктор купим, ладно? Жаль, он еще маленький, в кино не отправить. А то можно было бы в комнате. А помнишь, как ты тогда поскользнулся?..

Мать принималась кхекать, что означало смех, и переходила на шепот, на совсем уже интимные вещи, слушать которые было бы естественно мужу, но мучительно и горько Илюше – не то сыну, не то отцу. Она поняла, что уходит, лишь за минуту до смерти, сказала, удивленно приподняв брови:

– Знаешь, Леша, по-моему, я умираю. Поцелуй меня, ну пожалуйста. Я тебя очень прошу.

Он наклонился и поцеловал мать в губы – за мужа. Не зря Ленка ревновала. Сын, муж и отец. Вот ведь какая странность.

На похоронах кроме Илюши была только Ирка с бой-френдом. Потом подошла Лена, и он вспомнил о ребенке, и спросил, как прошел ультразвук. Она подобралась, набирая в рот текст, многократно проговоренный и отрепетированный наедине с собой. В качестве наживки там фигурировал вопрос, вполне невинный, хотя и заданный саркастическим тоном.

– Почему это тебя интересует?

– Ну как... – неловко улыбнулся Илья, заглатывая крючок по самые кишки. – Отец все-таки.

– Отец? – повторила Лена и сощурилась, чтобы придать взгляду дополнительную фокусировку ненависти. – Никакой ты не отец, Илюшенька. Ты ублюдок, понял? Натуральный ублюдок. Ублюдки не должны иметь детей. Я сделала аборт. Будь здоров.

Оглушенный, Илья смотрел, как она, триумфально задрав голову с новой прической, пробирается на каблуках между могилами кибуцного кладбища, и думал, что когда-то уже слышал нечто подобное... ах, да... вспомнил.

– Илья! Эй, Илья...

Илья повернулся к Ирке и сразу понял, что у нее тоже есть что-то заготовленное. Вот ведь нажились...

– погоди, а? – попросил он. – Дай дух перевести.

– Нет уж, – твердо отвечала сестра. – И так сколько годила все эти месяцы. Я ухожу.

– Уходишь?

– К Эйтану. Жить. У его родителей большой дом, они не возражают.

– Ага... – тихо сказал Илюша, обращаясь больше к самому себе, чем к ней. – Я даже не спрашиваю почему. Потому что я не брат, а ублюдок, так? Не сын, не отец и не брат... что там еще? А! – И не муж. А уж кум, сват, деверь и свекор из меня и вовсе никакие...

Ирка смущенно шмыгнула носом, как делала всегда перед тем, как начать подлизываться.

– Что ты, Илюша... я разве... ну хочешь, я еще на месяц останусь? Или даже на два? – она оглянулась на своего любимого, настороженно выхаживавшего неподалеку, и сменила тон. – Просто я уже выросла, вот и все. Твои правила, конечно, очень хорошие, но они мне уже во где! Слышишь? Во где!

Она провела пальцем по горлу. Не понимавший по-русски бой-френд встрепенулся и на всякий случай сунул руку в карман. В его непростом квартале подобный жест трактовался не в смысле чрезмерной сытости, а как приглашение к поножовщине. Вот они, недоразумения культурного диалога...

– Что? – переспросила Ирка. – Что ты сказал?

Надо же. Оказывается, он произнес это вслух. Недоразумения диалога вообще. Илья повернулся спиной к недоумевающей сестре и направился к выходу с кладбища. Он шел, удивляясь действию земного притяжения: по логике вещей сейчас ему полагалось парить, как оторвавшемуся от связки воздушному шарик, как набитому ветром пластиковому пакету.

Всю сознательную жизнь – сколько помнил – он воспринимал себя не как самостоятельную отдельность, а лишь относительно других: был сыном своего отца, своей матери, братом сестры, будущим мужем своей подруги, будущим родителем своих детей. Именно объем связанных с этим забот заполнял его голову и грудь, именно тяжесть связанной с этим ответственности придавливала его к земле, придавала жизни устойчивость и смысл. Что, спрашивается, делать ему теперь – такому полному и невесомому?

Новая ситуация ставила под вопрос все, на что ни посмотри, – каждую мелочь, каждое решение, когда-то принадлежавшее к разряду важных, но сейчас уравнинное в правах с мелочами – потому что расплылось и сгнило уже и само определение важности.

– Что теперь важно? Что нет? Зачем ты ждешь автобуса?

– Чтобы попасть домой.

– А зачем тебе домой? И почему ты живешь именно там, а не в другом месте, городе, стране, планете? Зачем вставать утром с постели? Зачем тащиться в универ? Зачем тебе эта «многообещающая» специальность? Много обещающая – что? И на хрена тебе сдались все эти обещания, данные когда-то тому – пропавшему, сдувшемуся, относительноному человеку?

Он знал одно: теперь нужно выстраивать себя с самого начала, с нуля. Встать на что-нибудь базовое, наименее зыбкое, а дальше – по известному методу: распознать принцип действия, ухватиться поудобнее, и вперед... После недолгих поисков Илья обнаружил искомую базу в календаре – близился очередной день рождения Лирона. Визит к Галям пока еще оставался одним из незыблемых столпов этого мира. Илья взял большую коричневую сумку, открыл шкаф и принялся копать в ящиках и на полках, попутно удивляясь неожиданному, все нарастающему чувству отвращения и страха.

– Страх? Но перед чем, Илюша?

– А может, не Илюша вовсе, а Леша?

Он подавил в себе острую потребность оглянуться. Откуда им было взяться там, за спиной, – испуганной женщине и мальчишке-зверенышу с большим кухонным ножом? – Неоткуда. Квартира и в самом деле была пуста. Заперев дверь, Илья бросил ключ в почтовый ящик. До конца аренды оставалось еще несколько месяцев, но возвращаться сюда он не собирался. С нуля, так с нуля.

*Не встреча даже – миг, один короткий взгляд,
нелепый мусор слов – и всё...*

*И вновь вскипает рай и вновь клубится ад,
и вновь меня волна – несёт.*

*Для этих страшных сил все стены и стихи,
все дамбы и валы – пустяк.*

*Колени преклоню на берегах стихий –
пуская свершится всё – пусть так.*

А вдруг она все-таки... Ну кто теперь так наголо стрижется? Черт возьми, какой затылок, с ума сойти можно... Илья бегло взглянул на часы. Так, Димки еще нету, Леша Зак уже уехал... только с Борей и попрощаешься. Была Влагалла и нет Влагаллы. Конец эпохи... Да брось ты, какой конец? Это начало – самое что ни на есть расчудесное начало! Новый век, новая жизнь! Давай-ка, брат, вприпрыжку, вприпрыжку...

8.

– Рахель! Рахель! Пора! Надо собираться, ехать...

Сквозь приоткрытые веки Рахель различила смутную мужскую фигуру. Отец?.. Но почему отец зовет ее Рахелью, а не Раей – ведь он так и не смог привыкнуть к ее новому имени? Тем не менее, собираться действительно пора. Италия-то никуда не денется, а вот пароход ждать не станет. Рахель с силой зажмурилась и снова распахнула веки, словно сбрасывая с них сон. Над нею стоял доктор Китаин. Нахальное апрельское утро лезло в палату, соскальзывая с мокрого от росы подоконника. «Боже, а я-то подумала...» – едва удержавшись от стога, она закрыла глаза.

– Надо собираться...

– Сейчас, доктор, – проговорила Рахель, со второй попытки совладав с голосом. – Дайте мне полчаса прийти в себя. Пожалуйста. Больше я вас не задержу.

Китаин молча кивнул и вышел. В палате уже никого не было: время завтрака. Рахель усмехнулась своей ошибке: это апрель сбил ее с толку, не иначе. Тогда, восемнадцать лет назад, он лез в окошко так же настойчиво и неудержимо. Правда, окошко это смотрело не на гедерскую апельсиновую рощу, а на новорожденную тель-авивскую улицу: городу как раз исполнилось четыре годика – совсем ребенок. Отец сразу, едва переехав в Страну, купил два дома на одной из первых улиц будущего Тель-Авива. Даже в преклонном возрасте он прекрасно понимал, во что следует вкладывать деньги...

До отъезда в Европу Рахель жила там, у отца. Брала уроки французского, приходила в себя после проводов, которые устроили ей на Кинерете тамошние ревнители труда, патриоты заступа и кирки. В чем ее только не обвиняли – и в малодушии, и в лицемерии, и в предательстве... И что интересно: громче всех кричали именно те, кто сами при же первой возможности сменяли лопату на карандаш, почву – на чернила, работу в поле – на пусторожнюю возню в комитетах и комиссиях.

Коротконогие санчо-пансы, мелкие приказчики, аптекари, подмастерья, с прыщавой юности одолеваемые мечтой выйти в губернаторы; слюнявые ничтожества, обуреваемые жаждой власти, изначально предпочитавшие свои потные мыслишки настоящему рабочему поту, интригу – мотыге, низость – благородству. Да как посмели эти опереточные вожди разевать свои рты на нее – душу Кинерета? Разве не принесет она многократно большую пользу, вернувшись через два года агрономом? Разве важнее этих знаний адвокатский диплом, за которым годом раньше укатил в Стамбул хитроватый ловчила Бен-Гурион? Кому, кроме их создателей, нужны все эти партии и движения, столь старательно возводимые Даяном и Кацнельсоном? Разве партия в состоянии взрыхлить грядку, подоить корову, засеять поле?

Нет! Но в том-то и дело, что им наплевать и на грядки, и на поля – на все, кроме собственного мелкого бобруйского и плоньского честолюбия. Еще бы! Для того чтобы ощутить себя народным трибуном, требуются не поля и коровы, а трибуна и народ под трибуной. Агроном на этой картине – лишняя фигура. Как, впрочем, и архитектор, инженер, художник, музыкант... – все они только мешают новоявленным бобруйским губернаторам!

Один лишь Гордон и заступился, ну и Хана Майзель, конечно, тоже. Чистые души, настоящие новые люди – как вершины Хермона над навозными кучами, высятся они по соседству с лукавыми лжецами и карьеристами... Отчего их так мало, этих вершин, так исчезающе мало? Отчего так много убогой, себялюбивой мелюзги, предпочитающей жить не высокой духовной правдой, а примитивными физиологическими позывами? Это ведь, как минимум, неинтересно, некрасиво, нерационально – глупо, наконец!..

Курс в Тулузском агрономическом колледже начинался осенью, но долгого соседства с мачехой Рахель выдержать не смогла – еще весной сбежала в Женеву, к озерной воде. Хотя и не Кинерет, но все же... Наслаждалась уроками рисования, подтягивала французский. Мало-помалу утихла, улеглась обида на кинеретских товарищей. Вспоминалось все больше хорошее: веселые песни в поле, плаванье к Мигдалю, прогулки на Голаны, влюбленность Берла, наивное прямотушие Шмуэля Даяна. А главное – Кинерет.

Озеро не отпускало, тянуло назад – сильно и странно, до физического ощущения жажды, не утолимой ни альпийской, ни пиренейской водой. Это чувство нельзя было назвать тоской – оно больше напоминало привязь, цепь, закрепленную на невидимом ошейнике. Она не могла не вернуться туда, просто не могла – хотя бы только для того, чтобы, наконец, вдоволь напиться, упав в Кинерет, обняв его у самого берега.

Впрочем, тосковать в университетской Тулузе не приходилось. Как, оказывается, всего этого не хватало Рахели раньше: театров, искусства, безалаберной лени и возни большого города... Многочисленные российские студенты сбивались в кружки – сплошь марксистские; спорили, пили, ссорились, клялись в вечной дружбе между собой и в вечной любви к народу, оставляя при этом достаточно любовной энергии на кратковременные бурные романы всех со всеми. Рахель в теоретические дискуссии о народном благе не вступала. Немногие здесь могли бы похвастаться ее опытом *практической* реализации вполне благодетельного учения, но, поскольку проблема в том-то и заключалась, что результаты не слишком согласовывались с теорией, то вроде как и хвастаться было не только нечем, но даже где-то и вредно, реакционно, контрреволюционно.

На своей агрономской специальности Рахель оказалась единственной девушкой, что не помешало ей с отличием закончить двухлетний курс. Но это случилось уже во время войны, в другом веке, в другом мире, на другой планете.

Война началась летом, как-то незаметно. В первые недели она происходила где-то в новостях, на газетных страницах и, казалось, не изменила ровным счетом ничего. По-прежнему светило солнце, шел дождь, строго по расписанию отправлялись поезда и пароходы, уличные кафе наполнились все тем же веселым людом. Начавшаяся запись на университетские занятия шла бесперебойно, согласно обычному твердому распорядку. Студенческие кружки вскипали так же горячо, как и раньше, и неожиданная добавка патриотизма – где малой чайной ложечкой, а где и полным жестяным черпаком, мало сказывалась на общем характере и температуре кипения. Да, мировая война – так что? Разве темы прежних дискуссий не были глобальными, а обсуждаемые проблемы – мировыми?

О да, конечно... и тем не менее, к сентябрю даже самый беспечный мечтатель, самая беззаботная хохотушка не могли не обратить внимания на медленно наползающую тень. Все как-то потускнело, съезжилось, и чем дальше, тем более игрушечными, эфемерными казались прежние павильоны, балаганы, здания, мосты, города. Тень накрывала примолкших людей все гуще, все плотнее; она клубилась на улицах мрачным туманом, у нее появился особый запах – незнакомый, но пугающе неприятный: тошнотворная смесь гари, плесени, невымытых мужских ног и еще какой-то мерзости, сладковато-жирной, особенно омерзительной для нормального человеческого обоняния.

Этот туман не просто пугал – он переворачивал все с ног на голову, создавал ощущение нереальности прежнего твердого, надежно устаканенного бытия; а что касается того, каким может оказаться само существо, отбрасывающее столь страшную тень... – о, об этом не хотелось даже думать. Хотелось... не хотелось... как будто кто-то кого-то спрашивал... Ужасающий монстр – новый, двадцатый век – уже приподнимал из-за горизонта свой вздыбленный загривок.

Неужели именно его – такого – ждали словоохотливые прожектеры, твердившие о невиданном расцвете науки и технологии, о счастье и процветании? Да, да, именно его.

Вот он, смотрите, – топчется на ваших полях, разбрызгивая миллионы пуль из невиданных прежде скорострельных машин; это его бронированные чудовища расползлись, как вши, по вашим дорогам, его железные птицы поливают вас свинцовым ливнем, его пушечный зев, блюющий огнем и смертью, ровняет с землей ваши города – с искореженной, вздыбленной, стонущей землей. Ядовитым газовым удушьем ползет он в полные трупов окопы, доставая из-под мертвых тел последние островки затаившейся жизни – чтобы никто не ушел, не уцелел, не укрылся. Этого вы хотели, этого ждали?

Осенью стали приходиться жуткие подробности о кровавой мясорубке Марны: сотни тысяч погибших, изувеченных, отравленных, грязным бельем войны повисших на колючей проволоке долгожданного века. Это не могло быть правдой – человеческий разум отказывался переварить новую реальность. Ведь только что, еще буквально вчера – кафе, танцы, милое гуляние по набережной, теплые мечты о тихом, нежном, спокойном... и вдруг... Откуда? Почему? Никогда еще Голем не накидывался на своего создателя с такой яростной, всесокрушающей мощью.

На фронте это становилось ясно в первые же часы, но в тылу люди еще пытались какое-то время цепляться за прежние привычки, манеры, обыкновения, старались улыбаться прежним шуткам, произносить затверженные формулы об очистительной волне народного гнева, о свежем ветре современности, об огне революции. Но на фоне грозных раскатов артиллерийского рыка эти речи звучали фальшиво как никогда. Мало-помалу обнаружилось, что другим стало все – отношения между людьми, выражение лиц, повседневная еда и одежда, средства связи, способы передвижения, сама возможность уехать куда бы то ни было.

Так, к концу обучения выяснилось, что российский паспорт Рахели не позволяет ей вернуться в пределы Османской империи, то есть – в Страну, на заветный берег Кинерета. Это известие оглу-

шило ее. Вокруг с треском рушились декорации прежнего века, дощатые подмостки подламывались под ногами, горел задник, предсмертно трепетали кулисы – весь театрик мирных действий обернулся суррогатом, фальшивкой и грозил обрушиться если не сейчас, то через мгновение. В такую минуту особенно необходимо ухватиться за что-нибудь основное, надежное, не подверженное колебаниям – например, дом.

Легко сказать – дом! Домом для Рахели был Кинерет, столь внезапно превратившийся в недоступный мираж. Это просто не укладывалось в голове. Она запаниковала, заметалась, бросилась в Рим, к брату. Яков утешил: ничего страшного, переждешь у меня, эта бойня не может продолжаться долго. Попробовала заниматься искусством, скульптурой – и не смогла: беспокойная неустроенность так и ела поедом душу. Рахель задыхалась: Кинерет звал к себе тем отчаянней, чем невозможней было до него дотянуться.

Может, получится переехать туда из России? В самом деле, кто-то полупознакомый подтвердил, что из Одессы по-прежнему ходят пароходы в Яффу. Как проверить? – Никак не проверить... Не вникая в братние увещевания, метнулась назад, в Марсель: в парадоксальной географии войны Франция оказалась намного ближе к Одессе, чем Италия. Визы, паспорта, проездные разрешения, затрепанные бумажки, унижительные проверки, очереди на прием к небритым осунувшимся чиновникам... каждый шаг теперь давался трудно, как будто она пробовала бежать по горло в тяжелой болотной жиже.

Пароход из Марселя отошел в последних числах сентября. Денег оставалось совсем немного: отец ничем не мог ей помочь из отрезанного войной Тель-Авива; впрочем, на билет до Яффы должно было хватить. Плавание проходило тяжело из-за страха перед убутами – германскими подводными кораблями. В самом названии этих невидимых чудовищ явственно звучала угроза смерти – убут!.. убьют!.. Капитан успокаивал: немцы обещали не трогать пассажирские лайнеры, но в памяти еще жива была ужасная гибель «Лузитании»; люди кивали благодарно, но недоверчиво – кивали и беззвучно молились – каждый своему богу.

Стальное море угрожающе покачивало широкими плечами горизонта. Во всем чувствовалось напряженное ожидание несчастья; даже прыжки дельфинов за бортом, когда-то такие веселые, теперь казались проявлением паники – уж не от мрачной ли убийцы-субмарины пытаются спастись беззащитные морские твари?

В пассажирских офисах одесских пароходных компаний стояла звонкая тишина: война отменила морские развлекательные круизы и путешествия. Сонные клерки встречали вопросы о яффском рейсе удивленным пожатием плеч:

– Как можно, барышня... отменен, давно отменен. Вот победим турок, тогда и поплывете...

– Неужели нигде? Никак?

В отчаянии она металась по городу, ночью рыдала в гостиничную подушку. Родной, но недостижимый Кинерет укоризненно мерцал с открытки на прикроватной тумбочке. Ну, и кому теперь нужен твой агрономский диплом? Зачем ты тогда уехала, зачем? Боже, какая дура, какая дура!.. Деньги таяли, таял ноябрь, таяли последние надежды. С трудом взяв себя в руки, Рахель продумала варианты.

Теперь она видела, что Яков не ошибался, когда говорил, что ее отъезд из Рима – безумие. Но еще большим безумием стала бы сейчас попытка вернуться туда – через несколько границ, без денег и с паспортом враждебной страны. По всему выходило, что придется устраиваться в России, ждать окончания проклятой войны, выживать как получится. Но где, как, на какие средства?

В Полтаве и в Киеве не осталось уже никого из родных. В Вятке держал меховой бизнес сводный брат, с которым Рахель за всю жизнь не сказала и двух слов. Был еще Кременчуг, где шесть лет назад, до отъезда Рахели, проживала семья одной из старших сестер. Но они собирались переселиться в Америку. Уехали? Не уехали?

Рахель пересчитала оставшиеся деньги. До Вятки так и так не хватало. На следующий вечер она взяла билет третьего класса до Кременчуга. В вагоне дуло. Толстая мешанка, укутанная до самых бровей в платок, почти такой же бескрайний, как степь за окном, сказала со оттенком странного удовлетворения:

– Сгинешь ты тут, барышня, в такой одежке, прости Господи. Нешто валенок не нашлось?

Тонкий европейский плащик, шляпка и открытые туфли и впрямь выглядели нелепо среди жарких зипунов и ушанок. В ту ночь Рахель впервые почувствовала, как в груди зашевелился кашель – тот самый, знакомый еще с ранних подростковых лет, благополучно залитый тогда же целебным крымским кумысом и с тех пор не возвращавшийся.

В Кременчуге извозчиков не оказалось; впрочем, денег все равно не было. Оставив багаж на станции, Рахель пошла пешком. По мерзлой улице змеилась поземка, порывами налетал ветер, трепал плащ, хлестал по щекам. Она прикрыла обеими руками першающую грудь и так шла, налегая на ветер этим ненадежным, хотя и двойным тараном. Вот и дом Берты... Рахель ткнулась плечом в добротную глухую калитку и облегченно вздохнула: вот и добралась! Здесь и ветер казался не таким пронизывающим.

На стук никто не выходил. Промучившись с четверть часа, Рахель остановила редкого прохожего.

– Мелровичи? – удивленно переспросил человек. – Так ведь уехамши. В Америку уехамши. Вон, глянь оттудова, окны-то заколочены. А ты им кто будешь?

Едва переставляя ноги, Рахель перешла на другую сторону улицы – оттуда и впрямь можно было хорошо рассмотреть сплошные дощатые намордники на окнах. Ну, куда теперь? В груди опять шевельнулся кашель, шершавой ящерицей пополз наверх по гортани... прочь, гадина, брысь!.. Не в силах принять никакого решения, она беспомощно топталась в ледяном желобе улицы; как холодно... Как холодно и как... Верная давней привычке по возможности точно определять свое состояние, Рахель машинально искала нужное слово, пока оно, наконец, не вывернулось из-за угла вихрящимся снежным прибоем, не свистнуло в уши, не ущипнуло за окоченевшие пальцы: *одиноко*.

Пожалуй, еще никогда в жизни она не чувствовала себя такой одинокой, забытой, покинутой. Сгинешь ты тут, барышня... Неужели действительно? Прямо вот так, на улице... Чтобы не видеть, Рахель зажмурилась; и тут же под крепко сжатыми веками сверкнула голу-

бая чаша Кинерета, и лохматая пальмочка, и берег-мальчишка, и веселый Ярден, перепрыгивающий с камня на камень, с черного на белое, с черного на...

– Госпоже плохо? Госпоже требуется помощь?

Говорили на идише. Рахель открыла глаза: перед нею стоял бородатый пожилой мужчина в широкополой шляпе и длинном тяжелом пальто.

– Нет-нет, я здорова, просто очень холодно... – быстро отвечала она на иврите, сама поражаясь тому, как легко вываливаются на язык слова, которыми ей не приходилось пользоваться вот уже более двух лет. – Я сестра Берты Мелрович, не знала, что они уехали, и теперь мне некуда...

– Бог ты мой! – перебил ее изумленный старик. – Такая молодая девушка... на святом языке... да где ж вы так научились? Пойдемте, пойдемте...

Через полчаса Рахель уже сидела в жарко натопленной горнице кременчугского раввина, пила чай с баранками и рассказывала затаившим дыхание бородачам о чудной и прекрасной Стране, хотя и не вполне пока текущей медом и молоком, но безусловно способной на это в весьма недалеком будущем. Она говорила об апельсиновой Яффе, виноградном Кармеле, оливковой Иудее, молочной Галилее и, конечно, – о самой необыкновенной жемчужине этой короны – озере Кинерет, подобном голубому зрачку, которым рай, если он есть, смотрит на эту сторону мира.

Бородачи зачарованно кивали, но явно ждали чего-то еще – чего-то еще более главного, еще более заветного и святого. Но что может быть главнее Кинерета?

– Простите, госпожа Рахель, – осторожно перебил ее раввин. – А каков на вид он... ну, вы понимаете... он...

– Он?

– Ну да. Он – Ерушалаим...

Рахель запнулась. Кременчугские бородачи, вытянув вперед шеи, ждали ее рассказа. Но что она могла им рассказать? Что так ни разу и не удосужилась съездить в Иерусалим? Что для нее и ее друзей-социалистов Святой Город – не более чем кучка ветхих строений, скопище бесполезных людей, клопиное гнездо средневековья? Они так и называли Ерушалаим – «Старые камни». Старые, никому не нужные камни, вот уже сколько веков устремленные ввысь, в небо... Будущее выросло не там, в вышине, а внизу, на почве, под лемехом плуга, под зубами сверкающих мотыг!

– Ерушалаим... – повторила Рахель, подбирая в уме правильные слова. – Видите ли, Ерушалаим смотрит в небо...

На этом месте раввин заплакал, и она вынуждена была прервать свой рассказ. Собственно говоря, продолжения и не требовалось. Даже полуграмотный ломовой извозчик, никогда в жизни не выезжавший отсюда дальше Полтавы, прекрасно понимал, что Ерушалаим невозможно описать в деталях. Достаточно одного общего признака. Так что «смотрит в небо» подошло как нельзя лучше.

В Вятку Рахель уехала вторым классом, тепло одетая и снабженная таким количеством провизии, что его с лихвой хватило бы на кругосветное путешествие. Поезда шли медленно: пересадки, бесконечное томление на узловых, станционные буфеты, жандармы

на перронах – неподвижное идолов. Эта дорога, как вена, ведущая в медвежье сердце огромной зимней России, не создавала ощущения движения, но скорее наоборот – ожидание, спячку, оцепенение. Поневоле задремлешь у морозного окна – проснешься – где ты? – в вагоне?.. на вокзале?.. в станционном буфете?.. – Бог весть... В окне так и так ничего не видно из-за инея, а надышишь крохотный, через минуту исчезающий окуляр – глядеть не на что, кроме чернеющей лесом белизны, одинаковой что днем, что ночью.

В одном можно было быть уверенной: если поезд все-таки стучит колесами не вхолостую, если случится ему добраться до Вятки хотя бы через век-другой, то кременчугская история не повторится ни в коем случае – просто потому, что в этом глухом углу время не течет вовсе, а потому невозможны и какие-либо перемены. Так в итоге и вышло. Рахель бывала здесь очень давно, еще девочкой: отец привозил знакомить с местами, где прошло его крестьянское детство. С тех пор мало что изменилось – разве что брат слегка постарел, да бревенчатые палаты показались теперь не такими огромными. Здесь, в стране медведей, ей предстояло залечь под толстым снежным одеялом и спать, спать, спать. С медведями жить – по-медвежьи спать...

Несколько месяцев Рахель честно пыталась следовать этому правилу, пока не полезла на стену, как совсем недавно в Риме, у Якова. Правда, там стена была каменной, с кирпичной изнанкой, спокойно глядящей из-под облупившейся штукатурки, а здесь – толстой, бревенчатой, украшенной расшитыми рушниками и массивными часами с блестящей латунной гирей и крикливой кукушкой, но суть от этого не менялась. Она не могла ждать, просто не могла, не было сил. Время остановилось, как бы громко ни тикали проклятые ходики, отрубая одну фальшивую секунду от другой, а кукушкино громогласное «ку-ку» больше напоминало «ха-ха»: смотри, дура, вот еще один час не прошел. Ха-ха, ха-ха, ха-ха...

Бездействие убивало. Наконец, к весне Рахели удалось списаться с петербургскими друзьями, знакомыми по Тулузе. Они предлагали работу от Комитета помощи осиротевшим еврейским детям – беженцам из прифронтовой полосы.

Для евреев Европы эта и без того жуткая война была с самого начала гражданской, а потому особенно ужасной. Неважно, кому присягал еврейский солдат – кайзеру или республике, королю или одному из императоров – никакая присяга не могла оправдать его в собственных глазах, когда, наколов на штык человека во вражеской форме, он вдруг слышал из уст умирающего слова «Шма, Израэль!» – ту же предсмертную молитву, которую завтра, возможно, придется произнести и ему самому.

Мало того: так получилось, что огненная борона Восточного фронта елозила своими смертельными зубьями именно по нищим еврейским местечкам Галиции, Трансильвании, Польши, Прибалтики. Для обеих воюющих сторон это население выглядело более чем подозрительным. Поэтому к обычному для большой войны мародерству, разбою и насилию прибавились казни по обвинению в шпионаже. Свисающий с дерева труп «жидовского злодея» стал привычной деталью пейзажа, как будто вернулись времена крестовых походов, Большой чумы, хмельниччины и гайдамаков.

И хотя из далекой Вятки было трудно разглядеть эти традиционные плоды европейских садов, Рахель ужаснулась своему эгоизму, граничившему с подлым бесчувствием. Как могла она посвятить все свое время трауру по собственным утраченным иллюзиям, как могла забыться в снах о Кинерете, накрыться с головой одеялом расстojаний и безвременья, словно избалованный ребенок, тайком поедаящий припрятанное пирожное?

Из многих, разбросанных по всей России отделений Комитета, недоукомплектованными оставались лишь самые дальние – на юге. Что ж, для Рахели близость к столицам давно уже не являлась преимуществом. Наоборот – чем ближе к Кинерету, тем лучше. Весной шестнадцатого года она начала работать с детьми в Бердянске, на Азовском море.

Внешне они казались обычными детьми и временами даже принимались играть в соответствующие возрасту игры, но пережитая беда, болезненной опухолью рассевшаяся в слабых, еще не оформившихся душах, так и лезла наружу – в каждом взгляде, слове, движении. Малолетние калеки, будущие жертвы и пособники нового века, они входили в него крадучись, наизготовку, заранее убежденные в легитимности несчастья, несправедливости, пытки, убийства – как своего, так и чужого. Кем они вырастут – палачами?.. страдальцами?.. теми и другими вместе?..

Рахель старалась не думать об этом. Здесь, в Бердянске, она несомненно приносила пользу, но если вдуматься, он немногим отличался от Вятки – такой же глухой, безопасный угол, надежно удаленный от людоедского пиршества войны. Об ужасах, творившихся на фронтах и в прифронтовых зонах, Рахель могла судить лишь по своим детям, да по стонущим, до глаз перебинтованным обрубкам пушечного мяса, которых сестры милосердия вывозили подышать во двор близлежащего госпиталя. В этих страшных существах трудно было признать людей... и тем не менее... тем не менее...

– Ну, скажи уже, скажи!

– Тем не менее именно они – эти обрубки и эти дети – представляли собой истинного Нового человека нарождавшейся Новой эпохи – той самой, о приходе которой вы так мечтали в домашних гостиницах и в университетских кафе!

Подобный вывод казался диким, неправдоподобным – но разве происходившее вокруг было нормальным? Разве кто-нибудь нормальный желал такой войны, хотел такого ее продолжения? Разве не опостылела она давным-давно всем – и тем, кто жаждал победы, и тем, кто соглашался на поражение – всем, кто еще каким-то чудом оставался в живых? Не желал, не хотел, опостылела. Отчего же тогда она началась и длилась вот уже третий год, без надежд на скорое окончание? Этот неразрешимый парадокс выглядел абсолютно неуместным в Век Торжествующего Разума. Не может же такого быть, чтобы торжество разума оборачивалось на деле торжеством безумия?.. Или может?

Об этом тоже не хотелось думать. Рахель старалась сосредоточиться на мыслях о Кинерете; в дикой свистопляске свихнувшихся истин лишь он был опорой и якорем, воплощением вменяемости и смысла. По сравнению со смертельной европейской чумой даже наивный вождизм Берла Кацнельсона и его приятелей казался теперь

не более чем легкой простудой. Ее место было там, на берегу; там она могла жить, а не выживать, могла дышать полной грудью – не боясь, не удерживая в горле неприятный першачий комок кашля.

Кстати говоря, этот кашель, впервые напомнивший о себе в промозглом холоде Кременчуга, с тех пор уже не оставлял ее в покое, как надоедливый дворовый забияка: дразнил, дергал за гортань, как за косу, и на время прятался, чтобы, выскочив, напугать в самый неподходящий момент. Рахель старалась не обращать на него внимания – эта мелкая беда, как и прочие, более серьезные, должна была пройти с возвращением на Кинерет.

Новости в Бердянск поступали с большим опозданием – слухами, рассказами беженцев, впечатлениями редких гостей. Сначала радовались наступлению Брусилова, потом переживали его обидную бесполезность; надеялись на вступление в войну румын, испуганно шептались о пришедших в Трансильванию немцах, горевали о падении Бухареста. Рахель слушала невнимательно – в происходящем безумии ее интересовало лишь одно: пароход из Одессы в Яффу. Когда же?.. Когда наконец?!

Весной семнадцатого к разговорам о войне добавилась революция – отречение царя, выборы в Учредительное собрание. Объявилась новая мода: митинг – крикливый, бессмысленный праздник толпы, осознавшей себя самостоятельной силой. Людей стали именовать «массаами»; ужаснее всего, что они действительно превращались в массу – тупую, животную, однородную, навозную. По городу забегали народные трибуны – слюнявые демагоги, не разжимавшие кулаков даже во сне. К неразрешимому парадоксу продолжавшейся бойни добавлялись все новые и новые: ложь, выдаваемая за правду, очищение кровью, мир ради войны, война за мир, уничтожение во имя счастья...

«Пароход... – думала Рахель, безуспешно пытаясь выудить из всей этой невразумительной какофонии хоть какую-то крупицу смысла. – Когда будет пароход? Когда?»

Поздней осенью пришли известия о большевистском перевороте, о мире, объявленном в форме лозунга. Согласно лозунгу, войны не было. Согласно слухам, война была. А что с пароходом? Возможно, он тоже есть, в то время как его нет? Голова шла кругом от торжествующей белиберды, митингов, криков, повсеместного беззастенчивого и оттого громогласного вранья. Ожидание становилось нестерпимым. Рахель взяла месячный отпуск и отправилась в Одессу – увидеть своими глазами, понять, оценить.

Большой город встретил ее холодом и еще большей неразберихой. Надо же... а она, дурочка, еще жаловалась на свой бедный Бердянск... Масштабы горячечного одесского бреда далеко зашкаливали за любые бердянские мерки. Одесса напоминала взбаламученную выгребную яму, возомнившую себя вулканом – по ее бурлящей поверхности плавал мусор изжеванных, переваренных и вновь отрыгнутых слов: Центральная Рада, меньшевики, Советы, анархисты, независимость, республика – а снизу, бесформенными грязевыми комьями, то и дело всплывали очередные народные трибуны – для того только, чтобы тут же снова погрузиться в мутную жижу – до следующего захода.

Пока Рахель наводила справки в пароходствах – увы, с прежними неутешительными результатами – в Одессе сменилась власть:

на этот раз всплыли большевики. Строительство нового мира они начали с огромного количества запретительных декретов; в числе прочего был запрещен и выезд из города. Рахель приехала в это царство абсурда для того, чтобы отправиться в Яффу – теперь она не могла даже вернуться в Бердянск. Разговаривать было решительно не с кем; в немыслимой реальности восторжествовавшего Разума человек перестал быть человеком – он стал щепкой, парией, пареным цыпленком, которого «не слушали, а взяли-скушали»...

Хуже всего – она снова ошиблась с одеждой, оставив теплые вещи и обувь в Бердянске. Кашель уже не прятался, не першил вхолостую в горле – рвался наружу. Теперь его не удавалось умолить, успокоить одними лишь плотно прижатыми к груди руками: он требовал теплого питья и постели, лицом в подушку. Работу пришлось искать долго – большевики позакрывали все, до чего смогли дотянуться: благотворительные комитеты, учебные заведения, газеты, издательства. Нашла место няни – за угол и корку хлеба, тем и выжила.

Чудовищный котел продолжал тем временем булькать: в марте большевиков сменили немцы, в ноябре на поверхность вынесло англичан, французов и Деникина. Война явным образом выдыхалась: казалось, даже такая живучая гадина не может уцелеть в болоте всепоглощающей бессмыслицы. Наконец, французские газеты известили о капитуляции турок...

– Где же тогда пароход в Яффу? Что с пароходом, мсье?

– Терпение, мадемуазель. Вот-вот наладим. А пока что мадемуазель не помешало бы заняться своим здоровьем...

– Оставьте в покое мое здоровье! Мне нужно в Яффу! Вы слышите?! Слышите?!

«Его не слушали, – пели босяки на Привозе. – А взяли-скушали»... Весной девятнадцатого года город снова взяли-скушали большевики и тут же снова все позакрывали. Из-за нехватки топлива в Одессе кончилось электричество, зато начался голод. Рахель продолжала ждать, уже почти не надеясь, кашляя в платок на пирсе, рядом с которым после бегства союзников не осталось ни одного парохода. Но в августе случилось чудо – вернулись эсминцы Антанты, а с ними и белые. Затем прошел слух, что деникинские комиссии рассматривают просьбы о выездных визах для застрявших в Одессе жителей Палестины. Поразительно, но слух оказался правдой.

В ноябре грузовое судно «Руслан» с шестьюстами счастливыми на борту отвалило от стенки одесского порта. В обычное время эта старая калаша с вечно пьяной командой использовалась для каботажной транспортировки угля. Поэтому правильнее было бы сказать не «на борту», а «в трюме». Именно там, в черном угольном чреве, скрипящем и ухающем под ударами волн, и провела Рахель один из самых светлых месяцев своей жизни. Она возвращалась домой, на Кинерет, и это окупало все неудобства: вонючую духоту, вонючий холод, постоянное недоедание, надоедливый кашель, долгие карантинные в Стамбуле и в Пирее. Домой, домой!

На свете не было человека счастливее, когда 19 декабря 1919 года, разбуженная ликующими криками сверху, она поднялась с бухты истлевших канатов, в течение нескольких недель заменявших ей постель, и, выбравшись на палубу, увидела поднимающийся из моря берег Страны, яффский порт и белые дома Тель-Авива. Вот и

закончился кошмар, мучивший ее эти долгие четыре года; возобновлялась прежняя, чудная, свободная жизнь! Жаль, что за это время агрономная наука слегка подзабылась... но вспомнится и она! Теперь Рахель не боялась ничего, ничего.

На берегу шумела торжественная церемония: встречали, главным образом, некоего бонзу – не то идеолога, не то деятеля, не то председателя чего-то чрезвычайно важного. На «Руслане» бонза занимал одну из двух пассажирских кают, а в свободное от этих занятий время совершал надменный моцион по палубе, брезгливо морщась от неприятного, но, увы, неизбежного контакта с чумазыми трюмными массажи.

– Боже, Раяша! – сказала сестра. – Тебя не узнать, вся черная, как помойная кошка. А уж похудела-то – ужас! И этот кашель...

– Вам два щелчка по носу, госпожа Шошана! – рассмеялась Рахель. – Я вот уже десять лет как не Раяша, помните?.. Нет-нет, обниматься пока не будем и плакать тоже. Отвези-ка меня поскорее куда-нибудь, где можно умыться и переодеться. Ты ведь одолжишь мне платьице, правда, сестричка?

Она закашлялась – тяжело, долго, надрывно; затем, сменив напряженную гримасу на улыбку, повернулась к сестре.

– Ну что ты на меня так уставилась, Розка? Простыла по дороге, бывает. Месяц в угольном трюме – это тебе не отель «Континенталь». Помнишь отель «Континенталь»?

– Помню, – улыбнулась Шошана. – Мы там с тобой останавливались в Одессе еще до... до всего этого...

– Ну вот, – кивнула Рахель, подхватывая свой саквояж. – Пошли, Розка, пошли... Теперь там уже, наверное, Губхоз... или Губком... У большевиков, знаешь, прямо какая-то страсть к губам. Недоцеловали их, что ли, в детстве?

Она задержалась в Тель-Авиве ровно настолько, чтобы привести себя в порядок и мельком повидать брата, сестер, престарелого отца и сам город-подросток, который, казалось, так и не определился пока относительно своей породы и природы – шумной и затейливой по-восточному, по-европейски чопорной и снобистской, безоглядно-решительной по-русски. Голубой магнит Кинерета притягивал сильнее любых других интересов, связей и уз. Теперь, когда между ним и Рахелью не оставалось никаких препятствий кроме двух дней пути, она не могла и не хотела справляться с праздничной волной нетерпения, разрывающей душу и сердце. Даже кашель куда-то делся, отступил или, по крайней мере, мучил не так сильно, как прежде – и это тоже было хорошим знаком, проявлением чудодейственной силы Кинерета, врачующей любые беды и недуги.

Когда коляска подъехала к повороту, за которым, как она помнила, открывался вид на озеро, Рахель закрыла глаза. Что если все окажется иным, не таким, как представлялось в Тулузе, Вятке, Бердянске, Одессе? Что если тоска, одиночество, лишения и болезнь раздули изначально незначительный образ до размеров, несопоставимых с его реальным содержанием, наделили волшебной силой обычный прозаический водоем, один из многих? Что тогда? Сердце ее колотилось у самого горла.

– А вот пугаться госпоже не надо, – обиженно сказал возница, по своему истолковав ее чувства. – Что ж так бледнеть-то? Повороты,

конечно, крутоваты, это так, но и мулы у меня хороши, а коляска так и вообще новехонькая. Нечего бояться, глаза зажмуривать. Лучше гляньте, какой вид! Ай-я-яй! Вот она, красотища-то...

До боли вцепившись руками в собственные локти, Рахель разжала веки и замерла. Там, внизу, за длинными ушами хороших мулов сияло голубое счастье необыкновенной силы, красоты и свежести, необъяснимое и не нуждающееся в доказательствах, как это и положено настоящему счастью. По яркой синеве бабочками порхали белые паруса рыбачьих лодок, и белый парус заснеженного Хермона повторял их полет в голубом океане неба; слева зеленели плантации Мигдаля, внушительно возвышалось на другом берегу мощное Голанское плато, черными кубиками скатывались к воде базальтовые дома Тверии... ну а справа, пока еще не видные отсюда... пока еще нет... еще нет, но сейчас, сейчас... – а!.. вот и они!.. – поля Дгании и агрофермы, ее берег с молодой пальмочкой, ее дом, ее родина...

– Да что ж с вами такое, госпожа? – с тревогой произнес возница. – Остановиться, что ли?

– Нет-нет, езжайте, – поспешно отвечала Рахель. – Если можно, быстрее, быстрее...

В Тверии она отпустила коляску и дальше бежала вдоль берега, то и дело спускаясь к воде, чтобы снова и снова попробовать ее на вкус и наощупь. К воротам Дгании Рахель подошла уже в сумерках.

Она не хотела устраивать никаких празднеств по поводу своего возвращения. Ведь по сути дела они и не расставались: в Дгании до сих пор рассказывали легенды о светловолосой красавице Рахели – «душе Кинерета». Да и состав трудовой коммуны сильно изменился за эти годы: первые апостолы религии физического труда теперь увлеченно возделывали не пшеничные, а партийные нивы, подкапывались не к пересаживаемым оливам, а друг под друга.

Что ж, каждому свое. Рахель не собиралась осуждать кого бы то ни было – довольна она наслушалась прекрасных слов про новый мир и нового человека, достаточно насмотрелась на реальных новых людей в реальном новом мире. Она просто вернулась домой – что может быть честнее и проще? Рядом с Дганией как раз завязывалась новая коммуна – Дгания Бет. Там, конечно же, пригодятся ее руки, знания, опыт.

Впрочем, первые выходы в поле, которых она так ждала, оказались не слишком удачными. Пока. Нет, прежние навыки никуда не делись, да и свежие мозоли не пугали Рахель – ей просто не хватало сил. Кружилась голова, ватные ноги не держали, ладони сами разжимались, роняя заступ, кашель рвался наружу, разрывал грудь. Она садилась на землю, прятала смущенное лицо от вопрошительных взглядов. Ничего, друзья. Это все временно. Дайте немного отдышаться, ладно? Через месяц-другой все придет в норму.

В один из вечеров секретарь отозвал ее в сторону. Молча дошли до конторы. «Хочет снять меня с полевых работ, – поняла Рахель. – Что ж, справедливо. Придется пока поднабраться сил в канцелярии или на кухне...»

В комнате навстречу им поднялся с табурета гладко выбритый человек в старомодном пенсне.

– Вот, Рахель, знакомься, – сказал секретарь. – Доктор из Цфа-та. Он тебя осмотрит.

– Доктор? Зачем? Я уже почти выздоровела...

Секретарь вышел, притворив за собой дверь.

– Пожалуйста пульс. Дышите. Не дышите. Здесь болит? А здесь?..

Она с досадой подчинялась указаниям врача. Зачем это? Тоже мне, нашли куклу... Закончив, врач сполоснул руки и стал собирать саквояж.

– Я могу идти, доктор?

– Секундочку, госпожа. Дождитесь вашего директора.

Он вышел, оставив ее одну. Рахель ждала, сама не зная чего. В окне ласково светился предзакатный Кинерет. Дверь снова отворилась, в комнату неловко вдвинулся секретарь, сел напротив, несколько раз похлопал себя по коленям, словно выколачивая оттуда начало разговора.

– Что? – спросила Рахель с досадой. – Объясни уже – что все это значит?

– Ну, знаешь, – обиженно и в то же время облегченно произнес секретарь. – Если уж кто тут должен требовать объяснений... Зачем было скрывать от товарищей?

– Скрывать? Что?

– Туберкулез. Открытую форму. Такие вещи, знаешь, в секрете не держат...

Беленые стены конторы дрогнули и стали темнеть. Вот оно – то, что ты сама так долго отказывалась осознать. Чахотка, материнская смерть. Одно слава Богу – это известие настигло ее здесь, дома. Дома можно справиться с чем угодно, даже со смертью... Так... сначала разожми кулаки... вот так... а теперь подними голову. Секретарь смотрел на нее, изумленно приоткрыв рот.

– Что? Ты не знала?

– Я уже начала поправляться, – твердо сказала она. – Месяц-другой и все будет в порядке. Вот увидишь.

Секретарь неопределенно крякнул и снова принялся хлопать себя по коленям. Рахель встала.

– Я пойду?

Стараясь тверже ставить ватные ноги, она шла к жилому бараку мимо больших окон столовой, и сидевшие там люди, как степные суслики перед грозой, одинаково поворачивали ей вслед головы с прижатыми ушками, приглушая на время свое шелестящее шушуканье. В коридоре навстречу Рахели вывернулась Двора, соседка по комнате, почти не видная за матрацем, торопливо схваченным в охапку вместе с подушкой и простыней. Куда это она?

– Двора, тебе помочь?

– Нет-нет, – выдавила соседка, прижимаясь к стене. – Я... это...

Вот и распахнутая дверь их четырехместной комнаты, а там – суета и кавардак, две другие девушки-соседки, поспешно собирающие свои немногочисленные манатки, смущенные лица, потупленные взгляды. Вот оно что... Рахель молча прошла в свой угол и легла, отвернувшись к перегородке. Мышиная возня за спиной пошуршала и смолкла. Скрипнула притворяемая дверь. Притворяемая дверь. Крышка, притворяющаяся дверью. Она лежала неподвижно, упершись глазами в древесный рисунок доски. Кашель спрятался, словно испугался содеянного. Но дело тут было даже не в кашле.

Секретарь постучался уже после полуночи. Ночной гонец. Ко мне пришел ночной гонец.

*Ко мне пришел ночной гонец,
у изголовья сел.
Во тьме белел его крестец,
провал глазниц чернел.*

– Да. Войдите, – сказала она, не поворачиваясь от доски.

Заскрипели пружины соседней кровати. Не глядя, она видела, как он елозит задом, примеривается, пристраивается... сейчас начнет хлопать себя по коленям. Новый человек. Венец творенья. Ну да – вот он, хлопок, другой, приглушенное покашливание. Ты-то что кашляешь? Неужто уже заразился от меня, прокаженной?

*И стало ясно мне без слов,
что рухнет до утра
тот мост, что время возвело
меж завтра и вчера.*

– Рахель...

– Да. Я слушаю.

– Было собрание. Общее.

– Общее? И Гордон?

Секретарь снова покашлял – на этот раз намного уверенней. В вопросах собраний и членств он уже поднаторел почти до уровня народного трибуна.

– Нет, Рахель, Гордон не пришел. Ты же знаешь, он теперь заворачивает. Но кворум был. И протокол, все законно.

– Да. Я слушаю.

– Понимаешь... – ему пришлось трижды хлопнуть себя по коленям чтобы выбить оттуда следующую фразу. – Ты больна, а мы здоровы. Тебе нужно лечиться. Для твоей же пользы.

– А-а... – это вырвалось почти как стон, но Рахель тут же справилась и с голосом, и с гордостью. – А я могу просто пожить тут, поблизости, рядом с озером? Просто пожить? Одна?

Кроватные пружины под секретарским задом отозвались ответным стоном. Есть тут кому постонать и без прокаженных.

– Нет, Рахель. Для этого существуют лечебницы... – он встал, прошел к двери, обернулся. – Завтра утром мы отправляем повозки в Петах-Тикву. Ты уедешь с ними. Выздоровливай.

Она осталась одна. Здоровые новые люди изгоняли ее из своего здорового нового мира. Хуже того – ее изгоняли с Кинерета, то есть лишали всего, что было связано с прошедшим, небывалым, огромным счастьем, которое теперь уже точно никогда не повторится... Но разве она претендовала на такой повтор? Нет, ей хватило бы всего лишь возможности жить среди обломков того счастья, в кругу ежедневно напоминающих о нем мелочей... она бы подбирала эти крохи, как золотые монеты, любовалась бы ими, протирала и раскладывала по ларцам... она бы дышала ими, черпала в них силы, желание жить и справляться с болезнью, с разочарованием, с крушением иллюзий и надежд... неужели это так много? Неужели?

*И даже отзвук смолк... Ни слитков, ни монет
из тех, бывших пещер и кладов, и ларцов.
Без них увял мой дух, без них угас мой свет,
мой день – свинцов.*

*Как это пережить? Как пересилить их –
сегодняшний отворот и завтрашний отказ –
без мыслей о былом, и чудных, и простых,
без памяти о нас?*

В ту тяжкую бессонную ночь она впервые возжелала смерти. Зачем продолжать, если больше некуда идти? Оборвать ниточку – и все... Сделать это прямо здесь и сейчас было бы совсем не страшно; но сделать здесь и сейчас означало бы опуститься до мелкой мстительности, достойной лишь тех, кто выкидывал ее за ворота. Мстить? Но за что? За потные мысли и короткие ноги? За отсутствие благородства, сочувствия, жалости? За то, что в поисках нового человека они не нашли ничего нового, но растеряли так много человеческого? Нет уж, петлю можно намылить и в Петах-Тикве... или куда там ее вывезут завтра...

Перед рассветом она встала с постели и собралась. Одно платье, несколько фотографий, десяток писем, туалетные принадлежности. Саквояжик получился совсем тощий, меньше, чем у давешнего доктора. Это бы и передали брату, если бы она здесь и сейчас...

– Вот, господин Блувштейн, получите: это все, что осталось от Рахели.

Немного, что и говорить...

Когда Рахель вышла к Кинерету, над Голанами уже светился рассвет. Пальмочка у берега радостно помахала ей лохматой кроной. Вот уж кто никогда не изменит... Она сбросила ботинки, опустила ноги в прохладную воду, прикрикнула на шевельнувшийся в груди кашель: ну, видишь, что ты наделал? Теперь вот помрешь вместе со мной, будешь знать! Из-за хребта выпрыгнуло солнце и сразу круто забрало вверх, в утро. В голове роились слова и слезы вперемешку, в носу свербило. Рахель хотела снова подумать про ниточку, но вместо этого чихнула и вышло как-то нелепо, невпопад. Зато вдруг, непонятно откуда, проявилась строчка, причем было сразу понятно, что это именно строчка, а не простой набор слов.

До этого она никогда не пробовала писать стихи на иврите, даже в голову такого не приходило. По-русски – да, случалось, что и баловалась, неизменно разочаровывая себя результатами – беспомощными, раздражательскими, плохими, безнадежно далекими от Бальмонтовских и Ахматовских образцов. Но на этот раз образцами и не пахло... хотя... Рахель перевела взгляд на Кинерет, и озеро тут же заговорщицки подмигнуло ей легкой солнечной рябью. Ну да – конечно же, образец имел место и еще как! Теперь слова ей диктовал не Бальмонт, а Кинерет, собственной персоной, – свои слова и на своем языке, не слишком ей знакомом, если уж совсем начистоту. Наверняка в этих двух десятках слов она наделала не меньше пятидесяти грамматических ошибок... Ну и что? За слова в стихотворении отвечал Кинерет – личным же вкладом Рахели были только слезы, только горечь ее несчастья, не более того. Но и не менее, никак не менее.

Не униженной, несчастной изгнанницей уезжала Рахель из Дгании, но низложенной смердами королевой, высоко подняв гордую голову и со спокойной твердостью встречая взгляды тех немногих, кто осмеливался посмотреть ей в лицо. В стандартных формулах прощания, которыми она обменялась с наименее трусливыми из новых людей, не было ни жалоб, ни упреков. Ведь она увозила с

собой свое королевство, свое озеро: отныне Кинерет, не смолкая, звучал в ее голове, в полужнакомых, временами даже не вполне понятных словах, крепко цепляющихся одно за другое, чтобы в итоге волшебным образом сложиться в звучные строчки, в необыкновенные стихи, силу и гениальность которых она сознавала без всякого стеснения – хотя бы уже потому, что авторство принадлежало не ей, а Кинерету.

Все остальное – жилье, пропитание, работа, встречи и расставания, болезнь, жизнь – не то чтобы не имело смысла, но существовало как бы на втором плане, вспомогательно, факультативно, как вышивание крестиком после уроков. Она скиталась, переезжая с места на место и нигде не задерживаясь надолго: преподавала агрономию в Петах-Тикве, вела семинар в Иерусалиме, учила ивриту новоприбывших – работала, пока могла передвигаться самостоятельно. Жила при этом крайне просто, довольствуясь тем, куда пустят – будкой с земляным полом, углом, сараем. Питалась, как птица, крошками, глотком воды.

Во всем этом не было никакого нарочитого аскетизма: Рахели просто не хотелось отвлекаться на мелочи. Ведь главное происходило внутри, в огромном, необыкновенном мире, изобилующем ослепительными горными пиками, райскими летними лугами и адской чернотой пропастей. Там свистели ветры пустыни, косматые старики выводили к колодцам стада, и можно было запросто обнять молоденькую тезку-праматерь, удивившись при этом ее хрупким плечам и большому росту.

А еще, видный отовсюду, там сиял голубой Кинерет, и роились слова – всякие: тяжелые и звонкие, пышные, как павлиний хвост, и бедные, как лачуга. Старые, как мир, они не понимали шуток, а потому требовали предельного внимания и серьезности. Их нельзя было произносить запросто, всуе: подобно каббалистическим именам, эти слова могли воскрешать мертвых, творить новые сущности, возносить к высотам чистой радости и сбрасывать в бездны чернейшего отчаяния. В них пребывала суть жизни, не оставлявшая времени и желания на что-либо иное. Времени жизни, по сути, тоже оставалось совсем немного: болезнь постепенно пожирала легкие.

Через шесть лет после кинеретского изгнания Рахель перешла на постельный режим, выходя из дому только по крайней необходимости. Из дому? – У нее не было дома. Многочисленные родственники не горели желанием приютить туберкулезную больную, да и сама она отказывалась ставить себя в зависимость от кого бы то ни было. Отец умер в возрасте девяноста лет, завещав дочери небольшую ежемесячную ренту, которую, впрочем, приходилось чуть ли силой выбивать из адвоката, скользкого и неуловимого, как ящерица.

В двадцать шестом году друзья нашли для Рахели съемную каморку в новом квартале на дальней окраине Тель-Авива, за кладбищем, недалеко от того места, где нынешняя улица Бограшова упирается в сине-зеленое тело Средиземного моря, отчаянно и безуспешно пытаясь оттолкнуться от него хоть на чуть-чуть ради собственного выживания. Главным достоинством крошечной комнатухи, помимо низкой квартплаты, был выход на крышу, откуда в ясные дни, то есть примерно всегда, виднелось старое море с округлым, соскальзывающим за край картины горизонтом. Это делало квартиру похожей на башню.

*Привет тебе, новый дом и морская даль,
окно в двадцати локтях над земной дорогой.
Четыре ветра в окне,
а ночью – праздник огней...
Одна я, и слава Богу.*

*Давайте, тащите беды, обиды, вздор -
меня этот сор не ранит:
запечатан ветрами слух, залит морями взор,
и всё приемлю заранее.*

Ее и в самом деле не ранило ничто – ни равнодушие родных, ни когда-то близкие друзья из Дгани и Реховота, вдруг разом разбежавшиеся, как крысы, и теперь напряженно ожидавшие ее смерти, чтобы потом серой поганой грудой копошиться возле мертвого тела с легендами и воспоминаниями в зубах. Почти все они вышли с годами в партийные бонзы, министры, президенты – овцы и карлики, мясное стадо людоедского века, покорная пища отвратительного монстра. Новые люди? Люди? Человеком в этой компании была лишь она, Рахель – в своем царственном презрении, в уходе, в категорическом отказе от участия в мерзкой пищевой цепочке.

...И вот опять апрель. Апельсиновая роща под окном гедерского туберкулезного санатория. Ее привезли сюда всего лишь несколько дней назад, а теперь вот – снова в тель-авивскую больницу, да еще в такой спешке. Видать, дела совсем плохи, если даже на авто расщедрились. Не хотят, чтобы она окочилась прямо здесь, на глазах у тех, кто еще на что-то надеется. Рахель села на постели и задумалась, какое бы платье надеть. Вот уже сколько лет она обходилась двумя: коричневым, для выхода, и домашним – из простого белого полотна, легким и свободным, какие здесь носили двадцать лет назад, в начале десятых.

Они с Розкой впервые увидели такое платье на Хане Майзель, в свое первое яффское утро. Вот его и наденем. С чего началось, пусть тем и закончится.

– Вам не будет холодно?

– Нет-нет, доктор, я в порядке, спасибо.

Уже в машине медсестра накинула ей на плечи одеяло. За окошком мелькнул знакомый указатель. Попросить? Не попросить? Выгода твоего положения: умирающей не откажут.

– Доктор, мы ведь едем через Реховот?

– Да, госпожа. Но...

– Нельзя ли заскочить по дороге к моему старому знакомому? Буквально на минутку.

– Но мы и в самом деле очень спе...

– Попрощаться.

Доктор побряхтел и махнул рукой.

– Ладно, только, пожалуйста, быстро. Нам еще нужно...

– Я же сказала: на минутку.

Вот и дом. Правда, теперь узнать его трудновато: пристройки, пристройки... наверное, дома тоже склонны обрастать ненужными довесками, как и люди. Шофер вопросительно обернулся.

– Госпожа?

Рахель улыбнулась. Сегодня ей все можно.

– Знаете, я не уверена, что он там еще живет. А может, и дома никого нету. Вы не могли бы сходить узнать? Мне нужен Накдимон Альтшулер.

Она смотрела, как пожилой шофер отворяет калитку и степенно идет по дорожке к крыльцу. Надо же – заборчиком огородили... А тогда никаких заборов не признавали. Никто не соглашался на меньше чем всё, а потому и о дележке речи не шло. Шофер топтался на крыльце, стучал, заглядывал в дом. Действительно никого? Нет, вон дверь открывается... Вышел мужчина; шофер стал объяснять, показывая обеими руками то на машину, то на дом, то на небо. Мужчина молча слушал, затем пошел к машине. Вразвалочку, как ходят моряки и кавалеристы. Сердце екнуло, замерло и припустило вскачь. Это ведь он, Накдимон. Погрузнел слегка, а так – все тот же... и голову наклоняет совсем, как раньше.

Мысли метались, как вспугнутые куры. Хорошо, что платье такое надела: теперь тебя только по платью и узнаешь. Темна лицом стала красавица, да и усохла чуть ли не вдвое... даже волосы слежались, не блестят... зачем? Зачем ты это затеяла?

Доктор молча показал за спину. Накдимон повернул голову, и встретился с Рахелью взглядом. Он узнал ее сразу, в ту же секунду, без сомнения. Но как? Разве что по глазам...

– Боже мой! Рахель! Рахель!

Он распахнул дверцу. Рахель улыбнулась, протянула руку.

– А я думала – не узнаешь. Вот, попрощаться приехала. Ты извини, что я вот так, сидя... ходить уже не очень получается.

– Я не узнаю? Тебя? – Накдимон помотал головой. – Что ты, Рахель... что ты...

Он вдруг просунул вперед руки и одним движением вынул ее из машины, как малого ребенка. Рахель засмеялась.

– Куда это ты меня?

– Что ты, Рахель, что ты... – бормотал он, прижимая ее к себе. – Что ты...

– Как тут все изменилось, – сказала она, чтобы отвлечь его от горя. – И улица, и заборы эти. Нашу оливковую рощу тоже, наверное, огородили?

Накдимон снова мотнул головой.

– Я тебя... я тебя сейчас отнесу, посмотришь.

Держа ее на руках, Накдимон двинулся вниз по улице, а Рахель улыбалась и смахивала с его глаз слезы, чтобы он видел дорогу. Раздосадованный доктор Китаин выскочил из машины, хотел было крикнуть что-то протестующее, но не смог.

Рахель умерла той же ночью в палате тель-авивской больницы Адасса.

*Ни жертвой огневой,
ни гимном вдохновенным
не послужу тебе,
Страна моя, увы,
Ну, разве что – травой
на берегах Ярдена...
Ну, разве что – тропой
среди травы.*

*Мой бедный вклад убог –
я это знаю, мама...
Мой бедный вклад убог –
дочерний грех и стих...
Я – праздничный рожок
среди дневного гама.
Я – тихий плач ночной
в глазах твоих.*

9.

Когда он вернулся с коробкой и рюкзаком, Рахель уже спала, закрывшись в своей комнате; так следовало из особой тишины, стоявшей в квартире, тишины сна – не пустоты, не шуточной или злоумышленной засады, а именно сна, и в этом было разочарование и облегчение одновременно.

Разочарование – потому что хотелось увидеть ее еще раз, неважно какой – смеющейся, серьезной или сонной, пусть даже зевающей, ведь он еще ни разу не видел, как она зевает, а это наверняка захватывающе интересно.

Облегчение – потому что на самом деле для первого раза хватит, охолони чуток, переведи дух, пересчитай свои сегодняшние драгоценности, подыши на каждый камешек, отложи подальше, чтоб не потерялось... Как это там: подальше положишь – поближе возьмешь, не бери много – бери наверняка, и прочие заповеди Али-Бабы, нищего жителя убогой кромешности, набредшего ни с того ни с сего на пещеру с сокровищами, голова кругом, ноги колесом, душа птеродактилем... не наделать бы глупостей, не упустить бы, не спугнуть...

На кухонном столе записка, три слова: «Ешь что найдешь», и в этой повелительной краткости содержалась целая россыпь алмазов чистой воды – ведь так, без предисловий, обращений и подписей, командуют только своими, следовательно, он уже свой и не просто свой, но еще и в некотором роде доверенное лицо, поскольку безоглядное «что найдешь» предполагает неслабую степень доверия или, скажем, надежды на то, что человек не сгрызет стакан, не сжует полотенце, не откусит угол от раковины, а, со второй попытки открыв дверцу холодильника, – вот присосалась-то!.. – окинет восторженным взглядом початый пакет молока, два фруктовых йогурта, сросшихся на манер сиамских близнецов, сыр, хлеб, полдюжины яиц и скажет: «Нашел!»

На большее Илья не отважился, да и есть не хотелось. Он перешел в свою комнату, распаковал рюкзак, раскатал спальник. Сон если и был, то остался в прошлом, еще до наступления новой эпохи. Почему ему так повезло? Непривычно как-то: всю жизнь Илюша удивлялся тому, что люди выигрывают в лотерею, а то и просто находят деньги на тротуаре – с ним подобного не случилось никогда. Он не завидовал: судьба подкидывает подарки слабым, чтоб выжили; сильные справляются сами. И вот – такая лотерейная удача! Значит ли это, что он ослабел?

– Глупости... какая удача? Ты всего-навсего быстро нашел комнату – бывает, ничего особенного. Навоображал-то себе, навоображал... Ну сознайся – ты ведь придумал всю эту необыкновенность, она существует только в твоей голове...

– В голове? Чушь! Она живая, настоящая, там – в другой комнате.

Собственно, чудо в том и заключалось, что он вдруг оказался к ней ближе, чем любой другой смертный. Раз, два, три... их разделяли – или соединяли? – всего лишь три тонких перегородки, пять метров пространства – головокружительная близость! Илья встал и, подняв жалюзи, впустил в комнату город. Ерушалаим вошел без приглашения, как и подобает хозяину, осмотрелся, пошарил по стене отсветом фар приподзвнившегося автомобиля.

– Привет, – сказал Илья. – Ешь что найдешь. Например, меня. Только ее не трогай, ладно? Она нездешняя.

Ерушалаим молчал, поигрывая желваками теней. Чтобы найти, ему не требовалось искать. Илюша понял это не сразу, но, поняв, вдруг ощутил ужасную, до слез, горечь – такую острую и отчаянную, что глаза закрылись сами собой, чтоб не вытечь.

Он проснулся около полудня, сразу почувствовал, что ее нет, и посетовал на свою неожиданную глухую сонливость. Наверное, работает в Ботаническом. Илья заглянул за диван в гостиной – нет, соломенная шляпа торчала на том же месте, а значит, и Рахель не в саду. На лекциях? Честно говоря, ему самому сегодня позарез нужно было в универ, в библиотеку, к загодя заказанным подшивкам газеты «Давар» со стихами Рахели – восемь строчек, сияющих в безнадежной серяentine мелко, облыжного, быдловатого текста, нелепой рекламы, неразборчивых фотографий. Двадцать грошей за строку.

Но уходить не хотелось: что если Рахель вернется и снова уйдет еще до его возвращения? Он не знал ее расписания, ее планов, и спросить было решительно некого. Илья открыл ноутбук, в течение часа тупо взирал на игриво подмигивающий курсор, да так и закрыл, не добавив ни слова к давно уже выношенной и продуманной главе. Послonyaвшись по квартире, он включил телевизор, и тот сразу же отчаянно возопил: «Спасите! Спасите!». Судя по звуку, передавали детский мультфильм; Ктото гнался за Кемто, а может, наоборот, – Кемто за Ктото – этого Илья так никогда и не узнал, потому что вместо изображения на экране бушевала снежная метель.

Облегченно вздохнув, Илья взял отвертку и приступил к спасению... хотя кто тут кого спасал – неизвестно: он ли телевизор – от снега или телевизор – его – от изнуряющего ожидания... Впрочем, у успешного ремонта был еще один, несомненно положительный эффект: Илья мог с первого же дня доказать Рахели практическую пользу от своего соседства. Сняв крышку и по уши перепачкавшись в многолетней пыли, он почистил подозрительные контакты, переткнул все доступные разъемы, перебрал блоки, проверил трубку и только что не сплясал... но проклятый ящик упорно отказывался спасаться. Снег шел по-прежнему густо. Да и крики «Спасите!» прекратились, словно телевизор напрочь разочаровался в илюшиних способностях. Теперь вместо мультфильмов подлец предлагал передачу «Умелые руки».

Признав свое поражение, Илья оставил в покое телевизор и осмотрелся в поисках чего-нибудь другого, пусть даже попроще: уязвленное самолюбие жаждало немедленного успеха. После беглого осмотра выявились два кандидата в починку: болтающаяся дверца шкафа и подтекающий кухонный кран. Когда Илья твердой рукой взялся за дверцу, шкаф предупреждающе скрипнул: как и все старики, он обладал слишком большим жизненным опытом, чтобы доверять врачам.

– Не дрейфь, дедуля, – подбодрил его Илья. – Я шурупы подтяну, только и всего. Будешь, как новенький, до ста двадцати... ах, черт! Дедуля, дедуля!..

Дверная доска предсмертно пискнула и развалилась. Вдруг разом обессилев, Илья сел на пол и осторожно, чтоб, не дай Бог, не повредить и это, привалился спиной к дивану. Изувеченный шкаф злобно взирал на него сверху, как инвалид с папери. Да что за непраха такая! Как его теперь починишь, старую рухлядь? И ведь, как назло, ничего под рукой – ни инструментов, ни материалов... Спустившись вниз, Илья битый час слонялся по окрестным помойкам, пока не раздобыл проволоку и несколько деревянных обломков, при помощи которых с грехом пополам укрепил злосчастную дверцу. Снаружи она теперь выглядела почти как прежде, и это убедило Илюшу в том, что пришел конец ужащающему невезению, которое сопутствовало ему с самого утра.

Прежде всего желанный перелом должен был проявиться в замене прохудившейся водопроводной прокладки. Уж что-что, но эту операцию Илья проделывал бесчисленное количество раз, начиная лет с шести, и ни разу – ни разу! – не терпел неудачи. Тем не менее, учитывая предшествующие события, к текущему крану он приступил с максимальным почтением. Словно желая приободрить его, судьба послала Илье вполне рабочий разводной ключ, счастливо обнаружившийся прямо под раковиной. С таким рычагом можно было перевернуть мир, не то что сменить резинку!

Ржавая резьба поддавалась со скрипом. Илья покрепче перехватил ключ и нажал. Тут же где-то над головой послышался противный треск, посыпалась штукатурка, и стена раздалась, обнажив ржавый стояк со зловещим изломом, из которого текла, струилась, била вода, быстро переходя от тонкой струйки к мощному петродворецкому фонтану. Сбросив с себя первое оцепенение, Илья бросился вниз перекрывать входной вентиль. Конечно же, поиски нужного крана заняли чересчур много времени, и к моменту его возвращения кухня радовала глаз привольной водной гладью. Илья схватил миску и принялся лихорадочно вычерпывать.

Он уже заканчивал, когда на лестнице послышались шаги. «Соседи снизу... – в отчаянии подумал Илья. – Не иначе – и их залило. Сейчас скандал будет. Все один к одному...» Он поднял голову – в дверном проеме стояла изумленная Рахель. В ее взгляде, как в зеркале, отражалась не только картина потопа и разрушения, но и он сам – мокрый, взъерошенный, отмеченный каждым этапом сегодняшнего большого трудового пути: пылью из телевизора, мебельной трухой шкафа, грязью помоек.

– Вот... – только и смог вымолвить Илья.

– Боже мой! – сказала Рахель. – Какое счастье, что это случилось, когда ты здесь. Что бы я одна делала без такого замечательного ремонтника? Правда, сейчас ты больше напоминаешь жертву цунами... Только, пожалуйста, не молчи, говори, кого вызывать: пожарную команду или водопроводчика?

В гостиной загрохотало – это обрушилась дверца шкафа. Илья опустил руки; тряпка, как жаба, шлепнулась в лужу на полу.

– Вызови лучше «скорую»...

Вечером, когда, обессилев от битвы за живучесть, они сели пить чай в чистой, хотя и разоренной кухне, Рахель выразила ос-

торожную надежду на то, что ремонтный зуд нападает на ее нового компаньона не слишком часто.

– На раз в полгода я бы еще согласилась, но не чаще, ладно?

Илья смущенно пожал плечами.

– Можешь мне не верить, но вообще-то я действительно все умею. В прошлой жизни с малолетства дом на себе тянул. Не знаю, что и случилось. Просто не припомню, чтобы так вот – из рук вон... причем каждая мелочь... Сглаз, наверное. Нечистая сила.

– В прошлой жизни? – переспросила она. – Так ты еще и из мертвых восстаешь?

– Пробую. Выясняется, что не так это легко...

Он посмотрел в ее смеющиеся глаза и вдруг начал рассказывать всю свою историю, с самого начала, подробно и честно, удивляясь и этой подробности, и тому, что делает это впервые, хотя такая важная штука, как собственная жизнь, наверняка заслуживает большего внимания. Рахель слушала молча, не смущая прямыми взглядами, задумчиво качала загорелой ногой, наливала чай из большого фаянсового чайника. Потом вдруг сказала:

– Ты забыл самое главное, без чего жизнь не поменяешь. Имя.

– Имя?

– Ну да. Нужно обязательно сменить имя. Доронин, да? – она посмотрела на подсыхающий потолок, словно отыскивая там нужную надпись. – Ну, например, Дор. Чем плохо? И звучно, и значимо.

– Дор... – растерянно повторил Илья. – Это имя или фамилия?

– Неважно. Просто Дор и все тут. Я вот – Рахель и все тут. И ничего, живу.

– Но зачем? Что это изменит? Ведь имя – это всего лишь слово? Разве суть в словах?

– А в чем же еще? – удивилась она. – Конечно, в словах. Вот смотри: допустим, тыходишь в автобус. За рулем сидит кто-то. Ты знаешь, что его зовут Шофер, так? Значит, все в порядке. Но стоит кому-нибудь шепнуть тебе на ухо, что это вовсе не Шофер, а, например, Похититель – о, как сразу поменяется твое настроение! От одной только перемены имени! Заметь, он все так же ведет автобус, подъезжает к остановкам, тормозит на светофорах, но ты уже ждешь от него совсем-совсем другого. Ты ждешь, когда же он проявит свою подлую бандитскую суть! Суть! Но вспомни: еще минуту назад эта самая суть была абсолютно иной – хорошей, законной, полезной. И поменялась она всего лишь от перемены имени. Спрашивается, в чем же она, твоя хваленая суть, если не в слове?

– В самом человеке, – отвечал Илья. – Том, что ведет автобус. Окружающие могут думать о нем все, что угодно, но разве это изменит его самого? Нет. Если он называет себя шофером, то и действует как шофер.

– Вот именно! – торжествующе вскричала Рахель. – Наконец-то ты понял. Я говорила о слове, которым его называют пассажиры. Ты – о слове, которым он называет сам себя. Но в обоих случаях речь идет о словах! Кстати, чаще всего эти два названия совпадают, но случается что и нет. Тогда жди беды: кто-нибудь непременно начнет выписывать неподходящие случаю кренделя. Так или иначе, Дор, человек целиком и полностью зависит от своего имени... Думаешь, если бы тебя действительно звали Илья Доронин, мы с тобой

бы тут сейчас сидели? Но я-то сразу поняла, что ты кто-то другой. Узнала с первого взгляда.

– С первого взгляда... – эхом откликнулся он. – Я тоже.

Он тоже узнал ее с первого взгляда, даже с этой чудовищной стрижкой. Трудно было не узнать эту гордую нежность и царскую эту статью... Она могла называть его как угодно, хоть чайником: суть действительно заключалась не в слове, потому что он откликнулся бы в любом случае, на любое имя, прозвище, погоняло, каким бы оно ни было обидным или пренебрежительным – на «Эй, ты!..» на «Эй!..», на «Э!..», на беззвучный кивок, на легкое движение указательного пальца. Он принадлежал ей со всеми потрохами, причем принадлежал радостно и осознанно, как верный любящий пес.

– Что тоже?

Она недоуменно приподняла брови, всмотрелась в Илью и вдруг расхохоталась. Ему стало больно: отчего-то ее смех ранил намного сильнее самых язвительных замечаний. Отчего? Оттого, наверное, что даже очень злые уколы остаются оружием равных, в то время как подобный смех – оплеуха ничтожеству, которому никогда не встать вровень с королевой.

– Извини, – сказала Рахель, почувствовав его настроение. – Не обижайся, ладно?

Илья молча кивнул. Минутку-другую ей удавалось удерживать на лице скорбно-виноватую гримасу; казалось, Рахель уже совсем справилась с хохотом, загнала его внутрь, утрамбовала деликатным покашливанием и запила глотком чая. Увы, один лишь неосторожный взгляд обрушил с таким трудом возведенную плотину – смех снова вырвался наружу, неудержимо наверстывая недоосвоенные, недосмеянные объемы. Илья поднялся со стула. Им двигало чувство самосохранения: сидеть здесь и дальше означало бы верную смерть от горчайшей горечи. И хотя после перенесенных тяжелых ударов не оставалось, пожалуй, никаких причин цепляться за жизнь, умереть хотелось менее больно – в тишине и одиночестве, подальше от этих смеющихся серо-голубых глаз.

– Ладно. Я это... спать. Завтра вставать...

– Дор!.. ох... Дор... – только и смогла она вымолвить ему вслед. – Не надо, не обижайся... ох... видел бы ты сам, какая у тебя страдальческая физиономия... Дор!...

Каждый шаг отдавался стоном уязвленного сердца. Илья вошел в комнату, прикрыл за собой дверь, помедлил, прикидывая – запереться на замок или нет – и решил не запираться, чтобы облегчить работу тем, кто назавтра придет выносить его хладное тело. Благородство этого решения несколько приободрило его; не раздеваясь, Илья лег на кровать лицом вниз и закрыл глаза. Ее смех по-прежнему звучал в его ушах, но почему-то утратил свое недавнее оскорбительное значение, и это удивило Илью, причем удивило неприятно – поскольку в только что испытанном чувстве крайнего отчаяния странным образом угадывалось другое, прямо противоположное ему, чувство крайнего счастья, так что в итоге становилось и вовсе непонятно, как следует называть это в высшей степени конфузное состояние души.

Зато он вдруг припомнил прикосновение ее пальцев, когда она пыталась задержать его при выходе из кухни, а он, идиот, стряхнул ее руку в порыве дурацкого праведного гнева... как он мог?.. ведь

это было первое касание, самое первое – возможно ли, чтобы человек в здравом уме столь безрассудно отбросил в сторону подобную драгоценность? На темном экране плотно закрытых век чудесным стоп-кадром сияли ее затылок, ее смеющийся рот, блеск зубов за губами, длинное запястье, загорелая исцарапанная голень...

Затем в памяти всплыли ее стихи – всплыли и принялись кружиться, как длинный извилистый стебель речного растения на поверхности водоворота, обморочного омута сна, все быстрее и быстрее, теряясь в сгущающихся сумерках сознания, в безутешных слезах неожиданного счастья.

*Та, другая, которая после придёт
и поселится в сердце твоём,
чтобы пить эту горечь, отраву и мёд,
что еще мы любовью зовём,*

*та, другая –
стена, пелена, белена...*

*но ведь ты же вернёшься потом –
целовать мою тень, что навек вплетена
в эти строчки нетленным жгутом?*

Пробуждение было резким, насильственным. Дор сел на постели и затряс головой, словно пытаясь таким образом ввинтить, внедрить ее в пока еще чуждую материю яви. За окном, бешеной кошкой прыгая между холмами, выла сирена; в домах напротив одно за другим зажигались окна, слышались чьи-то встревоженные неразборчивые голоса, потом что-то сильно и мягко стукнулось снаружи в дверь его комнаты и принялось суматошно колотиться, все учащая и учащая паническую дробь ударов. Боже мой, это ведь...

Он вскочил. Дверь открывалась наружу, вернее, должна была бы открыться, но не могла, потому что на нее налегали, пытаясь открыть внутрь.

– Успокойся! – несколько громче, чем нужно, крикнул Дор, чувствуя, как ему передается ее необъяснимая паника, всеобъемлющий ужас живого существа, мечущегося в кольце лесного пожара. – Я сейчас открою, отойди на шаг!

Наконец дверь сдвинулась с места – сначала с трудом, через силу, а потом одним распахом, наотлет, с грохотом вмазавшись в застывшую стену, и Рахель, чуть не сбив Дора с ног, с размаху впечаталась в его грудь – лицом, телом, слезами, жалобным лепетом, добела сжатыми кулаками, требовательной мольбой о защите и покрове.

– Тихо, тихо... – шептал он, обхватив ее обеими руками и остро ощущая их катастрофическую нехватку: всего две, а надо бы десять или двадцать, или пятьдесят – чтобы прикрыть ее всю, без остатка, до пяток, чтоб ни кусочка, ни пятнышка, ни клеточки не высывалось наружу, под страшную угрозу неведомого ему, но так испугавшего ее мороза, пожара, потопа, вселенского катаклизма. И Рахель притихла, почувствовав это его желание, доверившись ему и всхлипывая уже скорее вдогонку своему уходящему ужасу.

Сирена вдруг поменяла тон, пошла на убыль и сдохла, плавно вкрутившись в саму себя; Ерушалаим, насмешливо приподняв брови аркад, вглядывался в свои темнеющие вады, словно прикидывал – не

обнаружится ли там еще какое-нибудь беспокойство? Затем стукнула оконная рама, и внятный женский голос произнес:

– Ави, что это было, Ави?

– Дыши ровнее, Браха, солнышко, – ответили с тротуара. – По радио говорят – ложная тревога. Я бы им, гадам, за такое яйца открутил.

– А чего, и открути, – одобрила невидимая Браха. – Потом себе прикрутишь.

– Здесь спать сегодня дают?! – прокричал кто-то третий через улицу. – Или только мне утром на работу?

Снова захлопали закрываемые окна, защелкали жалюзи, ставни, трисы, и через минуту все смолкло. Дор осторожно повернул голову, тронул щекой стриженую макушку.

– Вот видишь, ничего страшного не случилось. Ложная тревога. Бывает, срабатывает.

– Не могу этого звука слышать, – сказала она ему в ключицу. – С детства. Не гони меня, Дор, ладно? Я с тобой немного полежу и пойду. Мне холодно...

– Шш-ш... – прошептал он, приподняв ее над полом и так, в охапке, перемещая свою драгоценную ношу к кровати. – Молчи...

Забираться под спальник не разъединяясь оказалось технически сложной, но поразительно приятной задачей. Дор чувствовал на своих щиколотках холодные ступни ее ног, голова его кружилась.

– Как хорошо, что ты здесь, – бормотала она, щекоча ему шею дыханием. – Не знаю, что я бы сейчас одна делала. Эти сирены... в девяносто первом. Я тогда только в школу пошла. Мы – я и моя бабушка...

Они – шестилетняя Рахелька и ее шестидесятилетняя бабушка – возвращались из продуктового магазина по тихой послеполуденной рамаганской улице, когда вдруг взвыла сирена, и прохожие стали поспешно натягивать на себя противогазы.

В те дни каждый носил на боку противогаз в специальной картонной коробке на тонком черненьком ремешке, а если кто забывал его дома, того строгая учительница Малка отказывалась допускать к занятиям. Каждый учебный день они тогда начинали с репетиции ракетной тревоги; до бомбоубежища бежать было далеко, а потому по команде Малки дети просто надевали противогазы и, проверив ладошкой воздухозаборник, лезли под столы. Эта процедура выглядела ужасно смешной, но почему-то никто не смеялся, а ведь хорошо известно, что смешное, над которым никто не смеется, имеет обыкновение превращаться в страшное.

Но Малка – одно, а бабушка – совсем-совсем другое. Бабушка в противогазы не верила совершенно.

– Надо же, какую муть напридумывали, – говорила она, возмущенно толкая ногой свою противогазную коробку, лежавшую на полу в прихожей. – Лишь бы галочку поставить. Как будто эти козы морды кому-то нужны... Уж я-то знаю!

Она и в самом деле знала. Когда-то, очень давно, задолго до рахелькиного рождения, люди жили годами под непрерывными бомбежками и артобстрелами – и ничего, справлялись без всяких противогазов.

– И ничего, справлялись! – бабушка распрямлялась во весь рост и задорно упирала руки в боки. – А ведь тогда, Рахелька, тоже эти дурацкие резинки всем раздавали. Только мы их дома оставляли. Другие вещи нужнее были. Рукавицы, к примеру. Рукавицы, песок и

лопата. Мы, дети еще, на крышах дежурили. От зажигалок. Он зажигалку бросит, а мы ее лопатой хватать – и в бочку!

Рахелька восхищенно слушала. Она плохо представляла себе опасность, исходящую от зажигалки – маленького пластмассового предмета, при помощи которого Малка и другие учительницы прикуривали свои сигареты на переменах во дворе. Но, видимо, таинственный Он бросал эти зажигалки в таких количествах, что они и в самом деле всерьез угрожали бабушкиной и всеобщей безопасности. Закрывая глаза, Рахелька видела сыпящийся с неба густой град разноцветных зажигалок, а также – бабушку на крыше, сгребаящую их лопатой для последующего бросания в огромные бочки. От этой картины Рахельке становилось не по себе: этак ведь и по голове попасть может, и никакой зонтик не спасет! Тем большего уважения заслуживали бабушкины ловкость и храбрость.

Неудивительно, что Рахелька всякий раз вздыхала с облегчением, возвращаясь к надежной бабушке из ненадежной школы с ее неприятными, не то смешными, не то страшными малкиными репетициями. Они с бабушкой спали в одной комнате, и уже одно это вселяло уверенность в том, что ничего плохого произойти просто не может. Если, к примеру, случится такое, что Он вздумает бросить свою ракету прямо на них, то бабушка незамедлительно применит свой замечательный противобомбежный опыт. Хватать – и в бочку!

Обычно сирены взывали по ночам, причем Рахелька их не слышала из-за своего очень крепкого сна. Бабушка будила ее, когда все уже были в сборе, включая зевающих родителей и хомячка Пиню в его большой круглой клетке. Дверь в комнату плотно закрывали, под нее укладывали мокрую тряпку для герметичности, и все, кроме бабушки, натягивали на себя выданные перед войной противогазы, чтобы так и сидеть до самого отбоя. Хомячкам ничего такого не выдавали, поэтому пинина клетка просто накрывалась влажным полотенцем, которое, по маминым словам, защищало от отравительных веществ не хуже противогаза.

Вообще-то, Рахелька и сама предпочла бы полотенце, но ей не хотелось расстраивать родителей, которые страдали в своих противогазах только для того, чтобы подавать ей правильный пример.

– Ну? – укоряла бабушку мама. – Подумай, какой пример ты подаешь ребенку.

– Ничего, ничего, – ворчливо отвечала бабушка. – Вашего примера ребенку вполне достаточно. А я лучше помру от ракеты, которой нету, чем от астмы, которая есть.

Так они и сидели впятером, загерметизировавшись мокрой тряпкой, в астме, полотенце и противогазах, сидели и ждали. Иногда слышался отдаленный гул, и папа говорил: «О, упало», а бабушка сокрушенно качала головой, словно досадовала, что упавшая ракета оказалась вне пределов досягаемости ее ловкого «хватать – и в бочку». Затем по радио объявляли отбой, и все расходились по местам: родители – в спальню, Пиня – в прихожую, а Рахелька с бабушкой – к своим подушкам.

Но эта тревога абсолютно не походила на все предыдущие, ночные. Эта сирена выла среди бела дня, на улице, среди невысоких рабатганских домов и деревьев; она, как истеричная девчонка, каталась по неровным плиткам тротуара, по мостовой перед капотами

автомобилей, и те вдруг стали зачем-то сворачивать к обочине и останавливаться, а из них выходили люди с растерянными лицами, и тут же принимались натягивать противогазы – словно для того, чтобы эту растерянность скрыть. Глупые, они и не догадывались, что в бабушкином присутствии им бояться решительно нечего.

Рахелька уже раздумывала, стоит ли объявить им об этом прямо сейчас, как бабушка остановилась и, больно схватив ее за руку, пробормотала:

– Ой, а у нас-то и нету...

– Чего нету, бабуль?

– Мы ж не взяли... противогазов-то этих чертовых... не взяли!

Рахелька оторопела. Услышать такое от бабушки...

– Быстрее! – вдруг дернула ее та и пустилась рысью, волоча другой рукой тележку с покупками. – Бежим, детонька, скорее...

– Мне больно! – закричала Рахелька. – Бабуля! Пусти! Больно! Пусти!

Но бабушка, словно не слыша, стремилась вперед, покачиваясь и тяжело дыша. Сирена продолжала выть. Это прежде Рахелька могла не расслышать ее под ватным одеялом сна, за несколькими стенами, в глубине тесного жилого блока, но теперь, на открытом пространстве улицы, эта тварь вопила так громко, что приходилось открывать рот, чтобы не было больно ушам. А вокруг... вокруг в панике бежали, бессмысленно метались из стороны в сторону, стояли пораженные столбняком, невероятные, уродливые, инопланетные существа – страшные марсианские рыла с вытарашенными кругляшами гипертрофированных гляделок, кабаньим пятакom вместо носа и гладкими бурыми щеками.

Но самый ужас ситуации заключался в бабушке. Паника поразила и ее – единственную и главную защиту от бомб, зажигалок и ракет, а это означало верную гибель – не только ее, рахелькину, но общую – гибель всего мира. А подумав о всем мире, Рахелька вдруг вспомнила о Пине – одиноком, беззащитном хомячке Пине – оставшимся без ничего – без мокрой тряпки, без влажного полотенца... – без ничего! Пиня был попросту обречен.

– Нет! – отчаянно рванувшись, закричала Рахелька. – Пусти!

Бабушка сделала еще два неверных шага, выпустила из рук и ее, и тележку и вдруг стала садиться на землю, прямо на тротуар. Она садилась, держась обеими руками за грудь, и остановившимися круглыми глазами смотрела в рахелькино лицо, и шестилетняя девочка, еще не осознавая до конца и уж точно не умея ничего объяснить словами, видела в этих глазах все, о чем не имела до той минуты никакого понятия: ужас многодневной бомбежки, черную печную пыль обрушившегося дома, саночки с окоченевшим телом двоюродного брата, умирающую от голода мать, трупы на улицах, тифозных вшей и смерть, смерть, смерть – все то, что гналось за бабушкой с детства через всю жизнь, гналось, гналось и настигло лишь в старости, в другом городе и другой стране – вот этой внезапной уличной сиреной, которая умолкла только сейчас, когда бабушка уже сидела на тротуаре большим круглым комом.

– Догнала, проклятая... – тихо сказала бабушка и обмякла, продолжая смотреть на внучку, но уже не так, как прежде, а как бы сквозь.

Рахелька дернула ее за рукав.

– Бабуля, ну скорее! Там Пиня! Без полотенца!.. Ну пожалуйста, ну бабуля...

Но бабушка не отвечала – вообще, даже когда Рахелька заревела в голос от обиды и страха за Пиню и за себя, даже когда вокруг стали собираться суетливые марсиане и приехала санитарная машина с удивительными раскладными носилками. Потом бабушку увезли, а Рахельку передавали из рук в руки, из комнаты в комнату, пока не вбежала расстрепанная и заплаканная мама и не забрала ее домой, где хлопотал в своей клетке живой и невредимый Пиня, и можно было наконец вздохнуть с облегчением, оттого что все кончилось благополучно.

Мешали лишь неприятные воспоминания о пережитом страхе и досада на хвастливое бабушкино вранье. Поэтому Рахелька твердо решила не прощать бабушку как минимум до завтрашнего вечера и ни за что не поддаваться, когда та начнет подлизываться по возвращении. Но бабушка не вернулась ни сегодня, ни завтра, никогда. То, что догнало ее на улице, называлось смертью.

– Инфаркт, – бормотала Рахель, прижимаясь мокрой от слез щекой к затекшему плечу Дора. – Мне уже потом объяснили. Обширный инфаркт...

– Шш-ш... – успокаивающе шептал Дор. – Успокойся. Это не обязательно связано с сиреной. Сердце – странный моторчик, сама знаешь, ты ведь у нас биолог...

Она подняла голову, горько усмехнулась.

– О, да. Не обязательно. Они употребили именно это слово. В список жертв Первой иракской войны моя бабушка не попала. Как, впрочем, и в список жертв Второй мировой.

– Рахель, милая...

– Нет-нет, – перебила она, утирая слезы. – Не надо. Ты все равно не поймешь. Ты не видел.

Он ведь и в самом деле не видел *тех* бабушкиных глаз – за несколько секунд до того, как они стали смотреть сквозь. Ах, бабуля, бабуля... хорошенький подарок оставила ты напоследок своей любимой внучке: дорогу в дымящуюся преисподнюю, в кошмарную испарину пережитого, в кровавый морок проклятого века. Оставила невольно, невзначай. Можно ли винить тебя за это?

Дор осторожно пошевелил плечом. Так уже, наверное, занемело, что совсем не чувствуется, а он, бедный, терпит, боится спугнуть. Ну да, как же, поди спугни меня сейчас. Он и не понимает, дурачок, как нужен мне в эту минуту – каждой своей клеткой, каждой мышцей, каждой капелькой пота. Потому что от смерти есть только одно лекарство... положи меня печатью на сердце твое...

Рахель приподнялась на локте, склонилась над его ждущими, жадными, жаркими глазами, провела губами над запрокинутым лицом, лаская одним лишь дыханием, движением воздуха, не поцелуем, а его возможностью, более острой и пронзительной, чем сам поцелуй. Она почувствовала его руки на спине, на бедрах, на груди – повсюду, где их ждала и жаждала гладкая, отзывчивая, прохладная и пылающая кожа... нет, они вовсе не онемели, эти руки, быстрые и вязкие, нежные и сильные, они говорят убедительней и красноречивей многих слов... а вот и слова – добавкой, и какой добавкой... – шепотом – чьим? – его?.. ее?.. – в приближающиеся губы.

– Я люблю тебя. Я люб...

Запечатлей меня, любимый, в сердце своем, ибо лишь так смогу я остаться в этом мире, лишь так смогу победить смерть... лишь так... и так... и так...

*Пусть рот прижат ко рту, но души далеки,
в сердцах разлад.*

*Мы – скованные сном пустынные зверьки,
танцующие в ад.*

*И в этих пьяных па, и в звяканьи цепи,
и в бесовстве огня
не слышен стон молитв, не слышен вздох тоски:
"Запечатлей меня..."*

10.

Дор проснулся оттого, что счастьем стало тесно во сне, и долго лежал, не открывая глаз и чувствуя, как оно привольно и безудержно, подобно каше из волшебного горшочка, перетекает в явь и заполняет ее всю. Потом он закинул руки за голову и длинно-длинно потянулся, с наслаждением ощущая трепет каждой мышцы, хруст каждой косточки. Это тело принадлежало отныне не совсем ему одному... вернее, нет, не так – оно всё принадлежало ей, без остатка, со всеми своими потрохами – если, конечно, потроха заслуживали столь священной принадлежности. Рахель освятила своими прикосновениями этот живот, поцелуями – эти плечи, и теперь Дор казался сам себе чуть ли не алтарем или, по меньшей мере, драгоценным предметом культа.

А предметы культа требуют ухода, не так ли? Хорош алтарь – под армейским спальником, на ветхой простыне, даже без подушки!

– У тебя даже нету подушки... – так сказала она ему, когда уходила под утро. – Мне нужно обязательно выспаться, извини, любимый...

Любимый... – Это ты! Так зовут тебя теперь, понял? Он вздохнул, переполненный, и открыл глаза. Счастье плескалось в комнате, угрожая коротким замыканием голой лампочке под потолком. Ерушалаим молча смотрел сквозь окно и сквозь зеркало шкафа, отчужденный и самодостаточный, как всегда.

– Эй! – окликнул его Дор из постели. – Не будь таким букой, ладно? Хотя бы в это утро. Айда за подушками! Понимаешь, моей любимой нужно хорошо высыпаться. На какой улице ты продаешь самые лучшие подушки?

Город безучастно молчал, не реагировал, просто смотрел сквозь, как... как кто?.. как что-то очень недавнее... Память Дора завозилась, заковхтала, выковыривая из ближней груды комки разговоров, щепки впечатлений, обрывки мыслей... да так ничего и не накопила.

– Что ж ты так, глупая курица? – пожурил ее Дор. – А впрочем, не беда, не страшно. С чем его только не сравнивали, этот Ерушалаим. Обойдется и без нас. Правда, дружище?

Нет, не пронять его и фамильярностью: ни один мускул не дрогнул на тяжелом бургистом лице, изрытом глубокими морщинами оврагов. Уж больно много повидал он на своем веку счастливых – мимолетных, пролетом в несчастье. Поди с таким подружись... Этот город давно уже не шел в приятели ни к кому, кроме неба. Ну и ладно, больно надо... мы нынче и сами самодостаточные.

Холодные плитки пола, дверь, тихий коридор, на часах в гостиной – полдень. Может, она еще здесь, спит у себя в комнате? Дор замер, прислушиваясь... Нет, ушла – иначе он непременно почувствовал бы ее дыхание, непременно.

В ванной чего-то не хватало – он даже не сразу понял чего, потому что запах Рахели присутствовал и там, мешая сосредоточиться, осознать значение иных – второстепенных, но весьма показательных в своей тревожности знаков – знаков отсутствия. Отсутствовали ее предметы, бывшие здесь еще вчера вечером: бутылки с шампунями, крема, щетки... – все, кроме полотенца, сиротливо свисающего с заглушины батареи.

Сердце его вдруг взвизгнуло и заняло за забором ребер, как брошенный дворовый пес. Притопнув на него ногой, Дор на цыпочках вышел из ванной. Дверь в комнату Рахели была приоткрыта. Ну что ты стоишь истуканом? Это ведь всего лишь вход в комнату. А коли так, то и войди. Просто войди, слышишь? Дор еще раз цыкнул на сердце, глубоко вдохнул и открыл дверь.

Он стоял на пороге, разглядывая царящие в комнате хаос и разорение, меру которых было трудно даже определить поначалу – то ли из-за слез, то ли из-за приступа мигрени, тем более мучительного, что до того Дор понятия не имел о мигренях: голова у него болела крайне редко, да и то лишь с похмелья, но в этот момент отчего-то не подлежало ни малейшему сомнению, что речь идет именно о мигрени и ни о чем ином.

Уходя, она так спешила, что вывернула вверх дном все содержимое, все вещи из шкафа и из ящиков комода. На полу валялись разрозненные лоскуты, скомканые конверты, фигурно вырезанные бумажные листки – по всей видимости, образцы выкройки. Он не помнил, сколько простоял так на пороге, не решаясь войти и лишь ощупывая комнату глазами – час?.. два?.. Время не исчезло, но превратилось в шум, в море; оно мигренью громыхало в ушах, булькало в голове, как в кастрюле, закипало, угрожая снести крышку.

Потом Дору удалось сдвинуться с места на шаг, на другой. Чтобы придать этим движениям смысл, он начал приводить комнату в порядок, собирая и складывая в ящик разбросанные клочки ее мало-помалу исчезающего присутствия. Он бродил так до темноты, пока не наколотся о шитье с оставленной иголкой. Тогда он сел на пол, словно скорбящий на шиве, и сидел так очень долго, не видя уже ничего, даже собственных слез.

Почему? Этот вопрос вынырнул из морского шума головной боли, как выбеленная солнцем доска, обломок крушения, вынырнул и уже не исчезал, покачивался на волнах, а потом, когда начался отлив и схлынула острота первоначальной муки, остался на береговом песке, поблескивая непросохшей соленой влагой. Почему?

Не «почему она ушла?» и не «почему она ушла именно таким образом?» – с этими загадками еще предстояло разбираться, возможно, долго или даже очень долго, или даже безнадежно и безответно, потому что для разгадки требовалось прежде отыскать ее саму и добиться ее согласия на разговор, на ответ, на разъяснение, а затем еще и заставить себя поверить этим разъяснениям и ответам.

Но существовало еще и другое «почему?» – то, которое никак не зависело от Рахели, а только от него самого – от Дора, от Ильи... или

как тебя там? Почему эта история так сильно тебя ранила? Подумай, парень: вы ведь знакомы всего-навсего двое суток... ну ладно, чуть больше – пятьдесят два часа. Чего стоит связь, счет которой идет на часы – не на годы, не на месяцы, даже не на дни – на часы?

Посмотри на это трезвым взглядом взрослого, стороннего человека: обычный перепихон, случайная случка случайных людей; здесь подобное совокупление называют еще красивым словом *хафуз*, неспроста так похожим на «конфуз» – наскочили друг на дружку в лифте или в ресторанном сортире, подергались в такт разбушевавшимся гормонам, кончили по-быстрому и разбежались, чтобы никогда больше не встретиться, а если и встретиться, то не узнать – не в смысле «не признаться», а именно «не узнать», потому что действительно не запомнилось ничего, кроме смутного, смытого, не слишком приятного факта повседневности – вот и все, о чем горевать?

Больше того, если разобраться, то это даже и не *хафуз*, а что-то совсем уж пошлое: для *хафуза* все-таки требуется определенная смелость, безоглядность, анархия души, отчаянность момента, здакая гусарщина – как со стороны поручика ржевского, так и со стороны графини маньки; а тут... а что тут?... – да ничего, унылая предопределенность, механическая вялость действия: вместе живем – вместе и спим, где свалились, там и сваялись, тьфу, мерзость!..

Эй, эй, стоп, господин Дор! Зачем врать-то, да еще так грубо? Ты ведь неспроста назвал это связью, правда? Потому что речь идет именно о связи, называемой еще судьбой – крепкой, дальней, неразрывной, основной, существовавшей задолго до вашего рождения, как и все основные связи-судьбы.

В самом деле, разве не проявлялась она давным-давно, все сильнее и сильнее подталкивая вас навстречу друг другу, сначала исподволь, деликатно – общими знакомствами, близостью событий, а затем, когда ваше непостижимое упрямство вынудило судьбу к еще большей открытости – грубее, чуть ли не сталкивая носами в Ботаническом саду. Когда же и это не помогло, она напрямую сунула тебе в карман записку с номером телефона – куда уж яснее! Но и тогда – даже тогда!.. – ты не чесался еще несколько дней, пока судьба, уже не на шутку рассердившись, не выбросила тебя к чертовой матери из твоей берлоги вместе с безвинно пострадавшими друзьями-поэтами!

Не слишком-то это похоже на случайность, на пятьдесят два часа знакомства... Скорее – пятьдесят два часа осознания долгого прежнего родства. Так вот живешь себе, скрючившись в тесном и темном каменном мешке, дышишь собственной вонью, не зная о существовании чистого воздуха, неба, света... пока вдруг не вытащат за шкирку, не встряхнут, заставляя разлепить загноившиеся от неупотребления глаза, понуждая вдохнуть чистую свежесть утра, и ты вдыхаешь, и смотришь – просто вдыхаешь и смотришь, чего проще?.. но при этом внутри тебя что-то щелкает, что-то меняется, волшебным и неправым – возможно, это расправляются опавшие легкие?.. – меняется настолько, что теперь уже никак не вернуться назад, в мешок, – просто потому, что не сможешь там дышать, задохнешься и все.

Он сидел на полу, положив руки на колени, а голову на руки. Мигрень ушла, в сознание постепенно возвращалось подобие ясности. Где-то это все уже происходило, не так ли? Причем происходило не с тобой... Дор напрягся и вдруг вспомнил. Ну конечно! Лоскуты на полу,

вывороченные ящики комода, выкройки, шитье с иглой... – все это оттуда – из другого текста, другого авторства, других времен! Какая девушка теперь станет шить? Что за чушь! Ты в принципе не мог наколоться на ту невынутую иглолку – хотя бы потому, что они не существуют здесь и сейчас – их просто нету – ни иглолки, ни шитья – нету, остались там, в давнем прошлом, вместе с образчиком выкройки!

И комодом. Ну сам подумай: как в современной съемной квартире может оказаться старый пузатый комод, ровесник позапрошлого века? Он принадлежит совсем другим комнатам, лавкам антиквариата, свалкам, музеям... Погоди, погоди... куда же я тогда складывал?.. подбирал с пола и складывал?.. – Никуда, идиот! Никуда не складывал и ничего не подбирал! Этого просто нету, нету, пойми наконец – привиделось, показалось, приснилось... Нет. Быть такого не может. Хотя... А ты проверь, дурачина. Это ведь так легко проверить: просто открыть глаза и...

Дор поднял голову и посмотрел. Кровать. Тумбочка. Стол. Два стула. Высокий стенной шкаф с антресолями и пластиковыми раздвижными дверцами. Книжная полка. Комода в комнате не было.

Так... он медленно встал, опираясь на стену. Теперь – спать. Немедленно спать. В надежде на то, что проснешься нормальным человеком, а не комодом, набитым выкройками восьмидесятилетней давности. Пошатываясь, Дор миновал коридор, вошел в свою комнату и зачем-то заперся. Ерушалаим все так же отчужденно смотрел сквозь него и далее – сквозь зеркало, стены, шкафы и комоды – на что-то свое, неведомое и недоступное человеческому взгляду. Последним усилием Дор опустил жалюзи, упал на свою постель и отключился.

Но отдохнуть не получилось и во сне. Он шел в крошечной темноте по бесконечному подземному лабиринту, шел, утыкаясь в невидимые тупики, возвращаясь наощупь и сворачивая наугад, шел и шел, вытянув вперед левую руку и прижав к груди правую, в которой разматывался подаренный ею нитяной клубок – а еще говорили, будто девушки теперь не шьют!.. шел, придерживая локтем заткнутое за пояс оружие.

В принципе, можно было и не идти, а просто стоять и ждать – ведь враг нашел бы его и сам, но ходьба придавала движениям уверенность, вроде разминки перед боем. Потом впереди забрезжил свет; Дор приостановился, давая глазам привыкнуть, и вошел в огромную пещеру, почему-то похожую на крохотную шестиметровую советскую кухню, где, втиснувшись между холодильником и плитой, его ждало рогатое чудовище.

– Ты знаешь, кто я? – спросило чудовище.

– Конечно, – отвечал Дор, нащупывая оружие. – Ты – Минотавр.

– Это само собой. Но кроме того я – твой отец.

– У моего отца не было рогов.

– Еще как были, – рассмеялся отец. – Ты что, забыл? Я ведь уже давно работаю быком-осеменителем. А какой бык без рогов, сам подумай? Это ж телкам насмех... Присаживайся, Илья, поговорим.

– Зови меня Дор.

– Взят новое имя? Ну и правильно. Без этого жизнь не переменишь. Я вот тоже теперь, как видишь, – Минотавр. А до того был Петром. А до того...

– У меня мало времени, – перебил его Дор.

Отец понимающе кивнул.

– Ну да. Ты ведь пришел меня убивать, правда? Вот только как ты думаешь это сделать со своим дурацким газовым пистолетом?

Черт! Дор посмотрел на свое оружие: это и впрямь был совершенно бесполезный в такой ситуации газовый пистолет – как тогда, в Питере. Здесь, в подземной тесноте кухни, он не годился даже для обороны – наверняка, только раззадорит проклятого быка. Усмехнувшись, отец приоткрыл холодильник и достал оттуда ржавый гвоздь-пятнашку.

– Вот. Храню, как видишь. В морозилке, чтоб не испортился... – он положил гвоздь на стол и подвинул поближе к Дору. – Бери, не стесняйся. У минотавров сердце там же, где у людей: вот здесь, под этим ребром. Давай, я отвернусь.

– Слушай, – сказал Дор. – Почему?

– Почему тебе сейчас так больно? Роды – это всегда больно, сынок.

– Я не об этом. Почему ты тогда ушел?

Отец пожал плечами.

– Ты меня разочаровываешь. Дору такие вещи должны быть понятны без объяснений. Илье – нет, но Дору...

– Свобода?

– Конечно. Свобода – это когда ты выбираешь сам – ты, а не обстоятельства – свои или чужие.

– И какими же обстоятельствами были для тебя мы с мамой – своими или чужими?

– Я думал, ты понял, – глухо сказал отец. – Хотя бы тогда, когда сам уходил, после маминых похорон. А впрочем, неважно. Бери свой гвоздь и делай то, за чем пришел.

Дор протянул руку за гвоздем, но в это время нитяной клубок шевельнулся в другой его ладони. Он встал.

– Нет, благодарю. Мне нужно идти, Минотавр. Зовут.

– Кто?

– Обстоятельства... – улыбнулся Дор, показывая клубок. – Видишь ли, мою свободу выбирают обстоятельства. И поэтому я сейчас выйду на свет, а ты... ты останешься сидеть здесь, весь в рогах и в лабиринте. Прощай, бык-осеменитель.

Рогатая морда вдруг дернулась и поплыла, превращаясь в толстое щекастое лицо тетки-проводницы.

– Ну и шут с ней, с гамнастеркой, у нас другая есть, – сказала она и пододвинула к нему гвоздь... хотя нет, какой же это гвоздь?.. это пятак, обычный медный пятак! – На, возьми, сынок, на метро.

Дор послушно взял пятак и вышел в подземный переход на Петроградской. Теперь он мог справиться и без клубка. Нужно перейти, подняться наверх и свернуть направо, по Большому проспекту, а там уже близко. Мама вот-вот родит, а роды – это всегда больно. Дор занес ногу на ступеньку и проснулся.

Солнце просовывало узкое жало сквозь щель в жалюзях, прожигало в зеркале ослепительный минус. Все то же, минус Рахель. Ее отсутствие означало присутствие пустоты, дыры с рваными краями прямо по центру души. Дор встал с постели и пошел на кухню, поддерживая обеими руками свою ущербную душу, как раненный в живот – вываливающиеся кишки. Следовало поесть, но есть не хотелось; несмотря на то, что вот уже сутки он не ел ничего, кроме беды, беда оказалась исключительно сытной, хотя и горькой на вкус.

Пересиливая тошноту, он впихнул в себя йогурт, тщательно вымыл и вытер полотенцем ложечку, вернул ее в ящик буфета, затем закрыл глаза, досчитал до ста и, обнаружив, что сильно опасается результатов этого простого теста, досчитал еще раз – для собственного успокоения, которого, впрочем, не последовало. Но отступить было некуда; Дор глубоко вздохнул, открыл глаза и тут же вздохнул снова, на этот раз с облегчением: буфет, не в пример вчерашнему воображаемому комоду, по-прежнему стоял на месте, во всеоружии всех своих ящичков, дверец, витринок и разделочных досок.

Значит, реальность вернулась по крайней мере на кухню; может быть, так же вернется и сама Рахель? Главное – поддерживать порядок, всеми силами поддерживать порядок. Придя к этому неожиданному, но бесповоротному верному заключению, он открыл мусорницу под раковиной – выбросить пустой стаканчик из-под йогурта. В ведерке белели обрывки бумаги. Мусор. Хочешь знать чьи-то секреты – взгляни на его мусор. Ты ведь хочешь знать ее секреты, не так ли?

Он выудил бумажки из ведра и принялся раскладывать их на кухонном столе, тасуя, как детали паззла. Один за другим сложились глянцевые листки-флаеры, из тех, какие просовывают под дворники машин и в почтовые ящики: реклама детского цирка, сообщение о космических скидках на предметы земной сантехники и расписание занятий районного кружка тай-ши. Увы, это ни на шаг не продвигало Дора в его поисках. Поисках?.. Выходит, ты собираешься ее искать? Конечно, а как же иначе? Дор с минуту просидел без движения, привыкая к этой мысли – очевидной на первый взгляд, но пришедшей ему в голову только сейчас.

Так. Поддерживать порядок. Что-то зацепило его взгляд, когда он сметал бумажные клочки назад в мусорное ведро. Посомневавшись, Дор стал заново вытаскивать обрывки. Нет, не тай-ши... и не сантехника... наверное, вот это, с козой-канатоходцей... Он вчитался в мелкие буквы рекламного текста и похолодел. Перед ним лежало не просто объявление о спектакле детского цирка – нет, это была реклама концерта в онкологическом центре. В онкологическом центре! Подобного рода флаеры просто физически не могли появиться в почтовых ящиках спального иерусалимского района или под дворниками машин на университетской стоянке. Зачем? Наверняка их распространяли только в самой больнице или, возможно, в соответствующем диспансере – среди потенциальных клиентов. Следовательно, эта рекламка оказалась в руках Рахели по одной-единственной причине...

– Все нет, – одернул он сам себя. Могут существовать и другое объяснения.

– Например?

– Например, в университете тоже есть медицинский факультет. Или – Рахель может помогать ребятам из цирка или даже участвовать в нем... Или... не знаю... да мало ли что?

– А ее стрижка, Дор? Ее стрижка налысо ни о чем тебе не говорит? Или все-таки напоминает о...

– Господи...

Он вскочил и слепо забегал по квартире, задевая плечами углы мебели и дверные косяки. Тогда... тогда можно истолковать ее побег. Возможно, она не хочет вступать в длительную... или не длительную, но просто душевно значимую связь, чтобы не причинять беспокойств

ва... да какого там беспокойства?.. – горя! Или, как вариант, она легла сейчас в больницу на какие-нибудь мучительные процедуры и не хочет, чтобы он знал об этом... Или... не знаю... да мало ли что?

Одно не подлежало никакому сомнению: он просто обязан найти ее как можно скорее. Он должен объяснить ей ситуацию, которую Рахель, видимо не понимает, несмотря на крайнюю ее – ситуации – простоту, заключающуюся в том, что он, Дор, не может без нее жить – элементарно задыхается, соскакивает с катушек, лезет в комод... или как это еще обозначить... Что ей нужно было думать раньше – до того, как она начала искать компаньона... а точнее – до того, как она поселилась в этой квартире... а еще точнее – до того, как она вообще появилась на свет! А теперь уже поздно! Поздно! Теперь уже есть факт налицо, то есть – он, Дор, наибольшим горем для которого является ее побег, ее отсутствие, а наибольшим счастьем, наоборот, – присутствие – любое – лысое, волосатое, кашляющее, сопливое, издыхающее... – любое!

Дор наспех оделся и выбежал из дому. Автобус подошел сразу, словно подтверждая тем самым правильность его действий. Искать, искать... Из-за полуденного времени пассажиров на остановках почти не было; нигде не задерживаясь, автобус лихо скатился с Гило, пролетел Катамоны и Пат; стоя у задней двери, Дор нетерпеливо перебирал ногами, словно помогая движению машины... вот и перекресток со Шнеуром... он выскочил и побежал вверх по склону холма к воротам Ботанического сада.

Конечно, всерьез рассчитывать на то, что Рахель обнаружится тут же, на грядках, не приходилось: даже у чудес есть границы возможного. И тем не менее... не бросит же она на произвол судьбы свои драгоценные стебельки! Ну да! Их не бросит, а его... Это странное, нелепое сопоставление пробудило в нем столь же нелепую ревность. Тщательно оглядывая, обыскивая все аллеи и уголки сада, Дор уже не был уверен, обрадуется ли при виде знакомой соломенной шляпы. Найти Рахель здесь и сейчас, склонившейся как ни в чем не бывало, с совком и грабельками в руках над каким-нибудь дурацким цветком... – о, это выглядело бы слишком несоразмерным ее чудовищному бегству.

Но нет, в саду не оказалось никого, кроме насекомых и птиц, недоуменно наблюдавших за возвратно-поступательными маневрами Дора. Похоже, цветы и растения в полной мере разделяли его печальную участь – участь брошенных, покинутых, забытых... Дор сочувственно потрепал по курчавой макушке подвернувшийся под руку куст и вышел через университетскую калитку, оставив за спиной зеленых товарищей по несчастью. Бедняги... в отличие от него, они могли лишь пассивно ожидать ее возвращения, гадая «будет – не будет» на собственных лепестках.

У двери в секретариат топтались студент и студентка.

– Тоже к Мазаль, братишка? Становись в очередь.

Дор вздохнул и прислонился плечом к стене. Слишком многое зависело в кампусе от секретарши Мазаль Шотыхошь, чтобы попасть к ней вот просто так, с разбегу. Она ведала и пересдачей экзаменов, и местами в общежитии, и платой за обучение. Но и этому огромному объему работы Мазаль могла уделять в лучшем случае лишь треть своего драгоценного времени. Оставшиеся две трети посвящались ее главной и истинной страсти – ногтям. То яркочрас-

ные, то темнозеленые, то канареечно-желтые, но всегда удивительно красивые, отливающие ровным перламутровым блеском, они балансировали на той крайней степени длины, которая граничит с уходом в загиб, то есть – с угрозой превращения из ногтей в когти, а потому требовали постоянного и пристального внимания.

Неудивительно, что надоедливые студенты раздражали Мазаль сверх всякой меры. Как любой настоящий художник, она терпеть не могла, когда ее отвлекали от дела жизни. Как любой настоящий художник, она пользовалась устойчивой репутацией стервы, то есть человека, абсолютно неприспособленного для нормального общения.

Дор познакомился с Мазаль в первые дни своего первого семестра, когда подсел за ее столик в университетском кафетерии. В переполненной зале было всего три свободных места, и все три – рядом с Мазаль. Само по себе это говорило о многом, но Дор в своем тогдашнем состоянии на подобные мелочи не отвлекался. Зато ногти – в тот день антрацитово-черные – не могли не привлечь его восторженного внимания, особенно тронувшего Мазаль своим явным бескорыстием. Слово за слово, их разговор принял шутливо-игривое направление и абсолютно неожиданно для Дора завершился акробатическим этюдом за припертой шваброй дверью кладовки, под глуховатый аккомпанемент пластиковых ведер и бутылей с хозяйственными химикатами.

Потом, когда ведра утихомирились, Мазаль привела в порядок дыхание и одежду и сказала, с досадой глядя на слегка загнувшийся ноготь мизинца:

– Я вижу, ты меня еще не знаешь. Так вот, чтобы знал: у Мазаль никаких поблажек через постель не получают. Даже не рассчитывай.

– Ладно, не буду, – отвечал Дор, весело оглядывая кладовку, где постелью и не пахло. – А через полки получают?

– Умный, да? – прищурилась Мазаль. – Ничего-ничего, ты ко мне еще придешь... умник. Поспрошай пока у друзей: Мазаль Шотыхошь. Они расскажут. Бай!

Она чмокнула его в щеку в знак вечного прощания и отставила от двери швабру.

– Бай... – пробормотал ошеломленный Дор в ее удаляющуюся спину. – Шотыхошь... странная фамилия.

На самом деле фамилия у Мазаль была вполне конвенциональной – Леви. Прозвище же «Шотыхошь» представляло собой искаженную форму наиболее часто употребляемой ею фразы – «Что ты хочешь?» Этот на первый взгляд невинный вопрос превращался в устах Мазаль в грозное оружие – рапиру, дубину, кнут – которыми она шугала от своего стола надоедливых студентов.

Вот и сейчас Дор, стоя в дверях секретариата в ожидании своей очереди, наблюдал, как Мазаль, хмуря жгучие курдские брови, расправляется с несчастной первокурсницей.

– Я тебя в десятый раз спрашиваю: что ты хочешь?

– Отсрочку, – лепетала девушка. – Мне положено...

– Ну если положено, то что ты хочешь?

– Я же сказала...

– Она сказала! – саркастически повторила Мазаль. – Что ты хочешь... В деканате была?

– Нет...

– Тогда что ты хочешь?

– А вы не можете? Я думала...

– Она думала! Что ты хочешь...

Мазаль развела руками с выражением комической беспомощности, но тут же посерьезнела, зацепившись взглядом за беспорядок в ноге указательного пальца. Студентка еще немного потопталась у стола и понуро побрела к выходу. Дор шагнул вперед.

– Что ты хочешь? – осведомилась Мазаль, не отрывая глаз от крошечной проплешины на ровном слое лака.

– Эй, Мазаль, – тихо проговорил Дор. – Это я.

– Кто – я?

Секретарша подняла на него взгляд, немного подумала и, вспомнив, улыбнулась.

– Ага. Пришел-таки. А я ведь предупреждала...

– Мазаль, милая, очень надо. Ну пожалуйста.

– Неужели так приспичило? – она подмигнула. – Не сейчас, братишка. Вот прием закончится, тогда приходи. Запрет кабинет, вспомним прошлое.

– Да я не об этом, – смутился Дор.

Мазаль расхохоталась.

– Так и я не об этом... Ладно, пошутили. Что ты хочешь?

– Мне нужны данные одной студентки, – торопливо сказал Дор. – Из группы ботаников, третий курс.

– Ишь ты, кот-гуляка... – прищурилась Мазаль. – Так уж и быть, по старой дружбе. Фамилия?

– Не знаю. Зовут Рахель.

Мазаль защелкала ногтями, виртуозно выцеливая нужные кнопки клавиатуры, что в ее случае представляло собой поистине непростую задачу. Дор обошел стол, чтобы лучше видеть экран.

– Вот, смотри.

– Но тут ничего нету...

Она потрянула кудряшками и снова расхохоталась.

– Нету, потому что нету. Похоже, продинамили тебя, котяра. Нету таких у ботаников. Двадцать шесть девок, и ни одной Рахели. Непопулярное имя. Все больше Яэль да Ноа... О, гляди-ка – есть и Мазаль... Ну да Мазаль ты и в секретариате найдешь, правда?

– Как же так... – ошеломленно произнес он. – Быть такого не может... посмотри еще раз. Посмотри на втором курсе...

– Говорят же тебе – нету! – отрезала Мазаль, начиная сердиться. – Ну? Нету! Что ты хочешь?

Дор выпрямился. Нету. Он повернулся и медленно пошел прочь.

– Приходи после приема! – крикнула вслед Мазаль, сменяя гнев на милость. – Слышишь? Без шуток, приходи, не пропадай...

Как же, поди не пропади тут... Натыкаясь на встречных, он вышел из здания и медленно побрел вдоль университетской лужайки. Куда теперь? Взгляд поблуждал в поисках ответа и уперся в оранжевое пятно телефона-автомата. Позвонить. Она что-то говорила о знакомстве с Галями. Позвонить Роне, прямо сейчас.

– Илия? – голос Роны Галь звучал обеспокоенно. – Откуда ты звонишь? Я себе места не нахожу...

– Я теперь Дор. Сменил имя.

– Да-да, – откликнулась она, несколько не удивившись. – Когда ты вернешься?

Зато удивился он:

– Вернусь? Куда вернусь?

– Сюда, домой. Ты нездоров, мальчик. Слышишь, я тебя очень прошу...

– Подожди, Рона, – сказал он. – Ты можешь ответить мне на один вопрос? Помнишь, ты хотела познакомить меня с девушкой по имени Рахель? Рахель, дочка ваших друзей. Помнишь?

Она прерывисто вздохнула.

– Боже мой...

Второй вздох – еще тяжелее прежнего, чмокание прикрытой ладонью мембраны, шелест шепота... наверное, говорит с кем-то... – С Роном, с кем же еще... Что за чертовщина?

– Рона? Ты меня слышишь? Рона?

– Люша... то есть Дор... – заторопилась она. – Ты должен вернуться домой. И не надо никого искать, ладно? Это совсем не та Рахель, которая тебе нужна. Она и не Рахель вовсе, ее еще в детстве переименовали, когда сюда переехали. У нее какое-то другое имя, слышишь? Другое, русское имя, я забыла, но могу вспомнить. Люшенька, мальчик...

Дор хлопнул себя по лбу.

– Ну конечно! Другое имя! Это все объясняет. Спасибо, Рона.

– Ты вернешься? Сегодня?

– Извини, мне надо бежать, честно. Извини...

– погоди, не ве...

Он повесил трубку. Другое имя! В списках деканата она числится не Рахелью, а кем-то другим. Как все просто... Телефон зазвонил – видимо, Рона воспользовалась определителем номера, – но Дор уже шел прочь, радостно осмысливая неожиданное открытие. Хотя само по себе оно и не могло привести его никуда, но, что ни говори, это была первая удача с начала поисков. У кафетерия кто-то схватил его за локоть. Дор обернулся – перед ним стоял улыбающийся Димка Рознер.

– Здорово, чувак! Ты куда пропал?

– Пропал? – недоуменно повторил Дор. – Никуда я не пропадал. Живу себе, ищу.

– Понятно, – сказал Дима с некоторым напряжением в голосе. – В поисках утраченного времени. Под сенью девушки в цвету. Ты теперь живешь у Галей?

– Нет. Нашел комнату в Гило, на улице Афарсемон. А вы где?

– Как это где? – вытаращился Рознер. – Все там же, во Влагалле, где же еще? Скучаем по нашим теплым товарищеским ужинам.

– Во Влагалле? Разве... – начал Дор, но замолчал на полдороге. Что-то подсказывало ему, что продолжать не стоит.

– Смотри, Илюха...

– Дор.

– Хрен с вами, слушайте оба, – махнул рукой Димка. – Кончай с этим, а? Ты так скоро свихнешься, если уже не свихнулся... Ну кого ты ищешь, чудило? Ее ведь нету, пойми. Нету в природе. Это все Лешка Зак виноват со своими заскоками. Замутил тебе мозги, сам уехал, а нам теперь расхлебывай. В общем, Илюха...

– Дор.

– Тьфу ты, неладная!.. Дор. Пойдем, Дор, выпьем, Дор. Водку «Голд» пока еще не переименовали. Посидим, музыку послушаем. Боря поэму новую почитает, «Стебли космоса» называется. Ну?..

– Извини, Дима. Не сейчас.

– А когда?

– Эй, Доронин!.. – незнакомый парень быстро шел в их сторону, звал издали, размахивая обеими руками, чтобы привлечь внимание.

– По-моему, это тебя. Хотя сейчас и не скажешь, кто ты... – усмехнулся Дима. – Откликнешься или как?

Дор неохотно помахал в ответ.

– Ты что, Доронин, оглох? – недовольно сказал парень, подойдя вплотную. – Я за тобой от самой библиотеки бегу. Кричу, кричу...

– А что такое?

– Это ты Рахель искал?

Сердце Дора подпрыгнуло.

– Я... искал... А что – нашлась?

– Нашлась, нашлась... – все так же недовольно пробурчал парень. – Пошли, быстро, у меня там прилавок без присмотра.

Он крутанул головой и повернул назад, к библиотеке. Дима Рознер изумленно смотрел ему вслед.

– Видал?! – крикнул Дор, выходя из столбняка и бросаясь вдогонку за парнем. – Нашлась! А ты говорил – нету в природе!.. Эй, братишка, подожди!

В несколько прыжков догнав парня, он пристроился рядом, забегая вперед и заглядывая в глаза.

– Где она? Где?

– Вот... – парень на ходу вытащил из кармана джинсов сложенный вчетверо бумажный листок. – Копия. Оригинал получишь в зале.

Дор развернул листок. Ага. Вот оно что. Копия газетной публикации двадцать седьмого года.

– Все, как ты заказывал... – гордо произнес парень, останавливаясь. – Прямоком из подшивки. Лея это стихотворение неделю искала. Библиографическая задачка не из простых. Я бы на твоём месте прямо сейчас купил ей шоколадку.

Язычок замка, шепоток дверей,

стук шагов твоих – в никуда.

Закричать: вернись! Побежать: скорей! –

Не бывать тому никогда.

Горечь гордых душ, нестерпима ты,

боль несносна чистых сердец...

Одинок мой путь в городах пустых,

как в толпе забытый слепец.

– Что? Что-нибудь не так? – парень тревожно заглянул в окаменевшее лицо Дора. – Ты ожидал чего-то иного?

– Все так, – сказал Дор, не отрывая глаз от листка. – Спасибо. Все так. Хотя ожидал я действительно иного.

Иного?.. Но почему, на каких основаниях? Это ведь так на нее похоже: сбежать самой и обвинить в уходе других... Хотя, почему других? Возможно, она обвиняет себя же – себя другую, свое второе «я» – нестерпимо гордую, несносно чистую Рахель? А та, вторая – чего она хочет, от чего бежит, что оберегает, за чем гонится? За одиночеством? За свободой, как... как отец в сегодняшнем сне?

Он снова шел наугад, не разбирая дороги, наталкиваясь на встречных, *как в толпе забытый слепец*. Не лучше ли будет просто

оставить ее в покое, оставить одну – так, как сама она хочет? Ведь ее города всегда были и навсегда останутся пустыми – даже если в них не протолкнуться от людей и машин.

Позволь ей забиться в нору... нет, нора – это все-таки не про нее, при всей твоей горечи и обиде – позволь ей запереться, укрыться в высокой башне, *в двадцати локтях над земной дорогой*, дай ей спокойно умереть от чахотки, от рака, от инопланетной сущности, каждым своим атомом чуждой тому, что внизу, и оттого не выработавшей необходимого иммунитета к вирусу ненависти, микробам лжи, воздуху пошлости – ко всему тому, чем дышим и болеем мы, земляне. Пусть лежит себе одна там, в прокаленной солнцем мансарде на улице Бограшова, пусть...

Дор резко остановился на полном ходу, пораженный внезапным прозрением; какой-то пешеход, никак не ожидавший этого, чертыхнулся, с разбегу налетев на него сзади. Ну конечно! Как же он раньше об этом не подумал! Она должна быть там, на Бограшова, рядом с морем... *четыре ветра в окне*, и так далее... Больше просто негде. Он осмотрелся:

– Где это я?..

Ага, подземный переход рядом с автобусной станцией. Умные ноги сами привели его куда надо.

Экспресс на Тель-Авив отходил через несколько минут. Дор сел и сразу забылся: он чувствовал себя измотанным, как после двадцатилетней каторги. Водитель тряхнул его за плечо на конечной, когда все уже вышли. Вышел и он, встрепанный со сна, диковато озираясь в дизельном мареве Центрального автовокзала, именуемого еще Централом по причине глубинного сходства с пересыльными кичами, с вонью и воровством мира, загаженного тюрьмами, полицейскими участками и такими вот бетонными монстрами. Дор всегда плутал и путался в этом чудовищном здании; вот и теперь выбраться наружу удалось далеко не сразу.

Разбудивший его водитель сказал:

– Пройдись по свежему воздуху, парень. У тебя, видать, голодание – кислородное или вообще.

Снаружи и в самом деле стало полегче, и он решил дальше идти пешком. Впрочем, насчет голодания шофер не угадал: заботливая сиделка-беда по-прежнему кормила Дора полными ложками – однообразно, но сытно, так что есть совсем не хотелось. Улица Левински Алленби – во всю длину... здоровенный кусок Бен-Еуды... Не ближний свет, но и не так чтобы очень. Он медленно брел по тротуарам и мостовым, не чувствуя времени, не остерегаясь ни машин, ни людей, не думая ни о чем, кроме того, чтобы не слишком сильно сжимать в ладони едва шевелящийся нитяной клубок.

На углу Бен-Еуды и Бограшова Дор остановился. Слева, в одном квартале от него, виднелась набережная с высокими пальмами и синне-зеленое тело старого недоброго моря. Куда теперь? Нитяной клубок затих, не давал ответа.

– Не из святого ли города Иерусалима держит свой путь достопочтенный рыцарь?

Дор вздрогнул и обернулся – на него, подкручивая острые стрелки мушкетерских усов и чуть заметно покачиваясь, взирал Леша Зак собственной персоной. В глазах поэта весело, как дети

по школьному двору, гонялись друг за другом граммы чистейшего девяностошестипроцентного, и это придавало зоркому лешиному взгляду особую, слегка легкомысленную рассеянность.

– Острота вашей наблюдательности, мессир, не уступает силе вашего духа, – в тон отвечал Дор, вдыхая окутывающий Лешу тяжелый спиртовой дух. – Мой конь притомился, стоптались мои башмаки.

– Гм... – задумчиво потупился поэт. – Странно... И конь притомился, и башмаки стоптались? Не кажется ли благородному рыцарю, что первое исключает второе?.. Ну, разве что, вы отдали коню свою обувь – кстати, в таком случае понятно, отчего он, бедняга, притомился. А впрочем – неважно. Что ищет благородный рыцарь в этом далеком краю?

Дор улыбнулся и развел руками.

– Что может искать рыцарь? Конечно, башню. А там, в башне...

– Ни слова больше! – вскричал Леша в сильнейшем волнении. – Ты пришел искать башню! Умница! Ты даже не представляешь себе, насколько ты прав! Пойдем!

Он схватил Дора за рукав и потащил за собой через перекресток. Кто-то шарханул в сторону, возмущенно твякнула автомобильная сирена. Перебежав улицу, они вошли во двор, где машины стояли так тесно, словно умели выезжать методом вертикального взлета, и с трудом, выгибаясь между капотами и зеркалами, протиснулись к едва заметному входному проему, за которым оказалась площадка облупленной лестницы и дверь с амбарным замком и надписью «Склад».

– Наверх, в башню! – скомандовал Леша Зак.

Вход в его мансарду больше походил на лаз и не запирался – как по причине общей труднодоступности, так и потому, что красть у Леши было решительно нечего.

– Вот! – с гордостью воскликнул поэт, забираясь с ногами на кровать, чтобы гость мог войти, ибо другой возможности освободить место для второго человека здесь просто не существовало. – Это – башня! Что скажешь?

Но Дор не слушал его, бормоча проклятия и потирая колено, сильно ушибленное о стоящее при входе большое жестяное ведро или скорее даже бак, доверху набитый клочками бумаги всевозможных форм и расцветок – рекламными флаерами, салфетками, листовками, обрывками уличных объявлений, журналов, газет. На вершине этой горы красовался огромный зимний башмак, разношенный до степени, навряд ли доступной обычному человеку... да и коню, наверно, не всякому, а только такому, который действительно очень сильно притомился.

Зачем здесь этот мусор, когда и так нету места? Глупо, нелепо... но тут клочок салфетки шевельнулся, и Дор разглядел слово, и еще одно, и еще... В следующую секунду он уже не видел никаких бумажек – смотрел на них и не видел: перед ним копошились, наползая одна на другую, длинные гусеницы строчек, быстро струились муравьиные тропки букв, неуклюжие слова-жуки толкали друг друга крутыми боками, тяжело гудели мохнатые пчелы ямба, резкими восклицательными знаками взлетали выскочки-кузнечики рифм.

Стены каморки дрогнули и растаяли; лешина кровать широким махом отъехала в сторону, дощатый пол вознесся, вытолкнув в космос крышу. Они находились на верхушке высоченной башни, стоящей, как и положено таким башням, на берегу всех стихий сразу.

Полное обманчиво веселых бликов, здесь лениво разлеглось лживое сине-зеленое финикийское море; высоко, глядясь в небо, как в зеркало, стояли молчаливые холмы Ерушалаима; истекая томительным гноем белой петербургской ночи, курчавился Таврический сад; плетью, кистенем и дикой буранной смертью дышала половецкая степь...

– Это – «Башня!» – зачарованно повторил Дор, присаживаясь рядом с хозяином. – Это – «Башня».

– Стану я тебе врать... – Леша крутанул ус и полез под кровать за бутылкой и стаканами. – Выпьем, чтоб дальше видеть.

Дор снова посмотрел на бак со стихами.

– Леша, не мое это дело, конечно... но как-то нехорошо это – в ведре. Что ты с ними думаешь делать?

– А зачем с ними что-то делать? – удивился хозяин.

– Ну как это... Они ведь живые. Шевелятся.

– Ну если живые, то пускай себе и живут. Живому существу разве что прикажешь? Да и неправильно это – приказывать... – Леша помедлил с бутылкой в руке. – Я вот все думаю: а что будет, когда ведро переполнится, и они хлынут через край? Представь себе... хлынули... и ползут, ползут... Стихия!

Он сделал волнообразное движение рукой, изображая безудержное наступление стихии стихов, и перед Дором явственной картиной предстала затопленная стихами башня, и бурлящая стихами лестница, и двор, где в озере стихов видны лишь крыши машин вертикального взлета. Вот лешины стихи кипящей лавой выплескиваются со двора на улицу Бограшова и стремятся все дальше и дальше – по тель-авивским бульварам и площадям, переваливают через прибрежное плоскогорье и горные цепи Шомрона и Еуды – еще дальше – в Негев, Синай и Сахару, на великие реки Сибири, Индии и Китая, в саванны Африки, пампасы Аргентины и полярную тундру...

– Да, Леша... – протянул он. – Действительно, здорово... Слушай, а почему бы тогда не убрать башмак?

– Нет, рыцарь, без башмака нельзя, – возразил хозяин, наливая себе еще и назидательно поднимая палец. – Башмак нужен для создания необходимого давления. А чего ты не пьешь?

– Не хочу. Боюсь совсем расклеиться. У меня еще дело.

– Ну как хочешь. А я вот выпью. Спирт, брат, – лекарство от всех недугов. В отличие от спорта.

– Правильно, я ж совсем забыл, – улыбнулся Дор. – У тебя ведь их ужасно много, недугов. Поменьше, чем стихов, но все же...

– Ага. Много и все неизлечимые. Будь здоров, рыцарь...

Они помолчали, слегка сбитые с шутильной волны неожиданным поворотом разговора.

– А чем ты таким неизличимым болен, Леша? Чахотка? Рак?

Леша Зак безразлично пожал плечами.

– Наверно, чахотка. Наверно, рак. Я ведь к врачам не хожу, потому и не знаю.

– И не боишься?

– Нет, не боюсь... – он вдруг стрельнул на Дора неожиданно острым взглядом и покачал головой. – И ты не бойся. Это я хочу тебе сказать: не бойся. Помнишь, давно, еще во Влагалле, ты рассказывал про поколение Рахели? Как пришли они из века ушедшего со всеми своими расчудесными надеждами и иллюзиями... а их – бац

по кумполу!.. и сапогом – под дых!.. и мордой в грязь на крови – на-те, жрите дерьмо, ангелы нездешние!.. Помнишь?

– Помню. Но при чем здесь...

– А при том, что сейчас, может, то же самое происходит, только наоборот. Снова новый век, а мы к нему – снова – из века ушедшего, страшного. Мы к нему – к новому – с прежними страхами. Так и ждем, что вот-вот засадят по губам говенным сапожищем. Бежим, спасаемся, ходим пригнувшись – да все по той стороне, что при артобстреле наименее опасна. Но век-то уже другой, рыцарь! Может, и бояться давно уже не надо? Может, самое время распрямиться?

Дор усмехнулся.

– Твоими бы устами... А ну как ты ошибаешься, Леша? А ну как следующий век еще хуже окажется, еще кровавей, еще страшней? Мы выпрямимся, а нам, как ты говоришь – по губам! И не сапогом, а бульдозером. Что тогда?

– Тогда плохо, – тихо сказал Леша. – Но, по-моему, рискнуть стоит. Да ты хоть на себя взгляни – до чего тебя этот страх довел. Ты же собственной тени боишься. Рак ей какой-то придумал... а с чего ты вообще взял, что она больна? Из-за той давней чахотки? Из-за болезни матери? Но это все давно уже в прошлом, чудак. Ты приволок это на собственном горбу из прежнего века, понимаешь? На черта тебе этот горб? Распрямись, Дор, слышишь? Генук бояться!

– А она...

– И ей то же самое скажи. Ты ведь мужик – скажи потверже, она поверит. Она ведь тоже боится – бежит не пойми от чего...

– Она боится за свободу...

– Чушь! Те, кто боятся за свободу, уже несвободны! Ничто не сковывает больше, чем страх, как ты такой простой вещи не понимаешь? Выпьешь? Нет? А я добавлю...

Леша забулькал бутылкой. Дор задумчиво покачал головой.

– Леша, ты ведь знал, что я приду, правда?

– Знал... – кивнул Леша Зак. – Позвонил Димке из книжного, он все рассказал о твоих... гм... приключениях.

– Давно это было?

Леша мелкими глотками выпил стакан и зажевал хлебом.

– Какая тебе разница? – сказал он, морщась. – Ты все равно живешь совсем в другом времени... в другом веке.

В ладони ожил и шевельнулся клубок. Дор поднялся.

– Мне пора, Леша. Спасибо за башню.

– Давай, рыцарь. Сам дорогу найдешь?

– У меня клубок.

Леша удивленно поднял брови.

– Ну тогда-то что. Завидую. Прощай пока.

– Прощай.

Дор вышел на улицу и повернул к морю. Нитяной клубок бешено сматывался в его руке. Он распознал ее почти сразу – темным силуэтом на фоне падающего в море солнца. Она тоже увидела его, потому что широко раскинула руки и ускорила шаг – навстречу. Рахель почти бежала, и, хотя Дор не мог различить из-за солнца ее лица, он точно знал, что она улыбается.

Нацм Басовский

ГДЕ ЭХО МНОГОКРАТНО

* * *

Дорога от станции шла через луг,
потом через лес и по краю оврага,
в котором смешение света и мрака
всегда порождало мгновенный испуг,
как будто попал в заколдованный круг:
ни звука шагов, ни ветвей колыханья,
а лишь за спиною чужое дыханье,
и не избежать наступающих рук.
Тот страх беспричинный – он словно недуг,
но я не хочу, не хочу поддаваться!..
Гудок. Это значит – одиннадцать двадцать:
у станции скорый проходит на юг.
И я, успокоившись, делаю крюк,
чтоб сердцебиение к норме вернулось,
и в полночь я дома. Семья не проснулась.
Я медленно вешаю куртку на крюк.
На кухне в углу наблюдает паук
за тем, как из термоса чай наливаю
и сам от себя безнадежно скрываю,
что стыд не проходит, что этот испуг
упрятан в меня, словно в дедов сундук,
в котором не хлам, не тряпье в нафталине,
а давние страхи, живые поныне.
Его бы очистить, да всё недосуг!..

январь 2009

* * *

Всего-то и дел – перейти автостраду,
спуститься в овраг, и подняться потом,
и, ближний лесок не сочтя за преграду,
за ним обнаружить заброшенный дом.

Упавший забор, одичавшие груши,
высокий журавль над колодцем сухим...
Но ежели здесь постоять и послушать,
то можно услышать, как стелется дым
по палой листве, словно топится печка,
а в подполе шорох и писки мышат,

и в лад этим звукам далёкая речка
едва различимо звенит в камышах...

Заброшенный дом – это в памяти веха,
десятки примет из любого угла.

Они говорят: за прошедших полвека
ещё окончательно жизнь не ушла.

Ещё бы вернуться и взяться без лени –
всё легче, чем снова на месте пустом.
А то ведь окончит свой путь поколение,
и некому будет припомнить о том.

январь 2009

* * *

Золото звёзд оседает на ртутные волны

Аркадий Штейнберг

Там, за спиною, исходы, погромы и войны,
здесь – тишина, лишь прибой горделив и высок.
Золото звёзд оседает на ртутные волны,
пена от волн оседает на мокрый песок.

Здесь тишина, но всегда на короткое время;
вновь по соседству источник угрозы забил.
В этой стране, где обещана воля еврею,
мир не позволит, чтоб он о неволе забыл.

Здесь тишина, но в немолкнувшей памяти слышу
звуки, живущие даже внутри тишины.
Громы ракет оседают на красные крыши,
пятна огня оседают на детские сны.

Там, за спиною, нас ждут испытания снова;
мы для грядущего память о прошлом храним,
ибо не зря нам дарованы Книга Иова,
звёздное небо и ртутные волны под ним.

июль 2009

* * *

...Приснился звук – негромкий, с оттенком флажолета,
протяжный и просторный – такая благодать! -
пригодный для поэмы, но как бы вне сюжета,
а если нет сюжета, поэму не создать.

Казалось бы, что это – проблема лишь отчасти:
бери из книг, из фильмов, перелицуй слегка –
везде подобны судьбы, характеры и страсти,
сюжетами забиты пространства и века.

Но звук, что мне приснился и помнится пока что,
окрашен флажолетом в такой особый цвет:
он требует созвучья реальности не каждой –
моей судьбе и страсти, а в них какой сюжет?

Впадёшь в истолкованье и самолюбование,
оставишь людям память не о своём лице.
А в жизни нет сюжета – она повествование
с рождением в начале, с кончиною в конце...

февраль 2009

* * *

На каждый звук есть эхо на земле.

Арсений Тарковский

О нет, не каждый звук рождает эхо!
Для отраженья звука нужен щит.
Само пространство иногда помеха:
преграды нет – и эхо не звучит.

Я как-то слышал песню на равнине,
в ней боль была, был крик воздетых рук –
была беда. А помнится донине,
что никакого отклика вокруг.

И не поможет самый громкий голос
такие расстоянья перекрыть,
где люди проживают, приневолясь
то лес валить, а то каналы рыть.

Но можно вспоминать о том всё реже,
мечту о справедливости прикрыв,
и просто жить на влажном побережье,
где воздух лечит голоса надрыв.

Вот волны бьют, а поглядишь обратно –
холмы и горы закрывают вид...
Живу в стране, где эхо многократно,
и это со страной меня роднит.

май 2009

ПАМЯТИ ИОСИФА БРОДСКОГО

Инкогнито приехать в зимний Питер,
и постоять у скованной воды,
и на речном заснеженном граните
оставить мимолётные следы –

склониться к парапету чуть пониже,
и, сняв перчатку, приложить ладонь
и ждать, пока всю руку не пронижет
и схватит кости ледяной огонь.

По Невскому пройти к Адмиралтейству
и выйти на Дворцовую потом,
усматривая, впрочем, в этом действе
отнюдь не возвращенье в отчий дом,
а только запоздалое прощанье
с тем, что давало и мешало жить,
с той смесью куража и обнищанья,
что невозможно в душу уложить.

Здесь не узнать, как дышится на воле,
как пишется и думается как,
а то, что в сердце не стихают боли,
воспринимаю, как Господень знак.
Пусть даже так – болезнью в человеке –
от возвращенья Он меня хранит,
и не со мной, теперь уже навеки,
река в плену и ледяной гранит.

апрель 2009

* * *

Всё начать бы сначала – судьбу переписывать заново,
выбрать место, и время, и жизни назначенный срок...
В параллельной истории был бы я жителем Загреба
или, скажем, в Гааге ступал бы на отчий порог.

Лишь с родными людьми мне во времени не обознаться бы,
ибо разве возможны чужие отец мой и мать?
В параллельной истории жил бы я веке семнадцатом
или даже в шестнадцатом, если б чумы избежать.

А чума или оспа – они равносильны изгнанию:
или смерть, или бегство, которое множит молву...
В параллельной дороге я был бы духовного звания
и Всевышнего славил бы просто за то, что живу.

Лишь с моей принадлежностью вовсе не буду в раздоре я
при любых переменах того, что зовётся судьбой:
я останусь евреем в любой параллельной истории,
потому что хочу непременно остаться собой.

июнь 2009

СОН О ДОМЕ

Появился он однажды в сновидении нежданном –
небольшой, одноэтажный, под разлапистым каштаном.
Дом стоял, не выделяясь, но достоинство храня,
и во сне я знал: он точно предназначен для меня.

Обнесён он был оградой, невысокой, прочной с виду,
порождавшей убежденье, что не даст меня в обиду.
А налево за оградой в горы шёл фуникулёр,
а направо за оградой голубел морской простор.

Обошёл я дом, увидел дверь, притаенную нишей;
повернулся ключ тяжёлый, сам собой в руке возникший,
и внутри я обнаружил стиль не нынешнего дня:
видно, знал мои пристрастья тот, кто строил для меня.

Было просто и удобно в кабинете и в гостиной,
и во всём убранстве дома вкус присутствовал единый –
книги, диски и картины из недавних трёх веков
в окруженье стен неярких и высоких потолков.

Было мебели немного, было утвари немного,
но во сне меня томила непонятная тревога.
Получил такой подарок от судьбы на склоне дней,
получил такую ношу – что я буду делать с ней?

Год уйдёт на освоенье, год уйдёт на привыканье,
а совсем не безобидно дней бесплодное мельканье:
тщётность планов и усилий объяснит мне наконец,
что в таком прекрасном доме я лишь временный жилец...

май 2009

БЕССОННИЦА В БЕРНЕ

Два часа. Бьют часы на камине.
А камина-то нет и в помине –
он приснился. А я и не спал,
и усну, очевидно, не скоро:
бьют часы на фронтоне собора,
он отсюда всего за квартал.

А ещё есть часы на вокзале;
вот и эти куранты сказали
«два часа» – постоянный тандем!
Очень медленно время струится,
если ночью зачем-то не спится,
и никто не ответит, зачем.

С незапамятных дней и доселе
нет у этой бессонницы цели –
есть мучение и благодать:
так оно в человеческой природе –
ведь о вести, что с неба приходит,
невозможно заранее знать.

Только слушать и ждать терпеливо,
и расслышать подобье мотива
в редких звуках ночных за окном,
и мотив этот помнить отныне
как строку «Бьют часы на камине» –
и уснуть твердокаменным сном.

июль 2009

* * *

Я по обочине дороги
иду с поклажей за спиной.
Хребет маячит предо мной,
верней сказать, его отроги.

Конечно, славно бы взойти,
узнать, что там, за перевалом...
Но я довольствуюсь и малым –
мне б только ношу донести.

Куда? Туда, где у подножья
высоких и далёких гор
есть междуречье, и простор,
и слышится дыханье Божье.

И люди там живут негромко,
раздумчиво, не напоказ,
ценить умея каждый час
и зная предка и потомка.

Мой груз – всего-то стопка книг,
как эти люди, некрикливых,
бесхитростных, неторопливых,
о них – а стало быть, для них.

Покуда не настигла мгла,
покуда не докучна старость,
дойду туда и там останусь
владельцем своего угла.

август 2009

ДОЖДЬ ЗА ОКНОМ

Меня разбудили негромкие звуки дождя.
Минуту-другую я медлил, от сна отходя,
пока аксиома не вспомнилась здесь и сейчас,
что летом дождей никогда не бывает у нас.

Те звуки, наверное, были навеяны сном,
но явь продолжалась шуршаньем дождя за окном,
и я, к чудесам привыкая в предутренней мгле,
отчётливо видел дорожки воды на стекле.

Пока покрывался оранжевой краской восток,
всё громче и громче гремел дождевой водосток,
и, слушая ровный, такой упоительный гул,
я как-то спокойно, почти незаметно уснул.

Когда же проснулся опять и поднялся когда,
рассветного ливня, увы, не нашёл и следа:
был месяц июнь, и, как водится, прямо с утра –
по той аксиоме – стояла родная жара.

Но помнилось долго – и вечером, и погодя, –
что дождь состоялся, и я был создатель дождя,
и было прохладно в краю, где хозяйничал он,
и только жалел я, что край этот не населён...

июнь 2009

* * *

В.

Нет, нет, не к богатству, не к славе,
не к мифам давнишних времён...

Опять он последний в составе,
пустой и зелёный вагон.

Мы всё ещё в лёгкой беседе,
но грустью туманится взгляд:
не знаю, куда он поедет,
когда он вернётся назад.

А вот и кондуктора трели –
одна, и другая за ней...

Мы оба, увы, постарели,
и стали разлуки трудней.

Не будем за лёгкой беседой
угадывать горестный час.

Не хмурься, не плачь и не сетуй –
такая планида у нас.

Железо гремит о железо,
и поезд уже на ходу,
и в окнах мелькание леса,
и сам я как будто в бреду,
и прочь притяженье земное,
и прочь из-под ног колею!..
Но это всегда предо мною –
платформа, и ты на краю.

А время тревогу не лечит;
гудят и гудят поезда,
и ждать на перроне не легче,
чем ехать незнамо куда.
Но есть и мгновения счастья
и нежности счастьем подстать:
я знаю, к кому возвращаться,
ты знаешь, кого ожидать.

июнь 2009

* * *

Дорога теряется в снах каменистой пустыни;
её проложивших давно уже спрятала мгла.
И раз я иду, то один отвечаю отныне,
за то отвечаю, чтоб эта дорога была.

Добро бы, чтоб кто-то шагал по соседству со мною,
пусть даже не рядом, а недалеко за спиной.
Но нет никого, тяготит притяженье земное,
и выбелил небо тяжёлый безрадостный зной.

Она начиналась на влажной и мшистой равнине,
потом проходила в таинственном тёмном бору,
вдоль медленной речки, где много простора и сини, –
а нынче лишь камни в уставшую память беру.

Шаги мои мельче – здесь быстрюю поступь не сдюжишь,
а перед пустыней нельзя притворяться и лгать.
Но жар в кровеносных сосудах уже не потушишь,
и знаю, что долго ещё мне шагать и шагать.

Дорога теряется в снах раскалённого камня,
на ней миражами порой проступает вода.
И хочется верить – она не случайно дана мне,
и запахи моря приносятся ветром сюда...

апрель 2009

Рафаэль Шустерович

ОТДЕЛЬНО СТОЯЩЕЕ ДЕРЕВО

ПОЭТ И БУЛЬДОГ

бульдоги в общем выродки живут недолго
но все же поэт обретается завидуя бульдогу
в сажень родословная морда черчилля звать его уинстон
и путь его выстрелен
от выставки к выставке выставлен

а кто-то его таскает за толстую шкуру
без всякой протекции не от авгура к авгуру
ведёт на прогулку целует слюнявую морду
и гордо владеет кормит владеет гордо

дает ему сгрызть два кресла салонный столик
диван полшкафа гуляет лечит от колик
ведет на прививку дозирует секс и дружбу
и на прогулку выводит а не на службу

и вот поэт прибегает к высокому слогу
слушай бульдог он говорит бульдогу
давай условимся
пусть тот кто выживет первым
покажет этим
покажет этим стервам

ПРИЕМНАЯ

на стенке старый добрый босх
нелепицами борз
а ты ты сир и наг и бос
и выстрижен под бокс

бродить с травинкою во рту
с заветной пуговкой манту
студить царापину пирке
на майском холодке

как на резинку брать чулок
сегодня невдомёк
как по команде всем на бок
сегодня невдомёк

кому сейчас кому ты люб
в аду где сверлят дальний зуб
и кто младенцев соберёт
в очередной поход

как алый поднимать флажок
сегодня невдомёк
и в тесноте что за урок
сегодня невдомёк

рука рука пирке пирке
терпи типун на языке
колючий ёж тяжёлый шмель
и лифчика фланель

откликнитесь кто есть живой
под сыроежкой сторожевой
с шершавым ореховым листом
оставленный на потом

ТАРЗАНКА

Это горка, с которой мчат ледяные санки,
Это пруд, в который с размаху ныряешь с тарзанки,
Это дух грибной из близстоящего леса,
Это подлещиком через палец потянутая леса.
Где обещанный тополь, обещанный вяз, орешник,
До безмятежного счастья недостающий трёшник?
Объявления о пропавших собаках, пропавших душах
Отражаются в недостающих лужах.

ТОНNELЬ

свет в начале тоннеля а дальше хуже
тусклые лампы выморочные лужи
прежних работ затертые отпечатки
ниша с запасом выпотрошенной взрывчатки

ветхие шпалы в утробу уходит ветка
вряд ли на миг задерживалась вагонетка
то ли к врагу то ли к другу но в неизвестность
геодезической съёмкой не тронута местность

в этом краю топология не в почёте
выбор пути гаданье на чёте нечёте
что-то в роду означено рубит режет
там вдалеке мельтешит озаряет брезжит

ПЧЕЛЫ

Дошло до нас, о великий царь,
что пчёлы не стали давать мёд.
Тосклив показался осенний ценз
тому, кто пережил этот год.

Кувшины у пасек стоят пусты,
бортники бродят по праздным лесам,
не видя прозрачной их красоты,
напрасно прислушиваясь к голосам.

Дошло до нас, о великий царь,
что пчёлы не стали давать воск,
в смятении волхвы и великий жрец,
ропот в рядах пограничных войск.

Дошло до нас, о великий царь,
что пчёлы не стали давать яд,
молчат целители и лекаря,
змей и жаб по ночам доят.

Дошло до нас, о великий царь,
что пчёлы отказываются вылетать
из хрупких, пахучих своих светлиц,
ни дымом, ни пеньем их не достать.

Но если прислушаться – чуть гудит
притихший рой сквозь узкий леток,
и что-то поёт о том, что грядёт,
их хор, выдыхающий холодок.

ПЕТРОГРАФИЯ

Невидный вход. Бессонный страж.
Простой отбор –
придирчивый бертильонаж
окрестных гор.

Тропой излившихся пород,
остывших лав
полмиллиарда лет пройдёт
почти стремглав.

И там, где, по преданью, медь
брал Соломон,
пустынным птицам снова петь
под странный звон.

Погладишь розовый порфир,
и на скале

прочтёшь, не веря: этот мир
ещё во мгле,

высокомерен, суетлив
и так же слеп...
И серой славке под обрыв
подбросишь хлеб.

ТОПОПРИВЯЗКА

Алхазов, Блинов, Дударев, Ерофеев, Панфилов,
А также я, в дальнейшем именуемый аз,
Не дождались позднейшей эпохи на липе надпилов,
Вовремя подошли, примерить хотя бы на глаз.

Нам сказали, что дереву полагается три обхвата,
Оказалось, мало – надобно пять или шесть.
Эта липа стояла у особняка, где когда-то
Подсчитывали выручку за проданные зерно и шерсть.

Знаете ли вы, что такое измерительные отряды,
Когда, например, отвес прикладывается к стене?
Особняк на Никольской, литьё чугунной ограды,
Мы обняли ствол, и места хватило мне.

Аз вспоминает другие деревья – тополя и вётлы,
Шелковицу, вяз, каштаны, яблони, клён.
Их палили засухи, грызли черви, ломали ветры,
Поди узнай теперь, кто порублен, а кто спасён.

На коре высекали буквы, сердца и стрелы,
Забирались к вершине по странноприимным ветвям,
Собирали яблоки и алычу. Порой филомелы
Из листвы неотложное сообщали нам.

И когда на занятиях по топографической привязке
К среднерусской местности гаубичных батарей
Лейтенант Корнеев, в полевой фуражке, не в каске,
Лейтенант Корнеев сказал: шевелись поскорей,

Аз взял три азимута – на угол оврага,
на отдельно стоящее дерево,
На электроопору, слегка зазубрившую горизонт,
И три составные части: Порево, Жарево, Зверев
Вытянулись в единый фронт.

Мы свинтили буссоли, сложили в планшеты карты,
Прилегли на травку. Не состоялась война.
Взвод курсантов, присланный против персов от Спарты,
Задремал. Его охранит тишина

И сосна, отдельно стоящая в Галилее
 На восточном склоне массива Кармель,
 Где среднегодовые температуры намного теплее,
 Где аз подглядывает в приоткрывшуюся щель –

Как мелкота обнимает старую липу,
 И кто-то лезет на яблоню – сорвать сентябрьский плод,
 И настраивает заметно потёртую лиру,
 На золотое озеро с базальтовых глядя высот.

ВТОРОЕ ПРИШЕСТВИЕ ВАРВАРОВ

Теперь уже депеши разведслужб
 И прочих применителей закона,
 Дебаты разомлевшего Сената
 И манифесты гордых триумвиров,
 Герольдов шутовской речитатив,
 Язвительные выходки поэтов,
 Флотов и армий суетные планы,
 Победные реляции с границ –
 Пустое сотрясение воздуха.
 Они пришли. Они пришли давно,
 И вот мы объявляем о победе
 Над варварами. Варварству – конец.
 Триумф добра над хаосом и мраком.
 Мы думали, что варвары – они,
 Теперь они не варвары. И мы
 Не варвары. И варвар, очевидно,
 Кто варваров помянет.

ОЖИДАНИЕ

Меня забыли в детском саду.
 Я знаю дорогу, но не пойду.
 Есть некий закон, по нему в аду
 Нельзя возвращаться.

Блондинка Рита и ты, Блинов,
 Ушли, не оставив касаний, снов,
 Закончен день говорунов,
 Их всех разобрали.

Калитка, маленький тесный двор,
 Деревья, забор, чугунный узор,
 Моих муравьёв немой разговор,
 И вот стемнело.

На улицу лип опустилась тьма,
Со мной на крыльце сидит задарма
Какая-то ласковая она
Из персонала.

ВОСПОМИНАЮЩИЙ

воспоминающего подтолкни
в бездну где окаянны дни
в море где даровая вода
смальывает города
пусть неверна ненадёжна речь
только её удаётся сберечь
сколько-то правды сколько-то лжи
что-нибудь удержи

воспоминающего подтолкни
воспоминающие они
неотпускающие в пустоту
эту судьбу и ту
слушай не споря щёлканье слов
пусть тебе явятся среди снов
здешних пчёл золотые рои
помнящие твои

QUERCUS ROBUR

Древние, говоришь, греки,
Гневные, говоришь, боги,
Скорые, говоришь, рейды,
Делать, говоришь, ноги.

Если бы дворец и ложе
Строили вокруг дуба,
Стали бы нравы строже,
Меньше б поступали дурно.

Два в силлогизме стыка,
Логика неумолима:
Если в посылке дырка,
Верная стрела – мимо.

Красные, говоришь, листья,
Осень, говоришь, рядом.
Музыкой, говоришь, литься.
Надо, говорю, надо.

Давид Маркиш

*ВСЕ ЗАВИСИТ ОТ МАСТЕРА!**

– Можете ли вы припомнить, когда и как впервые услышали о Бродском?

– Вообще-то я специалист по буквам, а не по цифрам. Путаю даты и забываю числа. Мне кажется, я впервые услышал о Бродском году в 57-м или 58-м прошлого, разумеется, века, в Литинституте, где тогда учился, – от моего институтского друга Гены Лисина, впоследствии Геннадия Айги. Известно несколько высокомерное, а отчасти и враждебное отношение молодых московских поэтов того времени к ленинградской литературе вообще, к поэзии – прежде всего. Бродский же с самого начала не воспринимался нами как побег и плод петербургской литературной школы. Его поэзия разительно отличалась от ленинградской традиционной, и это превращало Бродского «в своего», почти в москвича.

...Помню, как в конце 50-х или в начале 60-х во время разговора со мной на Ордынке Анна Андреевна Ахматова достала из своей, если не ошибаюсь, коричневой сумки пачку машинописных листов – то был второй, а, скорее, третий экземпляр – и протянула мне со словами: «Вы знаете, кто это?» Я узнал Бродского – трудно было его не узнать: и в нашем институте, и по домам списки его стихов нет-нет да и выныривали, появлялись, наряду со стихами Мандельштама, Цветаевой... Ахматову интересовало, что молодые московские поэты думают о Бродском. Она говорила не о ленинградских поэтах вообще – а только о Бродском, и видно было совершенно отчётливо, что Ахматова ставит его на порядок выше других. Я встречался с Ахматовой шесть или семь раз и никогда не видел, чтобы она с такой гордой уверенностью, с таким торжественно-светлым лицом говорила о любимых ею поэтах.

– Анна Андреевна переводила стихи вашего отца Переца Маркиша. Как вы оцениваете переводы поэта, не знающего идиша?

– Незнание языка идиш не ослабляло поэтического дара Анны Андреевны Ахматовой ни на йоту. Перевод поэтического произведения с языка оригинала на любой другой язык есть пересказ, переложение. Конечный результат такой трансформации зависит всецело от мощи поэтического таланта переводчика.

– А когда вы познакомились с Бродским лично?

– Году в 59-м или 60-м, в Ленинграде, осенью, в курилке Публичной библиотеки. Кто-то из наших общих приятелей, зная, что Бродский

* Журнальный вариант. В полном виде интервью войдет в подготовленный к изданию профессором Валентиной Полухиной третий том собрания «Иосиф Бродский глазами современников» (СПб: «Звезда», 2010).

находится в этой самой курилке, привёл меня туда. В тесной комнатёнке набилось человек восемь-десять, все молодые. Бродский стоял особняком, прислонившись к стене; мне показалось, что он знаком здесь всем и его авторитет признан. Две или три девушки перебрасывались с ним лёгкими словами. Нас представили друг другу, мы познакомились, но разговор не клеился. Вечером я возвращался в Москву.

– Вы называете себя традиционалистом. Бродский тоже уважал традицию, впитывая тех поэтов, на которых оборачивался: Вергилия, Данте, Джона Донна, Кантемира, Пушкина и др. Близок ли вам этот традиционный Бродский?

– Традиция в этом случае, мне кажется, теснейшим образом связана с логическим осмыслением мира и жизни в нём. Логический взгляд на предмет подобен хирургическому скальпелю: он безжалостен, и только ирония – и самоирония – служит своего рода обезболивающим средством. Вполне традиционная, совершенная логика поэтики Бродского, подчёркиваемая особенностями его стилистики, чрезвычайно мне близка. Этот приведённый в соответствие с нынешними реалиями, отточенный традиционализм применим и к прозе.

– Вы говорите, что не любите поэтическую прозу. Как вы относитесь к эссеистике Бродского, которая является продолжением его поэзии?

– Так же, как к его стихам – с уважительным восхищением. Но Бродский не был романистом или рассказчиком, и его эссе – слагаемые его поэтического поля, родные братья его элегий. А «поэтическую прозу» я не люблю – будь то расплзающиеся выплески Ивана Тургенева, хаотический «Доктор Живаго» Бориса Пастернака или ритмизированные истории Юрия Коваля. Проза и поэзия, составляя единое целое искусства, разнятся между собою, как небо и земля, составляющие единую целостную природу. Смещение жанров – опасный эксперимент, он ведёт к хаосу. Метафора – вот золотая пряжка, скрепляющая добротное рядом прозы с изумительным шёлком поэзии. Юрий Олеша, великий мастер, знал об этом лучше, чем другие: «Вы прошумели мимо меня, как ветвь, полная цветов и листьев». Или «Раскрытый рояль, похожий на фрак». Или «Цыганская девочка, похожая на веник».

– В одном из ваших интервью вы сказали, что у еврея никогда в жизни не получается стать никем другим. Сумел ли Бродский стать русским, а потом американцем, или так и остался евреем?

– Существует понятие «русский еврей». Вот Бродский и был русским евреем – и в Советском Союзе, и в Америке. Бродский говорил о себе, что он был плохим евреем – это неверно, это игра. А если бы он каждый день по три раза ходил в синагогу – он стал бы хорошим евреем? Или, следуя правилам кашрута, молоко пил бы утром, а отбивную ел вечером? «Хороший еврей», «плохой еврей», «хорошо для евреев», «плохо для евреев»... – это наша национальная жевательная резинка; и Бродский, как всякий еврей, имел об этом представление. Как бы то ни было, русский поэт Иосиф Бродский был лучшим евреем, чем русский поэт Борис Пастернак, которого расстраивало и стесняло его еврейское происхождение, и который по этой причине очень сетовал и печаловался.

– Сам он говорил о себе: «Я плохой еврей, плохой русский и плохой американец, но хороший поэт». Вы тоже считаете его плохим евреем?

– Упаси Бог! Плохой еврей для меня – это еврей-антисемит. Таких немало проживает на свете.

– Я знаю, что в Израиле многие не любят Бродского за то, что он отказывался приехать в Израиль. Там тоже считают, что он «растворился в русском этносе»?

– Есть и такие, есть и другие... Мы, выбравшие Израиль, предпочли бы видеть евреев в нашем Национальном Доме, а не в странах рассеяния. Но каждый человек цивилизованного мира обладает свободой ног – наиважнейшей из гражданских свобод. Думаю, что приезд в еврейскую страну стал бы для него нелёгким испытанием, душевной нагрузкой – а он этого хотел избежать. И «русский этнос» тут совершенно ни при чём – он и в Россию так и не собрался поехать, по той же причине.

– В одной из радиопередач¹, в которой и вы принимали участие, ваш брат Шимон Маркиш рассказал интересный и малоизвестный факт из биографии Бродского...

– Запись передачи сохранилась. Могу процитировать Шимона: «Есть миф, будто Бродский плохо относился к Израилю. Это чушь собачья. Я бы не стал этого рассказывать, потому что свидетелей у меня нет, но сейчас в «Иерусалимском журнале» были напечатаны мемуары, в которых автор² слово в слово повторила то, что мне говорил Иосиф. Иосиф приехал в Америку в конце 73-го, как раз в разгар нашей Октябрьской войны, нашей войны Судного Дня. И вы знаете, что он сделал? Он побежал в израильское консульство и попросил, чтобы его отправили воевать в Израиль... Ему отказали. Не то чтобы он обиделся, но...

Иосиф никогда, ни при каких обстоятельствах, ни при каких христианских стихах и мотивах, никогда своего еврейства не отрицал и не пренебрегал им. Когда Бродский прилетел в Стокгольм получать Нобелевскую премию, в аэропорту его обступили журналисты. Один из них спросил: «Скажите, пожалуйста, вот вы русский поэт, пишете по-русски и по-английски, премию сейчас получили Нобелевскую и американским поэтом называется. Кто вы?» Он сказал: «Кто я? Я еврей». Вот был ответ. Так что эти все шутки – типа «Жидостан», это он мог сказать, но он шутил над чем угодно. Посмотрите, этот все-раздирающий скепсис у него во многих стихах есть».

– Ваш брат Шимон Маркиш также писал, что в поэтической личности Бродского «еврейской грани не было вовсе». Но достаточно вспомнить, что он читал стихи, свои и чужие, как раввин в синагоге. Некоторые русские поэты говорят, что и «умён он был чисто по-еврейски, как Менухин или Визель», а не как Толстой

¹ Лето 2000 года, Тель-Авив, радиостанция «Рэка», «В литературной гостиной».

² Эстер Вейнгер. «Не усложняйте мне жизнь», «ИЖ» № 2 (1999).

или Достоевский. Разве не чувствуется эта еврейская нить во всё́м его творчестве?

– На мой взгляд – нет, не чувствуется. Эта «еврейская нить», в силу сложившихся и слежавшихся исторических обстоятельств, куда чётче угадывается и просматривается в творчестве множества других русских поэтов. Что же до манеры чтения Бродским стихов, то мне и в голову никогда бы не пришло сравнивать её с раввинской молитвой в синагоге; да она и не похожа ничуть. И «еврейский ум» – такая же занимательная выдумка, как «славянская душа». Человек либо умён, либо глуп – по круглому счёту, вне зависимости от национальной принадлежности. Третьего тут не дано.

– Мы вспомнили вашего брата Шимона Маркиша, который знал Бродского хорошо и даже дружил с ним. Расскажите, пожалуйста, что вам известно об их встречах и беседах.

– Прочитую самого Шимона из той же радиопередачи: «Нас познакомила Анна Андреевна Ахматова, действительно на смертном одре. Ее последний инфаркт, вернее, предпоследний, случился в Москве, она была в так называемом кремлевском корпусе Боткинской больницы. Там лежали кремлевские пациенты самого низшего разряда, мамы кремлевских шоферов, например, или кремлевские уборщицы. Анна Андреевна лежала в палате вдвоем с какой-то отвратительной мерзкой старухой. И долго лежала. Мне позвонили друзья, которые ведали расписанием ее дней, и сказали, что Анна Андреевна “просит вас прийти”. Мы с ней всегда виделись, когда она бывала в Москве. Я пришел к ней. Это был конец февраля, какие-то двадцатые числа февраля. Что это был за визит, говорить не стоит, она была слаба, чувствовала себя неважно, и я собрался уходить. Она сказала: “Не уходите. Я хочу вас познакомить с Иосифом Бродским. Вы знаете, кто это?” “Знаю, Анна Андреевна”. И пришел Иосиф, который меня поразил тем, что в эту атмосферу уныния и какой-то затхлости он вдруг внес свою ноту, в которой была прежде всего свежесть. Он говорил громко, мы все шептали, а он говорил громко. Думаю, что для кого-то это могло показаться даже несколько вызывающим. А может быть, отчасти наглым. Но Анна Андреевна была счастлива, у нее глаза засияли, когда он появился. И она нас познакомила. Анна Андреевна умерла в 66-м году, я уехал в 70-м, сначала в Венгрию, потом в Швейцарию. В следующий раз мы встретились с Иосифом в Лондоне в середине 70-х и с тех пор виделись всегда, если я приезжал в Америку, и он бывал в моем доме в Женеве неоднократно. Последний раз ровно за год до смерти. Мы встречали вместе Старый Новый год. Могу сказать без ложной скромности: он ко мне относился хорошо».

– Ваш брат также подтверждает, что Бродский очень много говорил о языке. Он поклонялся языку и служил ему, но вам не кажется, что в самом языке много ереси?

– Язык, образно говоря – живое существо. Если принять это утверждение, то ересь и ему свойственна, подобно всякому другому. Без ереси мир стоял бы на месте, как пень посреди поляны. Ересь – и

сопротивление ей – стимулируют поступательное движение общества вперёд или вбок, иначе говоря – прогресс.

– Бродский и сам понимал, что мастерство «всегда плетёт заговор против души», однако превыше всего ценил именно мастерство писателя, говоря, что у писателя есть только один долг перед обществом – писать хорошо. Вы видите здесь противоречие?

– Нет, не вижу. И не уверен в том, что литературное мастерство так ужасно ведёт себя по отношению к душе. Всё зависит от Мастера! Да и «писать хорошо» – это не долг перед обществом, а долг перед самим собой. В ином случае писатель, если только он способен к разумной самооценке, раньше или позже напрочь утрачивает уважение к себе и уходит в песок. Лучше раньше, чем позже – лучше для общества.

– Стиль, поэтика и душа Бродского двигались в одном направлении или в разных? Или поэт есть еретик уже по природе своего дара?

– В каждом человеке заложено от рождения еретическое начало. Кто, в конце концов – или в начале начал, – был еретиком: Ева или Змей? В душе поэта, существующего в своём неповторимом зазеркальном мире, еретическое начало гипертрофировано и зависит от его дара. Какое уж тут одно направление жизни! Брошенный камень или выстреленное пушечное ядро летят в одном направлении, пока первый не угодит в лоб Голиафа, а второе – в кавалерийскую лошадь. А поэт движется к смерти восьмёрками, не имеющими ни начала, ни конца.

– Как и вы, Бродский восхищался Платоновым, его мастерством, его стилем. В 1984 году вы слушали его восторженный монолог о Платонове. Что вы помните из этого монолога? Позаимствовал ли что-то Бродский у Платонова?

– Мы – Бродский, мой брат Шимон и я – просидели в Гринидж Виллидж, в полуподвальном этаже, в маленькой квартирке, совсем не по-американски обставленной и обжитой, вечер и часть ночи. Сначала вспоминали курилку Публички, поворачивали так и эдак смешную неловкость, недоразумение, возникшее при моём с ним знакомстве там. Придирчиво, надо сказать, вспоминали. Когда недоразумение рассыпалось и рассеялось, мы все вздохнули облегчённо. На столе появилась еда из ближайшего китайского ресторанчика, вино.

Иосиф хотел знать с предельной определённой, захотят ли и смогут ли, по моему мнению, наши власти выволить его сына и вывезти его из России по израильской визе. Эта тема была мучительна для Бродского, он, по-видимому, немало перепробовал вариантов и предпринял попыток – бесплодных, к несчастью, попыток. В израильский вариант он тоже не очень-то верил, а я не мог взять на себя ответственность и убеждать его в обратном, не хотел внушать ему беспочвенную чудесную надежду.

Разговор о судьбе сына закончился так же отрывисто, как и возник. Не помню, какой поворот привёл нас к Андрею Платонову. Бродский преобразился, посветлел. Возможно, переход от тягостной для него темы к спасительной так на него подействовал. Он говорил вдохновенно, он не нуждался в оппонентах совершенно. Рассуждая о Платонове,

он возводил, выстраивал вокруг него, с ним в центре особый, платоновский мир, малость отличающийся от нашего. То был дивный мир поисков смешного всецелого счастья, мир, где трагедия личности сотрясала всё общество. Рокоча над столом, Бродский ни разу не вспомнил и не упомянул никого из современников Платонова – по той, получилось, причине, что ни один из них близко к автору «Чевенгура» не стоял. Бродский считал Платонова крупнейшим, основополагающим русским прозаиком XX века. Уверен, что он не ошибся. А безвозмездно заимствовать у такой ни на кого не похожей величины, как Платонов, просто невозможно – как, впрочем, и у самого Бродского. Разделять взгляды, испытывать влияние – да, можно; так залитый солнцем летний луг испытывает влияние набегающего свежего ветра.

– Бродский признавал, что Шестов был единственным философом, который повлиял на него. Он жаловался Октавио Пасу, что в Америке ему не с кем поговорить о Шестове. Вы чувствуете влияние Шестова на Бродского?

– Чтобы судить об этом всерьёз, я недостаточно глубоко знаю Шестова. Надо думать, что-то такое в нем привораживало Иосифа... Мне кажется, что слова Николая Бердяева о Шестове можно напрямую отнести к Бродскому: «Л. Шестова мучила неотвратимость прошлого, мучил ужас однажды бывшего». Или вот это: «Он был одному».

– Для Бродского ирония была способом избежать пафоса. Насколько для вас приемлема ирония Бродского, которая столь претит Солженицыну?

– Не только приемлема – необходима! Ирония расцветивает жизнь, смягчает то глухое и тёмное отчаянье, которое связано с неизбывным присутствием зла вокруг нас. Не вижу искусства без иронии, без самоиронии. Солженицын же, можно предположить, по складу своего характера был невосприимчив к иронии. Оценивая Бродского, как поэт поэта, автор «Дороженьки» и «Прусских ночей» обнаруживает в творчестве автора «Исаака и Авраама» и «Римских элегий» немало просчётов и слабостей, к которым относит и иронию. Искать иронию и – Боже упаси! – самоиронию в стихах или прозе Александра Исаевича дело безнадежное.

– Мне бы хотелось, чтобы вы помогли мне разобраться в религиозных воззрениях Бродского. В одном из интервью Бродский сказал, что он «скатился к кальвинизму», и тут же уточняет, что «скатился назад к иудаизму, в особенности по отношению к Всемогущему как произвольному существу». Вы чувствуете это приближение Бродского к иудаизму?

– Нет, не чувствую. Думаю, что Бродский был человеком верующим, но не религиозным. Этот тип своевольных людей особенно подозрителен, а иногда и ненавистен чиновникам от Бога. Их тоже можно понять: раз ты паства – пасись, пережёвывай траву и не задавайся еретическими вопросами.

– В течение одного 1962 года Бродский прочитал Ветхий и Новый завет, Божественную Комедию и Махабхарату. Что засохло и что произошло в его стихах от этого обильного посева?

Проклонулось и проросло ощущение, что Главный Стеклодув, не покладая рук, делает свою работу. Что Высшая Сила или, если угодно, Э т о имеет место быть. Что мир хаотичен лишь на первый восхищённый взгляд.

– *Бродский признавался: он сам не совсем понимал, что хотел сказать в своей поэме «Исаак и Авраам». А вам понятен замысел этой поэмы?*

– Нет.

– *Как вы оцениваете его стихи на еврейскую тему и на христианскую?*

По отдельности никак не оцениваю. Одни стихи мне нравятся больше, другие меньше – но это вовсе не связано с тем, «еврейские» они или «христианские». Я был бы круглым дураком, если бы те или иные стихи великого поэта нравились мне, еврею, больше, чем другие, лишь по той причине, что они – «еврейские».

– *Позволю себе ещё раз процитировать Бродского: «...когда какой-то местный Яхве говорит мне, что это для меня невозможно, а то недостижимо, и что нельзя возлюбить Бога Авраама, и Исаака, и Иакова и любить Иисуса, я отвечаю: «Чушь собачья». Можно ли, по-вашему, совместить эти любви?*

– Можно – если принять максимум «Каждый любит в одиночку». Речь идёт об отношении человека к единому Богу. Нельзя, строго говоря, любить или не любить Э т о – если мы имеем в виду Высшую Силу. Но можно любить человеческие отблески Высшей Силы – Авраама, Ицхака, Иакова, Иисуса.

– *Бродский говорил, что выбрал христианство по той простой причине, что иудаизм говорит «мы», а христианство – «я». Не стоит ли за этим выбором индивидуализм Бродского?*

– Пожалуй... Кто из творцов – со строчной буквы – предпочитает безликий коллективизм? Я сомневаюсь в том, что иудаизм только и делает, что мычит это социал-большевистское «мы-ы», хотя всякая, по сути дела, религия, как и всякая политическая партия, ограничивает до определённой степени свободу индивидуального выбора.

– *Бродскому всегда хотелось «переплюнуть» великих, будь то английские поэты-метафизики, или «наше всё» Александр Сергеевич, не говоря уже о великолепной семёрке начала XX века. Он отказывался соревноваться только с одной Цветаевой. Откуда это желание всех превзойти, не от еврейского ли самоутверждения?*

– Чувство самоутверждения не чуждо евреям стран рассеяния. Но самоутверждение, в конечном счёте, это стремление к безусловному и неограниченному лидерству – а Бродский исключал из числа «конкурентов» дышавшую небом Цветаеву. Какой безумец бросил бы вызов гениальной Цветаевой? Иосиф Бродский не был безумцем – просто он знал себе твёрдую цену, как Альберт Эйнштейн.

С Давидом Маркишем беседовала Валентина Полухина

Наталья Неймарк

САРА, САМСОН И К°

Семейные хроники Маленькой Стервы

САРА

Мою бабушку звали Сара-Ента, но дед Самсон называл ее Сорента. Так и прожила она жизнь, оставаясь в душе Сарой, а местами и вовсе Енттой, но высоко держа марку Соренты. Осанка, величественная улыбка, вкус, умение носить любую одежду, светскость манер и благородство черт лица – все это было, несомненно, Сорентовское. Суетливость, способность довести собеседника одним единственным словом до моментального кипения и частичного испарения – это было родное, Ентинское! А как она умела пилить! Я в своей жизни знавала многих мастеров пиления, но бабка была «лесопилка»! Зато как же она была красива! В молодости – вылитая Вера Холодная, а в зрелые годы красота стала такой благородной, породистой, что в фартуке на кухне или в очереди за картошкой она казалось просто ряженой, как Элина Быстрицкая в роли кубанской казачки. Бабка и в старости сохранила статью, голливудскую улыбку и правильные черты лица, так что все мы рядом с ней гляделись как ширпотреб по соседству со штучным изделием.

Безмерность почтения и уважения, которые питали к ней посторонние люди, можно было сравнить только с безмерностью пренебрежения близких. Соседи были у нас самые разные: бывшая гэбистка Матрена, заслуженная пенсионерка Анна Федоровна, спившийся интеллигент Тырин, Софья Ильинична «из бывших» и т.д., и т.п. Да что соседи – любой попадавший в поле ее обаяния посторонний человек, будь то дворничиха, мой пионервожатый или учитель музыки, немедленно входил с нею в самые тесные отношения. Люди доверяли ей свои радости и беды, она мирила поссорившихся супругов и потечески журила великовозрастных балбесов. Была третейским судьей между соседками, у нее прятали нехитрые свои богатства жены (чтоб Сам не пропил), мужа оставляли зачатки (чтоб Моя не нашла). Но дома, в семье главным для нас всегда был не вопрос «что делать?», а вопрос «как скрыть от нее?».

Сегодня я понимаю, что мы жили скорее бедно, чем «небогато». Бабушке приходилось за один день и стирать, и сушить, и гладить постельное белье, так как не было полной смены на всех. И тем не менее каждый год мы всем кагалом ехали отдыхать, все праздники и дни рождения справлялись «под большое декольте», а, главное, нас не покидало ощущение, что дом наш – полная чаша, особенно по сравнению с чужими домами, где жили постно и тихо.

Бабка никогда не работала – ведь нельзя же считать работой ведение нашего безумного хозяйства! Семейная легенда даже утверждала,

что когда-то ей помогала домработница. Словно в подтверждение этого, Сара вела себя так, как будто только вчера рассчитала прислугу, и теперь, пока не нашли достойной замены, ей приходится справляться самой. Надо было видеть, с какой небрежной улыбкой на лице, ни на минуту не теряя царственной осанки, она готовит, убирает, стирает, гладит, натирает полы! Надо сказать, что паркет у нас был уникальный: блестел как зеркало, хотелось надеть войлочные тапочки, как в Кусково. Впрочем, он представлял собой единственную ценность в квартире.

Было у бабушки моей Сары множество любимых афоризмов на русском, латыни (она когда-то в самом деле проучилась целый год в женской гимназии), идише и французском (на французском говорил дед). Все они казались мне пошлыми и глупыми. Но особенно я ненавидела «Удаль молодцу не в укор!» Удалью называлось и оправдывалось многое – например, измены деда Самсона, о «подвигах» которого ходили такие легенды, что Дон Жуан мог бы удавиться от зависти. Даже дурная болезнь сына относилась к разряду «удалей», да и Сэндора, бросившего беременной единственную Сарину сестру Асю, бабушка ругала как-то не очень убедительно.

Зато в женщинах она ценила лишь верность и всепрощенчество. За моей мамой, своей единственной дочерью, она признавала только два достоинства: удачный выбор мужа и любовь к брату!

Ее любимая поговорка «Недостатки мужа – продолжения его достоинств!» была не просто декларацией, но составляла естественный жизненный принцип. Бабушка создавала в доме культ, независимо от желаний «объекта» поклонения и невзирая на сопротивление остальных членов семьи. Семья плавно переходила от культа личности деда Самсона к поклонению Неймарку – моему отцу и бабушкиному зятю. Затем начался недолгий культ мужа ее любимой старшей внучки, но, оказавшись крайне непопулярным в народе, быстро перешел на правнука Сашку.

Еще она любила сына Володьку. Любила как-то совершенно сомнамбулически, не помня себя, не видя ничего и никого кругом. Почему-то я запомнила сильнее всего, как Володька, устав от бабушкиных причитаний, прятался от нее в туалете, а Сара, стоя под дверью, продолжала говорить, говорить, говорить.

Я с бабкой была «в контрах» сколько себя помню. Она раздражала глупостью, злила необъективностью, а отсутствие элементарной гордости и вовсе приводило меня в бешенство. Я мысленно обвиняла ее во всех несчастьях, приходивших в наш дом. Бабка платила мне тем же. Позже я обнаружила в ее переписке с сестрой постоянное упоминание о какой-то М. С. и сразу догадалась, что речь идет обо мне – Маленькой Стерве. Но сейчас все чаще и чаще я ловлю себя на том, что произношу ее любимые выражения, а самый большой комплимент, который мне могут сделать, это сказать, что моя дочь – вылитая Сара.

Уже не первый год драю свой дом, не переставая сетовать на отсутствие подходящей уборщицы. А когда просят рассказать о своей и в самом деле необыкновенной семье, я почему-то неизменно начинаю с «мою бабушку звали Сара-Ента, но дед Самсон называл ее Сорента...»

САМСОН

Деда Самсона почти не помню, да и откуда? Меня прислали в Москву к ним с бабушкой осенью 60-го, а весной он умер. Значит, было мне тогда пять с половиной – шесть лет. С трудом выкапываю из памяти его смутный образ. Но зато очень хорошо помню бабушку, как она с ним разговаривала – вся светясь и как-то неестественно жеманясь. Еще помню, как она сидит на диване в какой-то старушечьей и совершенно не идущей ей позе, а вокруг нее стоят какие-то люди, частью знакомые, а частью чужие – стоят и молчат. Я еще тогда подумала: наконец-то на нее обратили внимание, а то вечно: «Самсон Владимирович! Самсон Владимирович!», а ей только: «спасибо, Сара; до свидания, Сара». И вдруг бабушка сказала непривычно тихим голосом и совершенно без кокетства: «Лучше бы он ушел». И тут все заговорили разом, громко и неуверенно: «Ну что вы, Сара Моисеевна! Ну что вы!»

В наших квартирах в «красном углу» всегда висел портрет деда, так что непонятно, помню я его на самом деле или восстановила лицо по портрету. Легенд и историй о дедушке Самсоне ходило столько, что невозможно было разобраться, где правда, а где приукрашенный анекдот. Но из этого множества упоминаний, ссылок, недомолвок, намеков, цитат сложился в итоге такой полный и гармоничный образ, что теперь он не вызывает у меня ни малейшего сомнения. Поэтому все, что я собираюсь изложить ниже, следует расценивать как вполне достоверную историю.

Итак, в году 80-ом позапрошлого уже XIX столетия в Россию, в Сибирь, а точнее, в город Иркутск приехал из Германии некто Владимир Гринберг с молодой своей супругой Софьей. Не думаю, что были они тогда именно Владимиром и Софьей. Скорее уж Вульфом и Шифрой. Молодой человек приехал по найму – управляющим на золотые прииски. Был он просвещен, эмансипирован, амбициозен и хорошо знал, чего хочет, а потому быстро преуспел, и вскоре перекупил заброшенные шахты, которые сделал из убыточных прибыльными и процветающими.

Прокололся прадед только в своем поспешном крещении – в России ведь, как известно, «жид крещеный, что вор прощенный». И хотя в соответствующую купеческую гильдию попал, но в дома, какие хотелось бы, все же не очень-то и приглашался. Да и детей в гимназиях все равно жидями дразнили. Поэтому, если старшие дети еще назывались Борисом, Верой и Матвеем, то младшие уже – Соломоном, Залманом, Роней, Цивой да Самсоном. Всего детей было одиннадцать.

К вере предков семья не вернулась, но и настоящими православными тоже не стали. Много позже дед называл всех Гринбергов «породистыми космополитами». Дома говорили на французском и немецком, детям выписывались европейские гувернеры, а подростков отправляли в Сорбонну и в Геттингенский университет.

Старшую дочь Веру выдали замуж очень удачно – за такого же выкреста Шергова, семье которого принадлежала половина Читы. Потом и с Китаевичами, Богоридовыми породнились – тоже, надо сказать, не последними людьми. Так облагородились, что и в игры стали играть

благородные: кто в эсеры пошел, кто в марксисты. Бориса сослали из столицы, где он учился, в Сибирь, что в его случае означало возвращение к папеньке под крыло – в Иркутск и, даже, что, наверное, особенно льстило, – на Нерчинские рудники. Пример старшего брата несколько охладил пыл остальных революционеров, и в период 1908-1910 годов передовой отряд Гринбергов эмигрировал через Харбин в Австралию и Южную Америку. Их след растаял в тумане времен и событий.

Сохранилась Харбинская фотография 1908 года, на обороте которой Цивья и Самуил Богоридовы просят их не забывать, что и исполнялось где-то до года 40-го. На этой фотографии, потертой и треснутой, как сквозь пыль веков, проступают фамильные черты Гринбергов.

Но вернемся к деду. Он был самым младшим ребенком. Его баловали, им умилялись. Отец Владимир Григорьевич, еще не старый, но уже очень нездоровый человек, в Самсончике души не чаял. Слава Богу, до революции прадед не дожил – умер раньше, не пережив истории со старшим, Борисом, отъезда Цивьи и Павла, а главное – тяжких сомнений в будущем своего предприятия, дела своей жизни. Он приехал в эти дикие места, разглядел здесь свой Клондайк, пускал корни, обростал связями, родней, хозяйством, строил клан новых Крезов и Ротшильдов – клан ГРИНБЕРГОВ! Он родил, поднял и воспитал одиннадцать детей – почти двенадцать колен! А теперь колени эти разъезжались на все четыре стороны...

Я смотрю на фотографию с дагерротипа 1900 года – прадед мой Владимир Григорьевич Гринберг. Холеное, гладкое лицо, щегольски закрученные вверх усы и начинающая уже седеть борода, миндалевидные глаза – глаза моего деда Самсона, мамы моей и мои. Ах, как же он вальяжен, как значителен и доволен собой! Я так и вижу, как сидит он во главе большого стола, и Софья (вчерашняя Шифра) велит подать – нет, не щи и не суп даже, и уж конечно не юх – велит подать бульон! И прислуга в накрахмаленном фартуке вносит фарфоровую супницу. И тут же – столовое серебро, и серебряные канделябры, и солидная мебель красного дерева, и сигары за дымящимся кофием, и неспешная беседа, и музицирование в четыре руки, и...

Конечно, останься прадед жив, ни за что не отпустил бы Самсона в Сорбонну, держал бы при себе, как Биньямина старый Яков. Но уж мать-то парень смог уговорить. Осенью 17 года, чуть-чуть не дождавшись шестнадцатилетия, Самсон собрался в Париж. Но далеко не уехал: война – не мать родна, ее не уговоришь. Думаю, что именно этой несостоявшейся поездки дедушка так и не простил большевикам и ненавидел их люто всю свою жизнь. И всю жизнь продолжал мечтать о Франции. Дома на Кутузовке у него на стене висела карта Парижа. Он знал его, как не знал, наверное, Москвы.

Самсон вернулся в Иркутск и попал под колчаковскую мобилизацию (не думаю, что дед пошел добровольцем, это было бы не в его стиле). Но служил очень недолго – дезертировал, бежал в большой город, попал на кремлевские военные курсы «Выстрел» и вернулся в Сибирь красным офицером. Есть фотография, на которой запечатлен дед в фуражке со звездой и шинели, перетянутой кожаными ремнями. Ему двадцать пять лет. Он молод, умен, ни во что не верит, наследственно

не отягощен иллюзиями, но, главное, он совершенно спокоен. Уверена, что дед уже тогда понимал все: сущность грядущей власти, опасность больших амбиций, невозможность осчастливить весь мир. Из «успехов в труде и личной жизни» он однозначно выберет личную жизнь!

Миндалевидные глаза, полные чувственные губы, маленькая изящная рука – нет, не о светлом будущем мировой революции думает этот юный воин! На обратной стороне фотографии – дата и дарственная надпись: «6 августа 26 г. Томск. Сатуське любимой». Сатуська – это и есть Сара, моя бабка.

ЭЛЬКИНЫ

В каждом, даже самом маленьком и бедном еврейском местечке есть свой богач, свой мудрец, свой чудак и... все остальные евреи. В Белорусском местечке Бобр был даже свой купец, он же признанный знаток торы. Звали его Яков Коган-Либерман. Был он настоящий *балабост*, то есть хозяин с хорошим домом и крепким большим семейством – в общем, уважаемый человек. Старшая его дочь Соня вышла замуж за кузнеца Моисея Элькина. Я думаю, что изначально фамилия была Элькан, что на иврите имеет вполне определенный смысл: «Бог здесь», но потом в русском варианте «ан» перешел в «ин», и таким образом «Отмеченный присутствием Бога» стал почти что Ёлкиным! Ну, а может, все было гораздо прозаичнее: просто сын какой-нибудь бедной вдовы Эльки.

Моисей сын Айзика Элькин был человек добрый, мягкий, безотказный, но робкий. Поэтому не удивительно, что Соня хоть и была уже несколько лет Элькина, и даже в 1907 году родилась у них дочь Сарочка, все равно оставалась, прежде всего, дочерью Когана. Да и жили они в доме Самого, где непререкаемым правом решающего голоса обладал лишь Яков Коган.

Семейство Коганов росло, дела шли неплохо, но вокруг было неспокойно: то тут, то там прокатывались погромы, да и купеческая гильдия на давала права на жительство в тех городах, где и народ культурней, и порядка больше, и горизонты дальше. А может, соблазнила Якова столыпинская реформа, обещавшая переселенцам в Сибирь золотые горы, вольницу, и богатые земли. Коган испросил официальное разрешение на переселение в Сибирь, в Ново-Николаевск. Все, что нужно, продали, упаковались, списались, договорились, попрощались и тронулись в направлении, которое впоследствии оказалось противоположным правильному.

До Ново-Николаевска Яков Коган довел народ свой быстрее и с меньшими потерями, чем его праотец довел свой народ до Земли обетованной. Устроились на новом месте тоже неплохо. Даже дом прикупили по случаю, каких в Бобре и не видал никто. Правда, с видом на жительство пока не выходило, но урядник деньги брал без видимого неудовольствия. Соня с семьей жили рядышком, и все опять вернулось на круги своя, хотя теперь их было уже пятеро: родился сын Исай и дочка Ася. Опять день начинался и кончался Сониным: «Надо пойти к родителям, посоветоваться». Через много лет Моисей

Элькин будет вспоминать своего тестя, мягко выражаясь, без особой теплоты и даже задним числом назовет его «Наш семейный Сталин». Дед Коган-Либерман проживет долгую жизнь и умрет где-то в самом начале Отечественной войны. И до последнего дня его жизни никто в его присутствии не смел первым поднести ложку ко рту.

Но в 12 году, когда их все-таки выселили из Ново-Николаевска в какую-то совсем уж захолустную деревню, Моисей Элькин взбунтовался. Он объявил, что они, Элькины, едут в Америку! Причем едут сами, без Коганов! И новый Моисей повел свой маленький народ... в Харбин. В Харбине опять кое-как устроились и стали ждать визу в Америку. Моисей работал управляющим в китайском таксопарке — управлял рикшами. Соня снова была беременной. Визы все не было. Началась война, 1914 год.

Соня рожала в этот раз тяжело. Мальчика назвали Семен, Сенечка. Мальчик был прелестный: беленький, пухленький, кудрявый. Окрестные китайцы приходили поглазеть на чудного ребенка. Визу все не давали. Вместо нее отовсюду приходили непонятные, пугающие слухи. Дед Коган настаивал на возвращении в Ново-Николаевск, да и запал Моисея потихоньку растаял. Было решено вернуться.

Больше Моисей Элькин инициативы в жизни не проявлял и характера не показывал. Он не озлобился, не замкнулся, а оставался терпеливым, тихим, добрым и безотказным человеком, пережил войну, блокаду, эвакуацию и умер в 1949 году. Наверное, он бывал счастлив.

Вернувшись в Ново-Николаевск, Элькины пережили белых, дождались красных. При белых семья Коганов потеряла старшего сына, успешного стать бундовцем, но зато Сарочка почти год успела проходить в женскую гимназию. Она стала настоящей красавицей. В семнадцать лет ее отправили учиться в Томск в фармацевтический техникум. Студенткой она была не из самых прилежных, но знала о своей красоте и носила ее осторожно, чтобы не расплескать до появления прекрасного принца на белом коне, который не замедлил явиться в виде бравого красного командира Самсона Гринберга.

САРА И САМСОН

Она влюбилась сразу и на всю жизнь. Самсон был совершенством, полубогом. Половину из того, что он говорил, она вообще не понимала, но само звучание его слов оказывало на нее действие колдовское. Они подолгу гуляли, разговаривали, строили планы на будущее. Но неожиданно грянул гром: Самсона командируют в Красноярск! Разлука! Ну, конечно же, это временно, это ничего не меняет! Он устроится и немедленно вызовет ее к себе.

Уже с дороги Самсон начал писать подруге страстные послания, а из Красноярска так и просто писал каждый день! Сара читала их по вечерам подружкам, как главы из романа. Внезапный перерыв в письмах Сара сначала объясняла себе командировкой, но потом забеспокоилась: здоров ли любимый, все ли с ним в порядке? Но вскоре письмо пришло. На этот раз оно было коротким — два слова: «Прости, прощай», даже без подписи.

Сара не упала в обморок, не пыталась отравиться. Молча она собрала свои вещи и, не сказав никому ни слова, покинула Томск и вернулась в Ново-Николаевск, превратившийся к тому времени в Новосибирск.

А произошло следующее: в поезде Иркутск – Красноярск Самсон встретил отзывчивую попутчицу – француженку, неизвестно как попавшую в этот поезд, идущий из Сибири в Сибирь. Француженку! Несбывшаяся мечта о Париже опять поманила Самсона, и он потерял голову.

О том, что происходило в это время с Сарой, можно только догадываться. Говорят, что все лето она не выходила из родительского дома. Но я-то знаю, что бабка умела держать удар! Я видела ее в намного более трагические минуты жизни. На мелкие неприятности и бытовые неудачи она выдавала преувеличенно жуткую реакцию по классическим местечковым образцам, но в действительно страшные моменты в ней включался какой-то внутренний природный анестезирующий механизм.

А тем временем выяснилось, что француженка не так молода, как показалось в плохо освещенном купе, да и французский ее вульгарен. Ни на минуту не допуская мысли, что его могли забыть, Самсон прибыл в Новосибирск и без всякого предупреждения постучался в дверь дома Элькиных. Если он и был несколько смущен, то хорошо это смущение смог скрыть, так как спросил прямо с порога: «Как, Сара! Ты еще не готова?» И Сара, ни говоря ни слова, встала и пошла за ним, и продолжала идти всю жизнь, светясь от одного его взгляда, голоса, присутствия.

В ноябре 1926 года, уволившись в запас, Самсон возвращается в Томск. А уже 14 декабря мои будущие дедушка и бабушка расписываются в томском загсе. Свадьба была скромной, но с хупой, как положено. Тут приключился конфуз: по еврейской традиции жених должен разбить стеклянный бокал или переступить через серебряный. Самсон был не самым большим знатоком традиций – про бокал он вообще-то знал, но вот про такие тонкости, как метал и стекло, – не очень. Поэтому на свадьбе жених безуспешно топтал и топтал злополучный серебряный бокал, чем вызвал сначала тихий подбадривающий смех, а потом и гомерический хохот всего честного еврейства.

БЭБЧИК

6 декабря 1927 года в Новосибирске родилась Верочка Гринберг, моя будущая мама. Вера, Верочка, Верунчик, Бэбчик – она была первая у Элькиных и потому самая любимая для всей семьи. Когда я смотрю на фотографии мамы в младенчестве, мне кажется, что мама совершенно не изменилась и через год, и через двадцать, и через сорок восемь лет. Первое, что бросается в глаза на ее детских фотографиях – это глаза, блестящие, как лампочки. Потом обращает на себя внимание улыбка не просто во весь рот, а во все лицо, во все тело: даже пухлая попка и весело задранные ножки в перетяжечках и ямочках – смеются. Я всех детей, да и людей взрослых тоже, делю на тех, кого можно развеселить, и на тех, кого можно огорчить! Так вот: чтобы огорчить ма-

му, испортить ей настроение, надо было приложить немалое усилие. Нормальным состоянием для Бэбчика, Верочки, Веры, Веры Самсоновны было не просто хорошее настроение, а приподнятое, бодрое и веселое ожидание чего-то очень хорошего. В крайнем случае, воспоминания о чем-то очень хорошем и смешном. Самое интересное, что и последние годы своей жизни (своей второй жизни, как она говорила), когда она была очень больна и зависима, она стала еще большим Бэбчиком, чем до болезни. Мне даже иногда казалось, что ей ее состояние не в тягость, так как она освобождена от навязанной ей роли взрослого, серьезного и ответственного человека.

Самсон обожал Верочку, и Сара даже немного ревновала мужа к ребенку. Он тогда работал плановиком или экономистом сначала в Томске, потом в Омске, потом в Подберезье, потом в Долгопрудном... Нигде они долго не задерживались – похоже, что дед это делал сознательно. Только так я могу объяснить то, что дед так и не сел. А ведь таких «контр», как дед, мало встречалось в те годы. Помню, как он ставил меня на стул и демонстрировал своим друзьям: «Скажи, деточка, в какой системе мы живем?» И я звонко отвечала: «В системе Ба!», т. е. бандитской, или «Ба-2», т. е. блядской.

Отношение ко всему советскому, коммунистическому в нашем доме априори было таким, что даже в самом нежном возрасте, когда мама, поднимая меня в детский сад утром, говорила: «Вот и проснулось наше родное и любимое... советское правительство!», я точно знала, что в этом месте следует смеяться – ведь само сочетание «родное и любимое советское правительство» было немыслимым, а потому смешным!

Когда мама училась в школе, и кто-то из дорогого и любимого правительства умирал, и в школе надо было плакать, то дед говорил: «Сара! Положи ребенку в портфель луковицу!»! Бабушкин брат Сеня утверждал, что у всякого, попадавшего первый раз к Самсону всегда возникал один и тот же вопрос: он дурак или стукач? Думаю, что дед просто был очень умным циником, совершенно не отягощенным принципами и выбравшим единственно верную стратегию: нигде и никогда не высовываться, не вступать, не задерживаться.

Итак, семейство Гринбергов перемещалось по стране, и всегда это был переход на заранее подготовленную позицию и в заданном направлении – на запад, в сторону Москвы... или, может, Парижа? Впрочем, везде, где бы ни жил Самсон, был маленький Париж.

Я мало что слышала от мамы про жизнь до войны, до Москвы. Помню рассказы о Фишах, Хавиных, Сахиевых – друзьях «комсомольской» молодости деда и бабушки, которых они встречали на той или иной ударной стройке, чтобы потом уже вместе передвигаться дальше. «Надо всегда заботиться о надежной преферансной компании», – говорила дома. Подозреваю, что родилась эта фраза где-то между 28-м и 38-м годами.

В Москву Самсон переехал из Долгопрудного на работу в Министерство черной металлургии, Чермет. Квартиру дали в престижном черметовском доме на Кутузовке рядом с кинотеатром «Пионер». Да, это был Дом – с консьержкой, закрытым двором и начальственной публикой. Мамина школа по своей престижности не уступала дому.

У мамы появились соответствующие подруги. Она наслаждалась московской жизнью. Но... началась война. А на четвертый день войны родился Володька. Дед остался в Москве, а бабушка с мамой и грудным ребенком отправились в эвакуацию, в Новосибирск.

Об эвакуации почти не вспоминали дома. Но было маме там несладко. Жили у родственников, бабушка много болела, забота о Володьке была на маме. Потом из Ленинграда подтянулись старики-родители Моисей и Соня, Сарина сестра Ася. Все были в одинаково тяжелом положении, но как-то крутились, подрабатывали, экономили. Саре было хуже всех: она одна так и не пристроилась ни к какому делу, только распродала свои колечки, цепочки, часики, костюмчики, шубки. Дед, конечно, что-то посылал, но, как всегда, не хватало.

Маме там тоже было плохо. С местными не получалось сойтись, хотя для мамы это никогда не было проблемой. «Выковырянные» – так звали эвакуированных. Тогда, кажется, мама и решила требовать своего возвращения в Москву. Сарино согласие далось нелегко, но в итоге Вера все-таки вернулась в военную Москву.

Там ее ждал сюрприз: Самсона жил не один, а с Муркой – хорошенькой молоденькой кошечкой, которая помогала Самсону Владимировичу сносить тяготы одиночества и военной жизни. Верка принимает эту пикантную ситуацию как еще одну их с папой маленькую шалость, как общую тайну. Самсон водит своих девочек в ресторан, и Верка начинает верить, что все как-то само собой устроится. Приезд Сени, бабушкиного брата (после ранения Сеня получает отпуск и едет в Новосибирск) несколько нарушает идиллию.

Доехав до Новосибирска, Сеня немедленно рассказывает сестре о происходящем в Москве. И Сара совершает самый страшный поступок в своей жизни: она пишет письмо в министерство: «Мой муж подлец – верните мне мужа!» У Самсона забирают квартиру, и, когда Сара с Володькой все-таки возвращаются в Москву, то застают в своей квартире еще три семьи: после Сариного письма к Самсону Владимировичу подселили соседей. Простил ли Самсон Сару я не знаю, но две вещи мне известны точно: первая – Сара Самсона простила, как только увидела, и вторая – Верку, свою дочь и мою маму, до конца не простила никогда.

История с Муркой закончилась – Сара просто не пустила ее на порог: «Я с проститутками не разговариваю!». Узелок с вещами Мурки («совершенно безвкусные хонтовские платья») она выкидывает вслед «этой драной кошке». Самсон оценил удачную фразу.

Послевоенная жизнь пошла своим тяжелым ходом. Самсон как-то погас, успокоился, хотя, когда в отпуск уезжал на юг, отрывался по полной программе. Мама закончила школу. Не знаю, как мама поступила в МАТИ, но хорошо себе представляю, как она там училась. Она в самом деле была далеко не красавицей, но я не сомневаюсь, что вокруг нее бурлила жизнь, что к ней, как магнитом, притягивались самые разные люди.

Однажды в переполненном трамвае мама висела на подножке, и ее очень галантно поддерживал и страховал висевший рядом молодой человек. На своей остановке мама сошла, а молодой человек, как и положено по законам жанра, последовал за ней. Его звали Володя Ней-

марк, и это был мой будущий папа – худенький, незаметный очкарик, студент, заканчивающий Энергетический институт. Был он беден даже на фоне тогдашней бедности, молчалив и совершенно лишен «светского лоска», но пользовался такими уважением и любовью среди друзей, что это не могло не произвести на маму впечатление.

Мама приняла его предложение руки и сердца и привела домой знакомить с родителями. Об этом моменте история сохранила живое свидетельство современников: соседка позвонила в дверь и позвала бабушку. «Сара, – сказала она, – там твоя Верка уже час уговаривает какого-то кутенка подняться к вам в квартиру. Ты бы их позвала, что ли. А то они пищат под моей дверью!» Сара позвала Самсона, Самсон позвал дочь. Они поднялись, и папа, а был это именно он, вместо приветствия и положенных в таких случаях слов, начал прямо в коридоре объяснять деду, что является самой невыгодной и даже нежелательной для его дочери партией. Когда он дошел до репрессированных родителей, дед сказал слова, ставшие жемчужинами в венце дедова культа: «Молодой человек, вы оказываете мне и моей Верке честь своим предложением!» и пригласил папу в комнату.

НЕЙМАРКИ

О Неймарках я не знаю почти ничего. Отцовский дед жил в Белоруссии, вернее, за белорусской чертой оседлости. А другая бабка – Мина – внесла свою посильную лепту в спаивание православного народа, ибо держала постоянный двор.

Моего деда звали Ефим Моисеевич, что следует из справки о реабилитации и протокола собрания, где он был восстановлен в партии – были, значит, в нашей семье и *партийные* граждане, да еще с 1919 года. Есть у меня и ответ на мой запрос в КГБ о судьбе отцовских родителей, где среди прочего содержится совершенно сюрреалистический абзац, который я не могу не процитировать:

«В ответ на Ваш вопрос о судьбе следовательской группы, ведущей дело Вашего деда, сообщаем, что они были расстреляны по приговору... суда в декабре 1938 г. Как и следовательская группа, ведущая дело следовательской группы Вашего деда...»

Младший брат деда Павел погиб в войну, в штрафбате.

Мало знаю, очень мало. И так обидно мне это, что хоть плачь! Мысль о том, что кому-то удалось прервать, вымарать из памяти след наших предков, ощущение бессмертности душ наших, не дает мне покоя. От всего более пятисотлетнего пути предков, от минимум двадцати пяти поколений, от всех моих Неймарков я с трудом могу разглядеть всего три ступеньки: Володя – мой папа, Ефим – мой дед, и совсем уже в тумане, как «след гвоздя от картины, висевшей вчера», мой прадед – Моисей. И все, чернота.

В августе 1895 года у хозяина постоянного двора где-то на перекрестке белорусских дорог Моисея Неймарка и его жены Мины родился сын Ефим. Образование мальчику дали хорошее, правда, пришлось его за границу посылать, здесь он по процентной норме не прошел бы. В Евро-

пе Ефим сходитя с русскими эмигрантами, увлекается революционными идеями – обычная история тех лет. В 1919 году он вступает в партию большевиков, служит в Наркомате иностранных дел, участвует в охоте на басмачей, работает в Афганистане, Турции и Китае. У нас сохранились фотографии деда Ефима с Ларисой Рейснер, и другие, похожие.

Он вообще водил интересные знакомства. Например, с художником Сарьяном. В доме было два ковра-портрета (самого Сарьяна и деда), подаренных деду художником. Был и портрет папы – сейчас он висит в музее Сарьяна в Ереване и называется «Портрет мальчика». Ефим собрал великолепную библиотеку. Ее, естественно, потом конфисковали, и папа всю жизнь пытался собрать такую же.

На Дальний Восток Ефим уехал с молодой женой Сарой Рабинович. Они поженились в 20 году. Моей бабушке было тогда двадцать лет. Всю свою недолгую жизнь она лечила детей, создавала систему здравоохранения в Средней Азии и на Кавказе. На личную жизнь времени не было ни у нее, ни у мужа. Их единственный сын родился только в 26 году в Алма-Ате, 21 апреля. Назвали, естественно, Володей, понятно в честь кого, а для полноты картины еще и день рождения перенесли на 22-ое!

В 1936 году деда перевели консулом в Китай в город Сахалин. Бабушка в то время заведовала детской больницей в Благовещенске. Ей было тогда тридцать восемь лет, Ефиму – сорок два. Папе – десять лет.

27 октября 1937 года деда срочно вызвали в Благовещенск. Утром 28 октября Володя проводил его на работу и остался ждать отца на скамейке перед обкомом, потому что ненадолго. «Володя, подожди здесь, я скоро!» – это последнее, что услышал мой будущий отец от своего отца. В семью Ефим Неймарк не вернулся. Следствие велось долго, аж до 31 марта 1938 года. Зато приговор привели в исполнение быстро – 1 апреля!

Кто-то из бывших сослуживцев Ефима отвел папу домой. Там уже вовсю шел обыск. Сару арестовали через день, 29 октября. Она получила восемь лет как «член семьи изменника родины». Потом приходили письма из Карлага (Караганда), и Севвостоклага, что в Магадане. 16 декабря 1940 года мою бабушку сбила машина – прямо на зоне. Была ли это случайная авария или убийство, остается только гадать. Потом, уже после войны, приходила женщина, которая сидела с ней, и рассказывала, что был это наезд.

Ходили слухи, что причиной тому был кто-то из своих, может даже Павел Неймарк, брат Ефима. Родные самой Сары отказались от нее раньше чем был вынесен приговор. Что вроде бы он, Павел, писал какие-то письма (Сталину?), и ее поэтому убрали. Вряд ли. Убивать всех, за кого писали письма – так пришлось бы ГУЛАГ закрывать! Еще говорили, что будто бы Сара сама передала с кем-то письмо с описанием того, что творится в лагере, а уже потом это письмо пытались переслать в соответствующие инстанции – может, тому же Сталину, чтоб «открыть глаза», и уже как реакция на это ее убили. Может, именно это письмо Павел и пытался передать.

Сегодня уже не узнать, как же все было на самом деле. Вообще же, когда я смотрю на фотографии Сары и Ефима, то не перестаю удивляться несоответствию внешности и поведения. У Ефима такое значи-

тельное, умное лицо, твердый взгляд темных глубоких глаз под густыми бровями. Одет почти шегольски: тройка, галстук под накрахмаленным воротничком. Молодой профессор какого-нибудь Кембриджа, да и только. А Сара – такая женственная, с немного смазанными чертами лица. Светлые близорукие и беззащитные глаза, пухлые щеки, нежный детский рот, скромно убранные волосы – прямо курсистка, а не главврач. А вот поди ж ты: Ефим все подписал на себя, во всем «признался», что и троцкистом он был, и в Рыковскую группу входил, и шпионил в пользу Японии, и даже готовил бактериологическую войну! В то время как Сара прошла через все с непоколебимой твердостью: ничего не подписала, да еще и пыталась доказать невиновность мужа.

В деле ее сохранилась записка, где бабушка в сотый раз объясняет *товарищам*, что Ефим, хоть и принимал в своем доме Рыкова и других прикидывающихся честными партийцами врагов, но сам был чист перед партией и совестью, т.к. ни о чем не мог догадываться. Записка датирована 23 апреля 1938 года, через двадцать два дня после расстрела Ефима.

Существует две версии того, как мой осиротевший папа попал в Москву. По одной, героической, он сам сбежал из детдома, скитался с беспризорниками и так добрался до Москвы к отцовскому брату Павлу Неймарку, который жил в столице с женой Дуней и тремя сыновьями. Позднее Дуня вызвала из Белоруссии свою свекровь Мину, а потом даже умудрилась выбить им комнату в коммуналке в деревянном доме в Уланском переулке. Я еще эту Воронью слободку помню.

Во втором, более реалистичном варианте, в момент арестов сына и невестки Мина находилась в Благовещенске и приехала с папой в Москву к своему младшему сыну Павлу. Так или иначе, папа и Мина оказались вдвоем в Москве. Папе было тогда двенадцать лет. Мине – за шестьдесят.

ПАПА

Как они жили, мой отец и прабабка, на что? Получала ли Мина пенсию? Вряд ли. Может, Павел Неймарк помогал, пока его не посадили в 41-м? А потом, с 41-го, когда папа начал учиться в техникуме, можно было жить на стипендию? А может быть, Мина работала? Не знаю. Как они выжили, остается загадкой, но факт – выжили! Папа закончил восемь классов. Пошел в техникум. Потом в институт. С тех лет сохранились одна – две фотографии.

И только начиная с 45 года, появляются какие-то документы, рассказы, что-то поддающееся восстановлению. Например – листок бумаги, где папиной рукой записана его военная биография.

В 43-м папа после техникума поступает в МЭМИИТ – Электромеханический институт инженеров транспорта, где и проучился до середины второго курса, до достижения призывного возраста. В 44-м он ушел на фронт добровольцем, попал на Украинский фронт в арtdивизион.

Помню, как в раннем своем пионерско-следопытском детстве я все допытывалась у папы: сколько фашистов он убил, ранил и взял в плен живьем? Папа в характерной своей слабочленораздельной мане-

ре бубнил что-то про бронепоезд, плохую из него видимость и память, которая позволила ему пройти медкомиссию, но зрения, увы, не прибавила. Но и эти скудные сведения позволяли мне живо представить себе папу, строчащего из пулемета, раскаленный хобот которого дрожит в узкой бойнице бронированного вагона. Поезд ездит себе взад-вперед по передовой линии, на которую набегают атакующие цепи немецко-фашистских гадов, – набегают и падают, как подкошенные, срубленные папиной точной пулеметной очередью.

После демобилизации папа вернулся в Москву, начал учиться в МЭИ. Когда родилась Маринка, моя старшая сестра, родители еще были студентами. Жили на Уланском, бегали на Кутузовку к бабушке пообедать, ребенка подбросить. Потом папа работал, а мама училась – пока в 49-м папе не припомнили репрессированных родителей и не выслали из Москвы вместе с женой-студенткой и грудную дочерью. Путь-дорога лежала на Сахалин.

На счастье, снова пришли на помощь сибирские родственники. Как некогда спасали они в эвакуации бабушку Сару с грудным Володькой, так и теперь ждали маму с Маринкой на перронах Челябинска, Новосибирска и Читы с кастрюльками бульона, пеленками и молоком для Мариночки. Там-то, на Сахалине, я и появилась на свет.

САХАЛИН

Сахалинский магазин разнообразием ассортимента не радовал, но папу это ничуть не смущало. По его словам, он и в Москве питался не лучше. Зато одолевали тараканы. На ночь мама ставила вокруг Мариночкиной кровати банки с водой, чтобы тараканы, падая в них с потолка, не ползли дальше. Впрочем, мама не позволяла подобным мелочам повлиять на свое настроение. Вот чего она совершенно не выносила, так это психологического дискомфорта, напряженной, недружелюбной, давящей обстановки. Такой была редкая мамина особенность: ее постоянно окружали разные, своеобразные и порой странные, но всегда хорошие люди.

На каком-то этапе мама начала учиться в Южно-Сахалинском Педагогическом Институте на факультете русского языка и литературы. Закончив институт, работала в школах, под конец даже директорствовала. Начиная с года 59-го появляются у меня какие-то собственные обрывочные воспоминания, как фотографии. Вот едем мы на собаках «вытаскивать папу с работы». Ночь. Искрится снег, летит мне в лицо из-под задних лап лаек. Я сижу впереди на санках, закутанная в пуховый платок, и платок индевет вокруг рта и носа. Наверное, это самое раннее воспоминание.

Следующая картинка: я бегу по коридору из одной жилой комнаты в другую, по дороге останавливаюсь у огромного ящика, сколоченного из белых досок. Запускаю руки в щекочущие белые опилки и нащупываю там что-то круглое и прохладное. Это яблоко. Оно зеленое, покрыто воском и в гофрированное бумажке! Даже помню его вкус – оно было сочным, с кислинкой, но воск и гофрированная юбочка обещали большее!

Наш сахалинский период был прекрасен, прежде всего, тем, что родители были там счастливы, как не будут счастливы позже. Думаю, именно там они заложили во мне и Маринке ту уверенность, которую потом ничто не смогло поколебать: мы родились в рубашке. Мы самые счастливые, потому что ни у кого больше нет и не может быть таких замечательных родителей.

В принципе, мне уже хотелось бы здесь и закончить. Хотя, конечно, для меня все только еще начиналось. Впереди была наша московская жизнь на Хорошевке, потом на Щелковской. Были мамина библиотека в Сокольниках, папина диссертация, которую он написал, да и отдал приятелю, потому что тема перестала его интересовать. Были трагическая смерть маминого брата Володьки, от которой бабушка, вопреки всем ожиданиям, оправилась, а мама, опять же, вопреки всем ожиданиям, нет. Были мамина операция и инсульт, после которого маму парализовало – инсульт, убивший прежнюю маму и вернувший нам Верочку-Бэбчика.

Была вторая послеинсультная мамина жизнь, в конце которой, умирая, она скажет: «Девки! Не носить по мне траур, я уже давным-давно умерла», и я буду поражена в самое сердце, потому что все эти годы свято верила, что мама совершенно не тяготится своей неполноценностью – так она была светла и легка.

Была еще папина «вторая семья» и его неоперабельный рак, на котором, собственно, и кончилось мое детство. Потому как именно тогда впервые в моей жизни окажется, что ничего сделать нельзя, что никакие дядя, братья, друзья не в состоянии помочь ничем – даже ему, Самому Неймарку. Были замужества – мое и Маринкино, бабушкина смерть, рождение детей, отъезд в Израиль. Были хорошие начала и грустные концы, радости и болезни, похороны и свадьбы.

Наверное, о чем-то надо еще написать, о чем-то – не обязательно. Может, еще когда-нибудь напишется? Но главное, главное я все-таки успела. Мне было важно передать то замечательное ощущение, которое не покидает меня до сих пор: мы родились и росли в необыкновенной семье. Дом наш был островом, радостным и защищенным от внешнего, не всегда доброго и справедливого мира. Это чувство наполняло меня такой силой и уверенностью, что все, что случалось «на материке», казалось преходящим и незначительным.

Я ощущала себя Избранным народом именно по принадлежности к миру Неймарков-Гринбергов-Элькиных. И если я до сих пор горжусь своим происхождением, то к еврейству это имеет самое опосредованное отношение. Сегодня я – последняя представительница Моего Избранного Народа. Дело даже не в том, что я – последняя Неймарк из *наших* Неймарков. Просто я очень надеюсь, что молодое наше поколение, хоть и носит другие фамилии и не всегда помнит корни свои, все же хранит в себе Сарину красоту и самоотверженность, нигилизм и остроту ума Самсона, свет Верочки-Бэбчика, порядочность, силу и глубину Неймарка...

А иначе – зачем я все это пишу?

Москва – Бэзр-Шева, 2002

Дина Рубина

РЕНАТА

Не могу простить себе, что так и не уговорила ее записать блистательные устные рассказы, случаи и сценки, как бы «вдруг» пришедшие на память в разговоре, но абсолютно, филигранно отделанные, до мельчайших деталей и примечаний.

Сейчас говорю себе: в конце концов, надо было их украсть, записать самой и напечатать. Хотя, конечно, без ее неподражаемой интонации, мягкого «украинского» придыхания, без этих эмоциональных взлетов ее взрывной и одновременно певучей речи многое пропадает.

Сколько их пропало, летучих шедевров неопишуемой, искрящейся Ренаты Мухи!

Под конец, когда я уже ясно понимала (хотя и надеялась, надеялась – ведь она так отважно сражалась с болезнью!) – понимала, что развязка не за горами, я стала записывать наши телефонные разговоры. Голос ее слабел, но ирония, словесная меткость, образность речи нисколько не потускнели.

Среди прочих историй есть такая, бегло и рвано записанная мною на счете за электричество, история про то, как она победила болезнь в первый раз, много лет назад, хотя американские врачи давали ей сначала три недели жизни, потом – три месяца... («При этом они все время улыбались, Дина!»).

Когда после операции она очнулась от наркоза, над ней стоял улыбающийся профессор. Он сказал:

– Рената, у меня для вас отличные новости. Я думаю, что у вас впереди несколько хороших лет.

– Есть ли у вас вопросы? – спросил он.

– Есть, – сказала Рената. – Один. Филологический. У нас в институте однажды на семинаре возник спор, как следует понимать знаменитое английское «несколько»: один-два? два-три? Или все-таки семь-восемь?

– Знаете, – помедлив, произнес профессор, – я в этом бизнесе сорок лет, и чудес пока не встречал. На вашем месте я бы считал, что «несколько» – это два-три, и не строил иллюзорных надежд, что это семь-восемь... Мой вам совет: не начинайте ничего нового, завершите все для вас важное, и совершите то, что всю жизнь хотели сделать, но откладывали на потом.

Повернулся и вышел.

И затем последовали долгие недели мучительного лечения, в течение которых – отлично представляю это, зная Ренату! – она поко-

рила, завоевала своим неисчерпаемым обаянием весь медицинский персонал.

Когда выписывалась, явилась на прием к своему профессору, который должен был дать ей последние наставления.

– Рената! – сказал он на прощание. – Я благодарю вас за ваши усилия по очеловечиванию американской медицины.

И когда она уже взялась за ручку двери, он окликнул ее.

– Рената! Вы помните, что я сказал вам по поводу этих «несколько»? Так вот, повторяю: я сорок лет в своем бизнесе, и с чудесами не сталкивался ни разу. Но если все-таки когда-нибудь такое чудо произойдет, оно произойдет с вами...

И чудо произошло, и Рената много лет после той операции жила полноценной яркой творческой жизнью, написала много замечательных стихов, объездила много стран, преподавала, выступала, дарила любовью и дружбой множество людей: совершала немислимые усилия по очеловечиванию мира.

И когда, несколько лет назад, болезнь возникла снова, у Ренаты уже был опыт борьбы, успешной борьбы. Возможно, именно поэтому она не сдавалась так долго.

Иногда казалось, что она наблюдает со стороны за своей собственной борьбой за жизнь.

В одной из телефонных бесед:

– Вот эта болезнь, которой я болею, она очень добросовестная. Сначала у человека выпадают волосы, потом всякие другие приспособления для нормального существования... и если вы думаете, что человеку не нужны ногти...

По настоянию младшего сына Алеши они поехали в Америку – за «вторым мнением».

Беседуем с Ренатой после возвращения:

– Ну что ж, мы убедились, что израильские врачи ни разу не оказались отставшими. Меня послали на генетический анализ – это там сейчас модно. Кроме того, подвергли строжайшему допросу на предмет того – умер ли кто в семье от рака. А у меня, надо вам сказать, Дина, буквально все со всех сторон умирали от рака. И вот сидит американская врачиха, профессиональная улыбка до ушей, задает вопросы:

– От чего умерла ваша мать?

– От рака.

– Какой она была расы?

– Еврейской.

– От чего умер ваш отец?

– От рака.

Далее следовали вопросы о племянниках, сестрах, братьях, которые все исправно помирали от рака. А врачиха все держала на лице широкую улыбку.

– От чего умер ваш дед со стороны отца?

– От бандитской пули, – отвечаю я, радуясь разнообразию.

Врачиха вытаращивает глаза. Но улыбка приклеена.

- Почему?
- Время было такое, – говорю я. – Была революция.
- А от чего умер ваш дед со стороны матери?
- От бандитской нагайки.

Я смотрю, что врачиха хотела бы драпануть отсюда как можно дальше. Но улыбка на месте.

- То есть как? – спрашивает. – Почему?
- Время было такое. Революция.

И тогда она делает паузу и осторожно осведомляется:

- А зачем они все этим занимались...?

И Рената переживает мой смех, и говорит спокойно:

– А что делать? Я бы всех их с удовольствием похоронила от рака...

Перебирая эти беглые записочки на случайных конвертах, счетах, четвертушках бумаг, я натываюсь на какие-то записанные мною фразы из разговоров, вроде этой, часто произносимой старой нянькой Ренаты: «Нэ робы, як ты робыш, и нэ будь такою, як ты е!», – и не помню уже, не помню – по какому случаю их записала. Не могла же я сказать ей: – «Рената, помедленней, пожалуйста, я записываю!». А может быть, так и было нужно?

Есть и целые рассказанные ею эпизоды, вроде истории с их другом, врачом из Германии, которого однажды немецкая полиция подвергла интересному наказанию: «Понимаете, Дина, вообще-то он врач, и к тому же святой человек. Это трудно совместить, но у него получается... Так вот, на днях он ехал домой и смеялся, вспомнил за рулем что-то смешное. Оказывается, этого в Германии нельзя. Его остановил дорожный патруль, его сфотографировали, и фотографию повесили на такую доску – она есть в каждом районе, как у нас раньше, помните: «Они позорят наш район!». В Германии обычно на таких вывешивают фотографии проституток»...

Успела записать еще один эпизод: про то, как в молодости на телевидении в Харькове Рената участвовала в программе по изучению английского языка. Играла в «разговорных» сценах то официантку по имени Наташа («была очень убедительна, что вы думаете!»), то еще какую-нибудь четко говорящую по-английски куклу.

– И вдруг директора программ, редактора, главного редактора и режиссера передачи, а также меня, вызывают в Обком. Не Рай! И не Гор, Дина! А Об-ком. Харьков большой город... «Получили анонимный сигнал о вашей передаче», – говорит Дурасиков. Был такой инструктор. Любил мальчиков, что никому не возбраняется, но одного утопил в бассейне, что уже хуже... Однако все это выяснилось позже, а в тот момент он высадил нас всех по ранжиру и говорит, мол, получили письмо от трудящихся, в котором такая фраза: «И вот эта Наташа с ее глупыми глазами, у нее такой вид, как будто хочет сказать – ой, как я сама себе нравлюсь!».

Рената делает паузу...

– И все эти милые люди, Дина, – продолжает она мягким и даже меланхоличным тоном, – и директор программ, и редактор, и режиссер передачи... вдруг обосрались. Они перестали на меня смотреть. Инструктор Дурасиков их спрашивает: «У нее глупые глаза?»

Я поднялась и сказала: «Нет. Умные».

И все эти кролики замерли и затряслись. Дурасиков помолчал, прокашлялся, выпил воды из стакана и сказал: «Тогда ладно...»

Есть у Ренаты и обо мне два устных рассказа.

Один – про то, как мы познакомились «вживую». Она живет в Беэр-Шеве, я – под Иерусалимом. В переводе на российские пространства это все равно, что Севастополь и Екатеринбург. Но однажды меня пригласили выступить в Беэр-Шеве. Я и поехала с намерением непременно побывать у Ренаты Мухи.

Так вот, это убийственно точный по интонации, хотя и придуманный от начала до конца устный рассказ. С выкриками, вздохами, жестами, комментариями в сторону. Буквально все это я передать не могу, могу только бледно пересказать:

Итак, я впервые являюсь в дом, в «знаменитой» широкополой шляпе, с коробкой конфет и подвявшим букетом цветов, которые мне подарили на выступлении.

И вот, «папа Вадик» (муж Ренаты – Вадим Ткаченко) расставляет стол, сын Митя что-то там сервирует... а Рената «делает разговор». Я при этом изображаюсь страшно культурной элегантной дамой, даже слегка чопорной. Кажется, даже в лайковых перчатках, которых сроду у меня не бывало.

Рената, которая волнуется и хочет «произвести на эту селедку впечатление», начинает рассказывать «про Гришку» (*есть у нее такой уж точно смешной рассказ*).

– И тут я вижу, что Динино лицо по мере повествования вытягивается, каменеет и теряет всяческое выражение улыбки. Я продолжаю... Рассказ к концу все смешнее и смешнее... Трагизм в глазах гостыи возрастает. Что такое, думаю я в панике, ведь точно смешно! Заканчиваю... И вы, Дина, замороженным голосом, сквозь зубы говорите: «Рената, какая же вы блядь!» – Ничего для первого раза, да? А?! (*Ее любимый выкрик: «А?!»*)

– И когда я так осторожно говорю, что в моем возрасте это, пожалуй, уже комплимент... и интересуюсь, чем, так сказать, заработала столь лестное...

Дина сурово обрывает:

– Вы хотите сказать, что этот рассказ у вас не записан?

Я отвечаю:

И этот, и все остальные.

Дина с каменным лицом:

– Конечно, блядь!

Самое смешное, что этот рассказ основан на моем действительном возмущении: каждый раз я – письменный раб, пленник кириллицы, –

услышав очередной виртуозно детализированный, оркестрованный колоссальным голосовым диапазоном устный рассказ Ренаты Мухи, принималась ругать ее:

– И это не записано?!

Второй рассказ, – про то, когда я приезжаю в следующий раз, – еще более пикантный.

Как Рената открывает мне дверь, и я спрашиваю с разгоряченным лицом:

– Рената, почему у вашего соседа яйца справа?

Якобы я ошиблась дверью, мне открыл сосед на нижней площадке, и он был в трусах. И что в этом вопросе якобы никакого криминала нет. Оказывается, все английские портные-брючники, снимая размеры, непременно спрашивают клиентов: сэр, вы носите яйца справа или слева?...

...И вот, переночевав у Ренаты, наутро я уйду, цветы оставляю, конфеты забираю с собой...

В этом месте рассказа я всегда подозрительно спрашивала:

– Конфеты?! Забираю?! Как-то не верится. Это не про меня...

Рената сразу поправлялась:

– Или оставляете... Конфеты, впрочем, говно, – кажется, «Вечерний Киев»... За вами захлопывается дверь, и тут мы слышим страшный грохот! Поскольку вы явились в каких-то умопомрачительных туфлях на гигантских каблуках, то вы и грохнулись как раз под дверь соседа с яйцами. И правильно! Нечего заглядывать, куда вас не приглашают!

У меня почему-то нет ощущения, что Рената исчезла из моей жизни. Так бывает после ухода больших артистов, писателей, поэтов: эманация заполнения пространства личностью такова, что очень долго остается впечатление абсолютного их присутствия здесь и сейчас. Ловлю себя на импульсивном желании позвонить ей и рассказать о недавней поездке в Польшу, о том, что по-польски «еврейская писательница» звучит как «жидовска писарка». Спыхватываюсь, что позвонить не получится... и все-таки по инерции представляю себе комментарии Ренаты: ее жестикуляцию, ее руки, что взлетают и как бы охватывают в воздухе арбуз; ее голос с неподражаемыми интонациями, который звучит во мне, все звучит и звучит, не замирая...

Татьяна Никитина

ДУШОЮ К МИРУ

Сколько ей было лет? Оказывается, мы и не думали об этом, хотя поздравляли ее 31 января много лет подряд. Она была для нас вне возраста, это было просто явление жизни, с которым нам посчастливилось сблизиться. Но бывают же в жизни у каждого удачи, вот она и выпала нам тоже!

Поэт, доктор филологических наук, педагог – автор многих книг, в молодости первая красавица Харькова, прелесть и умница, веселая, неунывающая Реночка Муха. Она по праву была звездой города в те времена, когда Харьков был одной из духовных и интеллектуальных столиц страны. Многочисленные таланты Ренаты трудно перечислить. Но они не помешали ей сохранять женственность, обаяние и изысканную простоту всю ее жизнь. Гордое имя Рената и смешная короткая фамилия Муха, как ни странно, ей пригодились, хотя в детстве она страдала от такого несоответствия. Она стала детским писателем для «бывших детей и будущих взрослых». Свои безукоризненные поэтические строки Рена начала писать довольно поздно и долго не решалась назвать их стихами. Спасибо мужу – Вадиму Ткаченко, который спасал написанное, заставлял публиковать то, что ей казалось несовершенным, а потом отмечалось и Борисом Заходером, и Борисом Чичибабиным, и Евгением Евтушенко...

Кроме одаренности, глубокого понимания литературы, блестящего знания английского, Рената была совершенно уникальным человеком. Интерес к жизни, любовь к сыновьям, мужу, друзьям, щедрость заполняли ее и давали силы забывать о своей беде. Она всей душой была устремлена к миру. Ее юмор преображал трагическую повседневность, не позволял погрузиться в тоску.

Реночка обладала повышенной реакцией на человеческую недоброкачественность. Ей трудно было жить с обнаженными нервами – на все и всех бурная реакция, ничто не ускользало от внимания, – но так можно было скрывать свои страдания.

Как нам будет не хватать этого звонкого голоса, этой веселой изобретательности, этого неожиданного юмора и мягкой самоиронии! Кто еще будет так любовно и пристрастно разбирать наши песни? От того, что Реночка была необыкновенно эмоциональным и глубоко образованным человеком, ее оценки песен и стихов были очень важными и нужными. Не так много людей на свете, чье мнение может влиять на творчество. Но Рената обладала даром такого сострадания и сопереживания, что проживала каждый концерт вместе с нами от первой до последней песни. Мы каждый раз ждали встречи с ней, чтобы показать что-то новое.

Кажется, лишь вчера мы сидели на кухне в их замечательной новой квартире в Беэр-Шеве, наполненной светом и воздухом, только вчера звучал ее голос, а Вадик тихо и ласково глядел на нее...

Аркадий Коган

ЧЕЛОВЕК ТОНАЛЬНОСТИ СОЛЬ-МАЖОР

Стремительно уходят люди... Пронзительно кричат года... Кричат о тех, кто есть мир, чье бытие неповторимо и чей уход невозполним.

Впервые довелось услышать ее выступление еще в ту пору, когда я был студентом мехмата ХГУ, а она – доцентом Иняза. Уже тогда она очаровала меня своим волшебным даром рассказчика. Это было страшно и завораживающе. Именно так: страшно и завораживающе. Она владела аудиторией абсолютно. Ее голос гипнотизировал. Стоило ей захотеть, и все в зале замирали, сопереживая героям ее рассказа, стоило захотеть, и на лицах играли улыбки. Она умела говорить перед большой аудиторией. Мне тогда она казалась существом небесным, которое столь далеко не только от меня, но и вообще от существ, питающихся чем-либо кроме амброзии и нектара.

Через много лет я оказался в Безр-Шеве. Начал преподавать в одном из учебных заведений. Каково же было мое удивление, когда выяснилось, что там же преподает Рената Муха! Более того, оказалось, что мы живем рядом – наши дома расположены в соседних кварталах. Пользуясь случаем, я подрядился к Ренате шофером – после работы подвозил ее домой. Это была самая высокооплачиваемая работа в моей жизни – всю дорогу Рената рассказывала, рассказывала, рассказывала... Надо ли говорить, что я в этот период своей шоферской службы никогда не превышал дозволенной скорости, ни разу не проехал не то что на красный – даже на желтый, а пешеходов пропускал просто к вящему их изумлению. Иногда мне особенно везло – мы попадали в дождь, а потому Рената продолжала рассказ, даже когда я останавливался возле ее подъезда.

Много раз видел, как слушают ее стихи дети и как слушают ее стихи взрослые. И странное дело: дети будто выросли на глазах, а взрослые – возвращались в детство. Для ребенка осознание, что слово обладает сразу несколькими смыслами, что словом можно играть, что оно может быть и вкусным, и нежным, и дрожать, как осенний лист, и быть холодным, как льдинка, и.. и... для ребенка – это потрясение, это открытие Вселенной. Взрослые же неожиданно для себя видят в строчках вроде бы безобидного детского стишка глубокий, иногда совсем не детский смысл.

Но все же мне представляется, что как рассказчик она еще более талантлива. Хотя очень обидно, что в этом качестве ее знают меньше. Много раз издатели предлагали ей записать ее рассказы. И она очень хотела этого, но каждый раз натыкалась на собственную требовательность. Уж кто-кто, а Рената понимала всю сложность перенесения интонации, выражения лица, жеста рассказчика на лист бумаги. Надо сказать, что английским она владела не по-учительски, а в совершенстве, как родным. Я упоминаю об этом потому, что она явля-

ется обладателем уникального титула Победителя конкурса устного рассказа, который получила в Америке.

Рената писала трудно. Она была невероятно требовательна к каждому слову. Может быть, поэтому среди ее вещей нельзя найти ни одной слабой.

. Однако талантливость Ренаты проявлялась не только в поэзии, но и в «прозаической» составляющей жизни. Например, она отличалась особенным хлебосольством. Она любила – редкий по нынешним временам талант! – готовить и, что встречается еще реже, умела это делать. А если учесть, что кроме соусов, обед был обязательно приправлен изысками ее остроумия – а это, согласитесь, вам не предложит ни один ресторан в мире, то *кормление* у Ренаты было действием необычным.

...Как-то она пригласила меня на обед и показала свою недавно вышедшую книжку «Недоговорки».

– Я вам дарю эту книжку, но не даю, – сказала она.

– !?

– Не могу же я вам ее дать, не подписав. Писать же банальности не хочется, так что ждите.

Что делать, я ждал.

Прошел примерно год, я снова оказался за столом в доме Ренаты. Когда все вкусности были съедены, Рената таинственно объявила:

– А теперь – десерт.

И она торжественно вручила мой экземпляр «Недоговорок», краткая надпись на котором была, по сути, историей наших отношений, от моего шоферства до ее кормлений: «Рулевому от Кормчего»...

Она запомнилась мне как солнечный человек. От нее исходила удивительно теплая, добрая энергия. Да, она была добрая, но не добренькая. Когда вопрос казался ей принципиальным, сам Громыко мог бы позавидовать ее «нет». А уж насколько тонко, почти всегда эмоционально, порой иронично – но никогда не грубо! – она умела сказать и о человеке, и о книге, и вообще обо всем, что происходило вокруг! Да, она была остра умом, а словом владела, как мало кто. После разговора с ней всегда оставалось дивное, удивительно светлое чувство. Я не могу вспомнить ни одной встречи с ней, которая бы прошла в миноре. Нет, конечно же, ее тональность – соль-мажор!

Она была необычайно мужественным и стойким человеком. Все четырнадцать лет, которые мне посчастливилось общаться с Ренатой, она тяжело болела. И никогда не показывала слабости. Она всегда говорила о своей болезни с иронией. Она умела бороться и делала это красиво. Она вообще была удивительно красивой женщиной и человеком.

Родятся еще, обязательно родятся на Земле интересные люди. Но они будут другие. Ренаты же уже не будет. Хотя.... Может быть в том, что новые люди станут интересными, сыграет роль то, что они прочтут стихи Ренаты Мухи. Например, эти:

*Потомки бывают умнее, чем предки,
Но случаи эти сравнительно редки.*

Наталья Рапопорт

«А МОЖЕТ БЫТЬ – ДВАЖДЫ...»*

Мягкий тёплый свет, который она излучала, согревал друзей и пронизывал её поэзию. В середине девяностых я стала свидетельницей её феноменального успеха как рассказчицы: на битком набитом стадионе в американском городке Прово Рената держала аудиторию минут двадцать байками на английском языке – никто не шелохнулся, разве что иногда стадион взрывался хохотом, пугая окрестных птиц. Это было на следующий день после знакомства, и я была на стадионе уже на правах особы, приближённой к императрице.

А состоялось наше знакомство примерно так. Телефонный звонок:

– Наташа? С вами говорит Рената Муха. У меня для вас письмо от Толи Вишневого и подарок от Серёжи Никитина. Как мне их вам передать?

– Рената, где вы?

– Я в Прово, на фестивале чтецов, это недалеко от вас.

– Сорок пять миль. Я сейчас подъеду, объясните только, как вас найти.

– Нет, подъезжать не надо, меня сейчас к вам привезут, у меня есть ваш адрес.

– Чудесно!

– Но тогда мне придётся у вас переночевать.

– Нет проблем!

– Недели две.

– Нет проблем!

– То есть как это нет проблем?! Проблемы у вас конечно будут, но только с обедом и ужином – за завтраком я ем сравнительно мало.

Так в наш дом и в наши сердца залетела Рената Муха.

После успеха на стадионе она была в Юте нарасхват. С утра приезжали какие-то молодые люди – Рената утверждала, что все как на подбор голубые, что для Юты, вообще говоря, не характерно, – и увозили её на очередное выступление или мастер-класс. Возвращалась Рената вечером, как говорится, усталая, но довольная. И тут наступал наш час – иногда до рассвета. Сказать, что мы беседовали, было бы преувеличением – беседовала в основном Рената, я слушала и наслаждалась.

Рената рассказывала о Вадиме Левине, о первых своих опытах в детской поэзии, которые он взращивал, как какую-нибудь орхидею, готовую каждую секунду увянуть. И как она гордилась и смущалась, когда на опубликованных стихах увидела две фамилии: Левин и Муха. Очень смешно рассказывала о первом визите к Борису Заходеру. Ещё – о Чичибабине и, что было мне особенно дорого, – о совсем молодом Даниэле, о Даниэле «тех» лет... Она улетала от нас к друзьям в Бостон. Накануне отъезда решила ей сказать: «Рената, что-то мне не нравится

* Журнальный вариант. Печатается с сокращениями.

твой живот. В Бостоне полно русских врачей. Может, тебя там посмотрит кто-нибудь за стишок-другой?» Рената проворчала, что до сих пор на её живот никто не жаловался. А через два дня мне по ее просьбе позвонили из Бостона, сказали, что она в больнице – отвезли на «скорой», оперировали... С этого момента у Ренаты была жизнь взаимы, и она-это знала – но ни в одной ее строчке вы этого не почувствуете.

Рената много говорила о природе стиха – её этот вопрос очень занимал. Рассказывала, что строчки набегают неизвестно откуда, как будто кто-то их диктует. И в самое неожиданное время... Включая ожидания в больничных коридорах.

Кстати, о больничных коридорах: когда распался Советский Союз и отношения России с Украиной осложнились, возникли большие трудности – граждан Украины в московских медучреждениях принимать перестали. Тогда Сергей Никитин дал в больнице благотворительный концерт, и Ренату взяли обратно в пациенты.

Поздней осенью 2001-го мы с моим мужем Володей оказались в Израиле – я приехала поработать в Иерусалимский университет. В один из первых моих выходных поехали в Беэр-Шеву. Рената зажарила огромную баранью ногу, мы почувствовали её аромат метров за пятьдесят – по-моему, он витал по всему городу. Когда мы вошли, Рената священнодействовала над ногой, освоить которую в тот вечер удалось разве что на треть общими усилиями. Нога прошагала в следующий день. Проснувшись утром, мы не застали дома папу Вадика – но вскоре он появился с огромным букетом цветов – этот декабрьский день оказался годовщиной их свадьбы! И потекли воспоминания о тех днях и годах. Коллеги папы Вадика – физики-математики – устроили из свадьбы настоящий театр: декорировали её как защиту диссертации. Диссертацией была, конечно, сама Рената. На диссертацию поступило несколько отзывов. Все они были положительными.

Забыв о проблемах и бедах, мы провели в Беэр-Шеве чудный день. На память, кроме видеоклипа, осталась Ренатина книжка с надписью: «На память о дне, когда все мы встали с «той» ноги»...

Каждый может найти в её стихах что-то, адресованное ему лично. Меня в совершенный восторг привели ее строчки о критиках:

*Как жаль, что в дубраве замолк соловей
И трели его не слышны средь ветвей.
– Ну, это как раз небольшая потеря, –
Заметила с ветки Глухая Тетеря.*

Последняя книжка, которую она мне прислала, называется «Однажды, а может быть – дважды». Я отправила ей в ответ:

*Бывает, что в масть попадает кликуха.
Примером тому – гениальная Муха,
В которой играет Божественный дух,
Однако – с усилием считает до двух.
Которую, как, без сомнения, каждый,
Мы любим однажды,
А может быть – дважды...*

Вадим Левин

МОЯ СЕСТРА, МОЯ СУДЬБА

*Кому – покой, кому – разбой,
кто славой жив, а кто – зарплатой,
а я-то – помни! – жив тобой –
моей сестрой, моей судьбой,
моим соавтором
Ренатой!*

31 января 2009 г.

В день рождения Реночки, не желая верить в то, что он станет её последним днём рождения, я по телефону из Марбурга читал ей эти стихи как заклинание. Она была измучена болезнью и лечением, совсем ослабла. Но до этого Рена столько раз возвращалась к жизни, когда врачи считали её положение безнадежным... Она справится и сейчас, нужно только помочь ей. А помогают Ренате новые замыслы, новые планы.

Незадолго до этого в Москве вышли две большие книги, в которых Мухины стихи соседствовали с моими и нашими общими. Одна из книг оказалась для нас совершенно неожиданным и очень приятным сюрпризом. Известный московский дирижёр-хормейстер, создатель знаменитого студенческого камерного хора «Гаудеамус», заслуженный деятель искусств России, профессор Владимир Леонидович Живов, прежде в сочинении музыки не замеченный, издал толстый, с красочными рисунками сборник своих детских песен «Уики-Вэки-Воки» на стихи двух авторов – Ренаты Мухи и мои. Сборник сразу вошёл в репертуар детских хоров, и композитор прислал нам с Ренатой подарок – видеозапись концерта из песен на наши стихи в озорном и азартном исполнении музыкальных московских малышей. Бывают в жизни чудеса, как справедливо подметила Муха.

Зато вторая книга, названная по строчке нашего общего с Реной стихотворения «Между нами», далась соавторам нелегко. Мы задумали сборник, куда должны были войти стихи, написанные совместно и порознь, и педагогический очерк «Между нами, взрослыми», часть которого – о своём «сказочном английском» – собиралась написать Муха. О том, как мы работали над рукописью, расскажу в конце этих кратких воспоминаний. Рукопись мы сдали в издательство вовремя, но болезнь не позволила Ренате уложиться в жёсткие сроки, и «сказочный английский» в «Между нами» не попал. Тогда мы решили, что позже вместе напишем книгу для родителей и педагогов о том, как стихи и сказки учат детей языку и языкам, и включим в новое издание методические заметки Ренаты. Договорились, что в октябре я приеду в Израиль, мы встретимся и поработаем над книгой.

Сейчас октябрь, и я в Израиле. Как договаривались. Но опоздал: мы пишем не вдвоём. Пишу один. О Рене. О нас. О том, что случилось почти полвека назад.

СЧАСТЛИВЫЕ КАЛОШИ

Нас познакомили стихи и калоши. Познакомили, а потом и подружили. И навсегда переплели наши судьбы – да так, что даже тень чёрной кошки не смела пробежать между нами. И ни разу не пробежала. И никогда не пробежит...

В первой половине 60-х в Харькове поэзией увлекались, кажется, все. Я руководил детской городской литературной студией, писал для детей, печатался в местных газетах и московских журналах и искал новых «детских» авторов. Однажды кто-то принёс мне забавные стихи об Осе, которые бродили по городу:

*Бывают в мире чудеса –
Ужа ужалила Оса.
Его ужалила в живот,
Он очень долго плакал.
Вот.*

*А доктор Ёж сказал Ужу:
«Я ничего не нахожу,
Но всё же, думается мне,
Вам лучше ползать на спине,
Пока живот не заживёт.
Таков конец рассказа.
Вот».*

Вскоре выяснилось, что автор стихов об Осе носит фамилию Муха и работает в университете на кафедре английской филологии преподавателем Ренатой Григорьевной. С третьей или четвертой попытки я застал Р. Г. на кафедре и попросил почитать другие стихи. И тут эта молодая симпатичная интеллигентная женщина повела себя странно: она наотрез отказалась читать что-либо своё. Отказалась под предлогом, будто кроме «Осы» ничего не написала.

Я попрощался. И вдруг вдогонку мне Рената произнесла:
– Ну, вот есть ещё две строчки, но они с ошибкой:

*Стояли в одном коридоре галоши –
правый дырявый, а левый хороший.*

К калошам – любимому блюду крокодилов – я был равнодушен с детства, с «Телефона» Корнея Чуковского. Помню, что ребёнком даже представлял себе, как бы я жевал их, если бы стал крокодилом – калоши настоящие, красивые, блестящие, как те, которые мама купила Лёше из песенки на стихи Агнии Барто. Наверно, поэтому калоши попали в моё первое лирическое стихотворение, сочинённое в студенческие годы:

*Апрель щебечет в синеве.
А под берёзой старой
Лежит калоша на траве –
забытая,
без пары.*

*И я один.
Вокруг весна,
и день такой хороший.
А где-то есть ещё одна
непарная калоша.*

У необычного преподавателя оказалась общая со мной привязанность! Так неисправные калоши оказались счастливыми: они остановили меня на пороге и не позволили уйти от будущего друга и соавтора.

В память об этом позже я написал Реночке посвящение (*В моей судьбе она за каждой датой...*)

А тогда я сказал Ренате Григорьевне, что попробую исправить погрешность в двустииши. И хотя это мне не удалось, но упорная «домашняя работа над ошибками» Ренаты, во-первых, помогла нам быстро перейти на «ты», а во-вторых, через какое-то время подсказала образ, возникший, явно, по созвучию со словом «калоши», – Глупую Лошадь:

*Лошадь купила четыре калоши –
пару хороших и пару поплоше.
Если денёк выдаётся погожий,
лошадь гуляет в калошах хороших.
Стоит просыпаться первой пороше –
лошадь выходит в калошах поплоше.
Если же лужи по улице сплошь,
лошадь гуляет совсем без калош.
Что же ты, лошадь, жалеешь калоши?
Разве здоровье тебе не дороже?*

После «Ужа» у Мухи появились «Проводы» (*Спокойной походкой идёт по перрону с большим чемоданом большая Ворона...*), «Одинокая Свинка» (*По длинной тропинке немытая Свинка бежит – совершенно одна...*) и весёлая скороговорка:

*У Осетра была сестра,
Она пила ситро с утра.*

Рената Муха сразу начала писать ярко, парадоксально и празднично. Но писала мало и редко превращала внезапно родившиеся строчки в завершённые стихи:

*Жил на свете муравей –
без ресниц и без бровей.*

– Здорово! – радовался я. – А дальше?

Но вместо «дальше» следовало новое двустиишие:

*Как-то штиц спросил у штица:
– На каком глазу ресница?*

– А что дальше?

– А дальше думай ты, – неизменно требовала Муха.

И я думал сам и предлагал думать своим студийцам. К тому времени в моём педагогическом арсенале уже была игра «Досочини стихотворение!» Обычно я давал детям первые две строчки неизвестного

им четверостишия и предлагал дописать стихи, соревнуясь с автором. Теперь в ход пошли «начала», сочинённые Ренатой:

*Стоит собака у столба
И утирает пот со лба.*

*Большая рыба Камбала
Моржу не по клыкам была.*

Муха стала частым гостем на занятиях младшей группы моей литературной студии, где получила, по её выражению, «базовое детское литературное образование». Выяснилось, что нам близки одни и те же поэты: Борис Заходер, Эмма Мошковская, Ирина Токмакова, Генрих Сапгир, Эльмира Котляр, Эдуард Успенский, Новелла Матвеева.

Позже некоторые из Мухиных двустиший мне удалось продолжить, но не в первые годы нашего знакомства. А писала тогда Рената очень мало. И заставить её дорабатывать начатое или сочинять новое было совершенно невозможно – сочинение стихов было для неё игрой, может даже женской прихотью. Но я-то относился к стихам серьёзно. Дописав какие-то стихи Рены и добавив к ним немногочисленные завершённые Мухины стихотворения, я предложил их вместе со своими издательству «Малыш» как совместную книгу. К сожалению, наша с Реной книжка так и не вышла, но стихи из этой подборки появились в московских журналах. Удачливей оказалась Нина Воронель. Именно благодаря её усилиям в 1968 году в «Малыше» вышла книга «Переполох» двух соавторов – Рены и самой Нины. Так имя «Рената Муха» впервые появилось на обложке книги.

ЛОШАДИНЫЕ ФАМИЛИИ

Стихотворение «Глупая лошадь» было опубликовано сначала под двумя именами – Ренаты Мухи и Вадима Левина. Узнав об этом, Рена расстроилась и категорически воспротивилась:

– Это бессовестный антиплагиат! Пожалуйста, убери с лошади мою фамилию и больше не зачисляй меня в соавторы, когда будешь упоминать в стихах калоши или слова, которые рифмуются с калошами!

Я выполнил просьбу Ренаты и признал себя единственным владельцем лошади. Но этим лошадиная история не кончилась. «В отместку», как называет это Рената в одной из своих историй, она сочинила стихи о Белой лошади и Чёрной лошади.

Позже, готовя к публикации в каком-то журнале подборку стихов Ренаты, я внёс в это стихотворение небольшую чисто редакторскую правку: изменил в первой строфе две строки, напустив в стихи туману и придав лошадям более меланхолический и романтический характер:

Но Реночка сочла эти микро-изменения достаточным поводом, чтобы «отомстить» мне и с тех пор во всех публикациях включала моё имя в число соавторов двух лошадей. И хотя я этот антиплагиат не признал, совесть мучила меня до тех пор, пока счастливые калоши не помогли мне расплатиться с Реночкой той же монетой. Я сочинил «Похвальную песенку о лошади без калош» и включил Муху в соавторы:

*Очень простое животное – лошадь:
с виду мила
и характер хороший.
Лошадь
за стол никогда не садится.
Лошадь
в постель никогда не ложится.
Ест она
стоя.
И спит она
стоя.
Лошадь –
животное очень простое.*

Так, под двумя именами, мы включили простую лошадь в нашу последнюю книгу «Между нами».

РАНЬШЕ ЧЕМ ДАВНО

«Это было давным-давно и даже немного раньше, в дни, когда всё на земле начиналось с самого начала и даже само начало начиналось сначала».

Вряд ли меня очаровал бы киплингowski «Краб, который играл морем», если бы не эта волшебная фраза, придуманная Ренатой для зачина сказки. Рена произнесла её – размеренно, таинственно и уютно, своим неповторимым голосом – в самом начале нашей дружбы и даже немного раньше, когда мы только познакомились, и нам ещё предстояло подружиться.

«Это было давным-давно и даже немного раньше...»

Этот сказочный зачин окончательно и навсегда открыл мне Ренату, потому что был он – как сама Рена, как лучшие её стихи-миниатюры и устные рассказы («storytelling») – завершённым произведением, с внезапными и весёлыми поворотами и естественной, безукоризненно точной и уникальной интонацией. Такого абсолютного поэтического слуха и совершенного чувства стиля в сочетании с жизнелюбием и самоиронией я не встречал больше ни у кого.

Сказки Киплинга мы знали по классической книге в переводах Корнея Чуковского. «Краба» в этой книге не было. Рена сделала подстрочник, и мы взялись за работу. А работа оказалась праздником. Этот праздник начинался каждый раз, когда мы встречались за письменным столом. Впрочем, «письменный стол» – это, конечно, метафора. Мы переводили Киплинга (а потом и сочиняли стихи) и в кабинете у Рены, и на её кухне, и в московских кафе, когда оказывались в столице одновременно, и даже в вагоне поезда. Но праздником это было не метафорически: каждого радовали находки соавтора. Как только мы встречались, у кого-нибудь из нас возникали ритмические строчки, другой подхватывал, и мы начинали сочинять. К обоюдному удовольствию. Так мы благополучно перевели «Краба» (он потом был опубликован в газете «Первое сентября») и однажды случайно сочинили вместе стихотворение (которое в отличие от «Краба» вообще осталось неопубликованным).

ТОЛЬКО ЭТО – МЕЖДУ НАМИ

Произошло это во время одного из наших «теоретических семинаров на двоих», которые в первые годы знакомства возникали у нас с Реной довольно часто. В тот раз мы решали, какие качества и Рена, и я более всего ценим в поэзии для детей. Выделили иронию, естественность интонации и «многослойность»: обращённость не только к детям, но и ко взрослым. И сразу обнаружили, что оба имеем в виду Заходера. Стали приводить друг другу примеры из «Мохнатой азбуки» и других книг почитаемого нами Мастера. Решили попробовать, а не можем ли и мы так. И тогда само собой возникло пародийное подражание о царе зверей, у которого *объявился брат – еврей*.

К тому времени я уже бывал в доме Бориса Владимировича, мечтал «показать» ему Ренату и в конце концов познакомил их. Но эту пародию мы решили не публиковать и скрыть от Заходера, чтобы нечаянно не обидеть любимого Мастера. Зато открыли для себя, что и стихи нам хорошо сочинять вместе. Этому не мешали ни полёты Мухи по Англиям и Америкам, ни её отъезд в Израиль. Теперь мы чаще перезванивались, чем встречались. И обычно после каждой встречи или телефонного разговора появлялись новые стихи – и у Рены, и у меня, и у нас вместе. Правда, иногда Рената надолго исчезала и месяцами не отвечала на письма. Даже когда я укорял её зарифмованно:

Опять я страдаю, опять мне непруха,

Опять я не знаю, где носится Муха.

Заели издатели: «Дайте нам Муху!!!»

Но только от Мухи ни слуху, ни духу.

Возникни, явись, пожужжи мне над ухом

с Твоим замечательным Вадиком Мухом!

Или:

Дни за днями летят, проплывают года.

Вы не пишете мне

Ничего

Никогда.

Нет ни строчки от Вас, нет ни слова, ни вздоха.

Мне без Вашего голоса грустно и плохо.

А услышал бы Вас, я бы крикнул: «Спасибо!!!!!»

Но чего от Вас ждать?! –

Вы не Муха,

А Рыба.

К написанным текстам Реночка обычно возвращалась неохотно, зато увлечённо редактировала Жизнь в своих блестящих «storytelling». Можно сказать, что у нас с Мухой было разделение редакторских функций: я правил наши стихи и сказки, а Рена – саму жизнь. Актриса не только на сцене, но и в педагогической аудитории, и в дружеской компании, и даже в общении с незнакомыми людьми, она всех: и себя, и мужа («Папу Вадика»), и друзей, и знакомых, и незнакомых, – превращала в персонажей своих неповторимых полуфантастических былей. Я тоже бывал персонажем её историй и в конце концов написал ей:

Вади́м Тка́ченко

ЭТО БЫЛО, И СЛУЧИЛОСЬ, И ПРОИЗОШЛО...

Во время своего первого визита в Париж после избрания президентом США Джон Кеннеди представился участникам одного из банкетов в его честь словами: «Я – муж Джеки».

Моя профессия чистая математика, и точно так же, как математики используют формулы, носящие имена Пифагора, Эйлера, Фурье и других знаменитых людей, я вполне законно могу, следуя «формуле Кеннеди», представиться: «Я – муж Ренаты Мухи».

В своей жизни я писал только математические работы, и мои отношения с художественной литературой предельно просты: я не писатель, я читатель. Поэтому меньше всего собираюсь анализировать написанное Реночкой, как я и многие наши друзья называли её всю жизнь. Моё намерение рассказать о её неопубликованных или малоизвестных стихах, немного о ней самой и ещё меньше о себе.

Впервые очень необычное имя Муха я услышал, когда мне не было и четырнадцати лет. В это время моя семья состояла из двух человек: меня самого и моего двоюродного брата по материнской линии Юрия Ильича Любича, сейчас – известного математика, а тогда – студента физмата Харьковского университета. Раньше нас было трое: мы с Юрой и его мама, а моя тётя Евгения Семёновна Любич, заменившая мне мою рано умершую маму Миру Семёновну Любич. В августе 1949 года, на очередной волне сталинских репрессий, нашу маму Геню арестовали, и Юра стал моим официальным опекуном. Ему в это время было восемнадцать лет, а мне неполных двенадцать. В первый раз Геня была репрессирована в конце 20-х годов, но после второго ареста она так и не вышла на свободу, умерев безвинной в тюрьме через год после ареста.

Мы с Юрой остались вдвоём в одиннадцатиметровой комнате коммунальной квартиры, в которой кроме нас было ещё четыре семьи. Тогда-то от его университетских друзей я иногда слышал: «Муха сказала...», «Муха пришла и...», «Муха пошутила...», но что, куда и как – я, конечно, не помню. Тем более я не знал, что учится она не на физмате, а на факультете иностранных языков.

Реночка в это время жила со своей мамой Александрой Соломоновой Шехтман, доцентом кафедры немецкой филологии, в одной комнате двухкомнатной коммуналки, куда их поселили в порядке, называвшемся «уплотнением», после возвращения из эвакуации. О том, что у Юры на попечении есть младший брат, на физмате было известно. Знала об этом и Реночка, но этим наше заочное знакомство ограничилось, без малейшего намёка на то, что мы – судьба друг друга.

О том, что Муха – это девичья фамилия Реночки, я узнал лет через десять, когда моя семилетняя племянница Женя, дочка Юры,

согласилась с предложением родителей серьёзно заняться изучением английского языка. За помощью он обратился к Реночке, которая, закончив учёбу в аспирантуре, работала лаборанткой на кафедре английской филологии, давала частные уроки и была хорошо известна в Харькове под именем «Наташа» и как одна из ведущих популярной передачи харьковского телевидения «Уроки английского языка». У неё была собственная жилплощадь, большое количество друзей и поклонников, но несмотря на все описанные обстоятельства, после смерти родителей её семья состояла только из неё самой.

От Юриного предложения заниматься с Женечкой английским языком Реночка отказалась. Намного позже, уже став её законной тётёй, Реночка объясняла, что она уже накопила достаточно большой опыт работы с детьми харьковских профессоров и академиков и расширять этот опыт, мягко говоря, не хотела. Вместо себя она предложила своего друга и коллегу по кафедре Ефима Исааковича Бейдера, у которого, очень кстати, оказалась дочка Инночка, Женина ровесница, и учёба девочек успешно началась.

В это время я, с одной стороны, был аспирантом, то есть почти вольным художником, с другой носил почётное имя Uncle Vadik, а с третьей сам увлекался чтением детективов на английском языке. Поэтому очень скоро и вполне естественно водить на уроки Женю было поручено мне.

Фима, теперь уже давно живущий в Нью-Йорке, был прекрасным преподавателем. Мало того, так он ещё, как и Реночка, одессит! У обоих в Одессе жили многочисленные родственники, и иногда Фима и Реночка оказывались там одновременно. В один из таких приездов они пошли на море. На пляже Реночка, оставшись в купальном костюме, скрутила на себе обе его части в тоненькие полоски и, прикрыв лицо шляпой, стала загорать. В какой-то момент рядом раздался голос милиционера, обращённый к Фиме: «Молодой человек, если ваша девушка не наденет приличный купальник, я вас оштрафую на двадцать пять рублей!» Фима немедленно: «О чём Вы говорите?! Да там не наберётся и на пять рублей!»

Фимины уроки были великолепны. Учил Фима детей методом, который называется прямым: на уроках он говорил только по-английски, как происходит с детьми, попавшими с момента рождения в англоязычную среду. Этот метод труден и для учителей, и для учеников, но Фима прекрасно умел объяснять детям премудрости чужого языка. Впрочем, иногда он применял русский язык, но в очень своеобразной форме:

*Жил был однажды в квартире со мной
Английский мальчик – an English boy.
И в той же квартире – in our flat –
Жил кот, по-английски он звался – a cat.*

Смесь обычных учебных заданий, песен, шуток, игр, импровизаций превращала Фимины уроки в праздник. Дети в такой обстановке очень быстро начали говорить по-английски, да и я, просто присутствуя на уроках, многому научился. Хотел бы добавить – за те же день-

ги, но не могу: семьи Бейдеров и Любичей так быстро подружились с самого начала их знакомства, что об оплате не могло быть и речи. Уроки постепенно стали переходить в вечерние чаепития, обсуждения последних новостей, воскресные выходы на природу, прогулки, дни рождения, туристские походы.

Мы встретились с Реночкой в Фимином доме, в котором оба чувствовали себя очень комфортно. Как рассказывала Реночка Женечке, однажды (а может быть, дважды?) в конце занятия она увидела очень серьёзного молодого человека в Шляпе (!), который пришел забирать свою племянницу. Среди тогдашних Реночкиных знакомых шляп никто не носил, и чем-то ей этот молодой человек в тот момент не понравился, но запомнился. Я действительно в те годы носил шляпу, но нашу первую встречу совершенно не помню. Точно помню, что с самого начала у нас установились хорошие приятельские отношения, ничуть не больше. При её внешней привлекательности, общительности, искромётном остроумии и умении рассказывать – не понимаю, как я оставался спокойным? Так ведь можно было и прошляпить Реночку!

Много позже, восстанавливая историю нашего знакомства и пытаюсь понять, говоря Реночкиными стихами, ситуацию, в которой –

*Мама – зебра, папа – лось.
Как им это удалось?*

– каждый из нас излагал свою точку зрения. Мне Реночка объясняла, что я был вне её возрастных интересов, попросту говоря – молодозелено. Моё объяснение было более прозаическим: я жил в общежитии, вначале студенческом, потом аспирантском, всегда с соседями по комнате и никогда при телевизоре, так что Реночкина слава телезвезды меня обошла стороной. Английским языком я увлёкся самостоятельно ещё в пятом классе, когда пытался, правда, безуспешно, прочитать в оригинале «Белую обезьяну» Голсуорси, а к концу института читал единственную доступную в СССР английскую газету «Daily Worker» и вообще «слишком много о себе представлял».

Но время шло, и во всём происходящем с нами и вокруг нас каждый открывал для себя что-то новое. Той же Женечке Реночка рассказывала, что на неё произвело впечатление не то старание, не то терпение, с которым я собирал байдарку перед началом похода.

Очень хорошо помню, как однажды вечером услышал у костра в том же походе полный таинства, завораживающий Реночкин голос: «Слушайте, слышите и запоминайте, потому что это было, и случилось, и произошло давным-давно, и даже ещё раньше, когда все домашние животные были дикими, лошадь была дикой, и корова была дикой, и собака была дикой-предикой. Но самой дикой из всех животных была кошка...».

Это был Киплинг. Вначале по-английски, а потом по-русски в её собственном переводе. «Just so stories».

Просто сказки. Но устоять было невозможно. Да я и не старался.

Реночка была поэтом, и поэтом необычным. По-настоящему мы знали друг друга немногим меньше пятидесяти лет, и из них сорок три года мы были одним целым, даже когда оказывались далеко друг

от друга. За все эти годы я не знаю случая, когда бы она написала стихотворение по заказу, на заданную тему. Она много раз признавалась, что сама не понимает, как у неё получаются стихи. Наверное, из-за того, что она очень любила жизнь, стихи сами приходили к ней вместе с воздухом, которым она дышала, вместе с утром, когда она просыпалась, или вечером, когда не могла заснуть, вместе с впечатлениями о самых разнообразных людях, окружавших её.

*А где продаётся такая кровать,
Чтоб рано ложиться и поздно вставать?*

Или о своих друзьях, увы, не молодеющих с годами, но довольно охотно узнающих себя в её строчках:

*Жил человек полнеющий,
А так вообще – вполне ещё.*

А вот впечатление после встречи с кем-то из факультетского начальства, которое совершило очередную пакость:

*Вчера Крокодил улыбнулся так злобно,
Что мне до сих пор за него неудобно.*

В одной из квартир, в которой мы жили в Безр-Шеве, прямо на наш маленький балкон свисали ветки высокого дерева. Реночка любила выходить утром на балкон и трогать листья руками, как бы здороваясь с ним. Может быть, тогда и пришло к ней стихотворение, до сих пор неопубликованное и так и оставшееся без названия:

*Деревья укоризненно
Качают головами
И Ветки шепчут Ветру:
Послушайте, что с Вами?
А им в ответ от Ветра:
Дубины стоеirosовы!
Пристали к человеку
С нелепыми вопросами!*

Мне эти стихи с самого начала казались законченными, но Реночка считала, что в них чего-то не хватает и только в конце жизни решила их опубликовать. Но не успела.

Более удачно получилось с другим её стихотворением

КОРАБЛИК

*Не знаю, откуда,
Не знаю, куда
Плывет-уплывает
По речке вода.
Вот если Кораблик
По речке плыву
И если его я
Потом отыщу,*

*То, может быть, он мне
Расскажет тогда,
Куда уплывает
По речке вода.*

Долго и безуспешно пытался я узнать, почему Реночка не хочет выпускать из рук такой хороший кораблик. Очень нехотя она отдала его в труднодоступную чикагскую газету «Ку-ку». И только когда я нажаловался захавшим к нам Тане и Серёже Никитиным на то, что она не хочет признавать его хорошим, и они приняли мою сторону, кораблик спокойно поплыл...

В той же газете были напечатаны и следующие стихотворения:

УТРЕННЯЯ ПРОГУЛКА

*Как-то вышли на порог
Простокваша и Творог.
Постояли на пороге,
Походили по дороге,
Побродили по двору,
Невзирая на жару,
О знакомых поболтали,
Обсудили все детали.
И не обошлось без спора:
Как сказать – Творог? Не Творог?
Но, споткнувшись о порог,
– Нам пора, сказал Творог.
– Разговор закончим завтра,
А сейчас нас ждут на завтрак.
Но друзья при этой мысли
Так расстроились,
Что скисли .*

БДИТЕЛЬНОСТЬ

*Ходят по городу
Разные Толки,
Что ходят по городу
Разные Волки.
Люди не верят,
И Звери не верят,
Но все-таки заперли
Окна и двери.*

По Реночкиным собственным рассказам, одними из первых к ней пришли стихотворные строки о калошах:

*Жили в одном коридоре Калоши,
Левый – дырявый, а правый – хороший.*

К её огорчению, быстро обнаружилось, что Калоши все-таки женского (а не мужского) рода, и их необходимо починить.

Принять участие в починке калош Реночка попросила Нелю Воронель, её подругу со школьных времён, Фиму Бейдера и Вадика Левина, с которым она, а потом и мы, были очень дружны. Все трое прекрасно вышли из положения. Стихотворение «Глупая Лошадь» Вадика Левина вместе с другими замечательными стихами вошло в его знаменитую книгу с тем же названием.

Гораздо позже на подаренном Реночке экземпляре «Глупой Лошади» Вадик написал:

*В моей судьбе она за каждой датой,
Мой верный друг, соавтор мой крылатый.
Сам не пойму, да как же я когда-то
Жил без калош, подаренных Ренатой?*

У самой Реночки из калош получилось стихотворение:

ПРО БЕЛУЮ ЛОШАДЬ И ПРО ЧЁРНУЮ ЛОШАДЬ

*Белая Лошадь с белым хвостом
И Чёрная Лошадь с чёрным хвостом
Вдвоём по поляне
Гуляли в тумане
И свежее сено нашли под кустом.
Белая Лошадь с белым хвостом
Сено доев, сообщила о том,
Что сено – как сено,
Хотя несомненно
Сено не может сравниться с овсом.
Чёрная Лошадь с чёрным хвостом
С ней согласилась, добавив притом,
Что сахар не хуже,
И слаще к тому же,
Но реже, чем сено, лежит под кустом.*

Её собственные лошади оказались совсем без калош, но зато Реночка, со свойственной ей широтой, взяла в это стихотворение соавторами вдохновивших её Нелю и Вадика.

По-моему, ещё до «Калош» Реночка сочинила и напечатала своего «Ужаленного Ужа». Говорю здесь и во многих других подобных местах с сомнением, так как обычно между первым знакомством с пришедшим стихотворением и его публикацией проходило много времени, иногда много лет.

Реночка имела много разнообразных интересов в жизни и не собиралась стать поэтом, во всяком случае, таким, у которого «ни дня без строчки». Поэтому к неожиданным, хотя и приятным пришельцам она относилась осторожно: «А туда ли вы попали, а не ошиблись ли вы адресом?» Подолгу к ним привыкала, переставляла с места на место, меняла, откладывала в сторону, возвращалась, чинила-исправляла, показывала друзьям. Те, конечно, не держали Реночкины стихи при себе, и они распространялись дальше. А вслед за ними уже стучался в дверь какой-то следующий, сразу готовый к публикации, и

в результате разобраться, в какой последовательности написаны её стихи, очень трудно.

У Бориса Слуцкого есть строчка: «широко известен в узких кругах...». Реночка любила повторять эти слова применительно к себе, особенно когда слышала похвалы своим стихам.

В действительности она стала известной и быстро, и широко. Это произошло, конечно, благодаря её стихам, её блестящему умению преподавать, рассказывать, шутить, импровизировать. Она стала особенно популярна на волне новаторства в школьном обучении, которое вырвалось наружу в 80-х годах из болота советского шкрабства благодаря «Учительской газете». Она побывала во многих городах Советского Союза, Англии, Германии и США с показательными уроками по разработанной ею методике преподавания иностранных языков, на которую всю работу сказки и стихи, в том числе и её собственные.

Здесь остановлюсь в своём безусловно необъективном описании нашей счастливой жизни и вспомню одно Реночкино четверостишие, которое рискует остаться неизвестным. Будучи автором Ужаленного Ужа и ещё непочиненных Калош, Реночка оказалась в редакции 16-й страницы «Литературной газеты» с готовым стихотворением

ОДИНОКАЯ СВИНКА

*По длинной тропинке
Немытая Свинка
Бежит совершенно одна.
Бежит и бежит она,
И вдруг неожиданно
У нее зачесалась спина.*

*Немытая Свинка
Свернула с тропинки
И к нам постучалась во двор,
И хрюкнула жалостно:
– Позвольте, пожалуйста,
О ваш почесаться забор.*

Выслушав и одобрив Свинку, оба присутствовавших сотрудника редакции спросили, нет ли у неё ещё чего-нибудь. Ответив утвердительно, Реночка прочитала :

*Раз у Льва – царя зверей
Появился зять-еврей.
Плохо дело у царя,
Откровенно говоря.*

Оба юмориста опять одобрили произведение, но принять его отказались со словами: «Не наш профиль». Рассказывая эту историю, Реночка всегда добавляла: «Профиль как раз был их. Наверное, потому и не взяли».

Большинство людей, услышав имя Ренаты Мухи, прежде всего вспоминают написанные ею строчки или рассказанные ею истории.

Гораздо меньше из них знают, каким светлым человеком она была. В отношениях с окружающими, будь то люди, животные или предметы, она прежде всего была доброжелательна, стараясь понять, что она сама чувствовала бы, находясь на чужом месте. Ведь неспроста у неё возник вопрос:

*Когда вам гадит Троглодит,
Ведь что-то им руководит?*

В ней никогда не было зависти к успехам других, мелочных расчётов (в духе: вы нам – пароходик, а мы вам – паровозик). Однажды, в самом начале их знакомства, будучи в гостях у Бориса Владимировича Заходера, она разразилась смехом, услышав его строчки:

*Никакого нет резона
На дому держать бизона,
Ибо это жвачное –
Грубое и мрачное.*

Борис Владимирович, по-видимому, заподозрив желание ему понравиться, спросил Реночку: «А чем это вы так восторгаетесь?» И услышал в ответ скорее всего неожиданное для него: «Я просто представила себе, как должен был обрадоваться человек, когда он придумал такие строчки». Б. В. немедленно нашёлся: «Галя! – закричал он жене, – скорей иди сюда и послушай, что она говорит! И налей ей ещё одну тарелку супа!»

У Реночки было совершенно необыкновенное, чтобы не сказать патологическое, чувство справедливости. Для того, чтобы она поверила в виновность человека, ей были нужны стопроцентные, неопровержимые доказательства. От неё я узнал, что во время судебного процесса над Даниэлем и Синявским некоторые её друзья, весьма авторитетные представители точных наук, с помощью хитроумных построений, сопоставлений и умозаключений «вычислили» осведомителя, который выдал обоих гэбистам. Они решительно потребовали от Реночки, возвращавшейся из Москвы в Харьков, немедленно по приезде домой обнародовать и заклеить имя доносчика. Аргументы обвинителей Реночке так же решительно показались неубедительными, давлению авторитетов она не поддавалась и оказалась абсолютно права. Большие умы об этом эпизоде, конечно, быстро забыли.

Реночка была истинно добрым, душевным человеком, но не добреньким и всепрошающим. С очень немногочисленными знакомыми, которые незаслуженно и серьёзно обидели её или её друзей, она умела расставаться навсегда, а случайным обидчикам умела давать отпор на месте. Вот один из таких случаев, происшедших во время её лечения в Онкологическом центре АМН в Москве, медицинском заведении, с которым было связано много надежд и много тяжкого в жизни лежавших в нём людей.

Дело шло к концу дня, принимавший врач устал от потока больных, прошедших через него, ожидавшие больные устали от мыслей о своей судьбе. Когда подошла её очередь, Реночка замешкалась на входе в кабинет, на что врач разразился тирадой, смысл которой сво-

дился к обычному совковому «Вас тут много, а я один!» В ответ она сказала: «Выслушав вас, доктор, можно подумать, что болеть раком легче, чем его лечить. Так это не так». Врач вначале опешил, потом буркнул стандартное «Извините» и получил вполне заслуженное: «Пока что не могу».

За свою жизнь Реночка перенесла столько болезней, побывала в таком количестве больниц, перенесла столько медицинских процедур и операций, имела дело с таким количеством врачей и лекарств, что могла бы стать источником для медицинской энциклопедии. Когда в прошлом году она попала на приём к ранее незнакомому, но опытному врачу и описала историю своих болезней, тот искренне ей не поверил: «Что вы мне тут сказки рассказываете! Такого не бывает!» Дорогой и уважаемый доктор! Бывает! Потому что это было, и случилось, и произошло... И при всём этом Реночка продолжала жить, работать, писать, много ездить, выступать, радоваться жизни и приносить радость другим людям.

Однажды мы сидели с ней в приёмной одной из безр-шевских клиник и о чём-то говорили между собой. Совершенно неожиданно оказавшаяся рядом незнакомая женщина спросила: «А вы не Рената Муха?» Выяснилось, что это была жительница Сдерота, которая слышала Реночкин голос по радио во время одного из её интервью. Город этот уже долгое время находился под регулярными ракетными обстрелами, так что обстановка в нём была прифронтовая. Мы сразу предложили провести безвозмездно Реночкино выступление в Сдероте, чтобы хоть чем-то помочь людям, лишённым нормальной жизни. Выступление вскоре состоялось. Во время нашей поездки никакого обстрела не было, особого героизма нам проявлять не понадобилось, но ключи от автомобиля я до сих пор ношу на брелке, подаренном мэрией Сдерота.

Вечером 11 сентября 2001 года в безр-шевском клубе «Яд лебаним» должно было состояться выступление приглашённых рассказчиков, среди которых была и Реночка. Днём мы увидели ужасную картину гибели зданий-близнецов в Нью-Йорке, а с ними многих сотен людей. Я был уверен, что после такого страшного события было не до развлечений и представление нужно отменить. Реночка была против: отменить – это признать своё поражение, показать чудовищу, что мы сломлены. Мы поехали в клуб и оказалось, что остальные участники вечера были того же мнения, что и она. Вечер состоялся.

Поразительно точно о Реночке написал сразу после её смерти Серрёжа Никитин: «Человеческая мощь Мухи настолько огромна, что ее хватило бы на десятерых. Остается устыдиться собственной слабости, суетности и постараться научиться у Реночки жить по-настоящему, а не вчерне».

Последние месяцы Реночкиной жизни были очень трудными. Она чувствовала, что силы покидают её, страдала от своей беспомощности, ей казалось, что она в тягость окружающим. Много раз, стараясь успокоить её, я повторял Реночке: «Каждый день, прожитый с тобой – это счастье».

Я вдвойне счастлив тем, что она слышала эти слова.

Рената Муха

*«ЧТО ТЫ ТУТ ДЕЛАЕШЬ?»**

Нам – Светлане и Александру Менделевым и мне – повезло выступить с Ренатой Мухой на одной сцене... Вел вечер Марк Камцан. От этого концерта осталась старая видеокассета, и я иногда пересматривал ее, а сейчас смог сесть и просто как можно более точно записать её слова. Представляя Ренату, ведущий зачитал, правда, не без труда, с нескольких попыток, название её диссертации: «Синхронические и диахронические процессы в становлении сложной синтаксической конструкции прямой речи и транскоммункативный характер ее предикативности».

Вит Гуткин

Это был первый раз, когда человек практически без ошибок произнес это название! Я стояла там за сценой и клялась себе, что меня ничто не заставит выйти после музыки, и спасибо Марику, что он несколько загасил эту музыкальность транскоммункативной предикативностью.

Я хочу вам рассказать, какую роль в моих литературных занятиях, или как говорят про себя живые люди, «творчестве» играет ...обувь. Дело в том, что когда я приехала в Израиль, то в течении лет шести не могла уйти от одной темы – потому что, когда меня приглашали, то естественно задавали один вопрос: «А как вы начали писать стихи?» или «Когда вы начали писать стихи?» Но тут я навестила отвечать: «Я начала писать стихи поздно, а закончила рано», что чистая правда, но потом это все неизменно выходило на первое придуманное мною стихотворение; хорошо, что оно было такое короткое:

*Жили в одном коридоре калоши,
Левый – дырявый, и правый – хороший.*

Я много раз рассказывала это по телевидению, по радио, живьем, в разных странах, и теперь уже научила почти всех, что в этом стихотворении, в двух строчках, я сделала одну ошибку. Когда я спросила: «Хорошее ли это стихотворение?», мне ответила моя подруга – преподаватель русского языка: «Будет хорошее, когда исправишь ошибку! Слово «калоша» – женского рода». И много лет я не могла, и даже не смогла исправить это стихотворение, это сделал за меня мой друг, Ефим Бейдер, который подарил мне на день рождения такое стихотворение:

* Запись вечера с Ренатой Мухой, который состоялся в Ашдоде 7 февраля 2004 года. Редакция сердечно благодарит Вита Гуткина за предоставленную запись.

*Жили в одном коридоре калоши,
левый – дырявый, а правый – хороший.
Им бы гулять по дождливой погоде,
если стояли бы в правильном роде.*

От этих калош совершенно было некуда деться, потому что я начинала это рассказывать, потому что начинать-то надо сначала, а к тому времени, как эта трагедия с калошами заканчивалась, – заканчивалось и время, отпущенное на это. И я дала себе великую и серьезную клятву – я больше про калоши рассказывать не буду!. Я, может быть, даже когда-нибудь это напишу, название у меня есть – «Неисправимые калоши», а теперь я буду рассказывать про что-то новое, тем более теперь, за последние годы, когда я пишу очень редко и очень мало, у меня все-таки собралось некоторое количество стихотворений. И я подумала – вот и начну новую тему. С чего же? Но тут произошло нечто, психологический сдвиг и поворот в моей жизни: у меня была довольно круглая дата, и, отпраздновав этот не очень радостный юбилей, мне стало все больше казаться, что то, что начато, надо заканчивать, а то, что не начато, не надо начинать, стихотворения надо дописывать, или то, что дописано, надо хотя бы опубликовать. Правда, у меня всегда до этого руки не доходили, и, наверное, под влиянием вот такого настроения я однажды подошла к шкафчику, где стояли туфли, начала выбирать какую-то пару, а их там скопилось довольно много, и вдруг у меня получилось стихотворение, которое открывало новый этап творчества (не про калоши):

*Все в комнате стихло, все лампы потухли,
Лишь ходят по кухне домашние туфли.
И шепчут в тоске, и вздыхают в обиде, –
Так что, мы на улицу так и не выйдем?
Стоим мы здесь месяцы, дни и недели,
И нас никогда никуда не надели.*

И так это было грустно, что у меня жизнь теперь идет под этим ощущением, я открываю шкаф, и платья просто кричат мне: «*Висим мы здесь месяцы, дни и недели, и нас никогда никуда не надели*». Достая черновики со стихами, и они говорят мне: «*Лежим мы здесь месяцы, дни и недели, нас никогда и нигде не опубликовали*», и я начала торопиться и решила, что в первое же следующее выступление, а оно было за месяц до этого, расскажу что-то новое. Поскольку у меня было приглашение в Тель-Авив, и была очень дождливая погода, я решила, что обязательно расскажу это стихотворение про туфли, вспомнила про туфли и решила, что надо будет взять с собой туфли, так меня предупредили еще в Америке: «Что угодно можешь забыть, но туфли должны быть на каблук!». Я взяла эти туфли на каблуке, сказала им: «Ну не плачьте, вот я вас сейчас надеваю», но были жуткие дожди, и поэтому я решила, что туфли пока положу в сумочку, а сама пошла в чем стояла, ну почти в комнатных тапочках. Мы пошли на вокзал, я имею в виду – мой сын и мой муж, мы все вместе ехали в Тель-Авив, а поскольку собиралась читать новые стихотворения, то положила в эту сумочку туфли и новые написанные стихотворения; положила все в

великолепную сумку и взяла ее. Тут подошел муж, который сказал: «Дай сумку!». «Я старый турист, – сказала я, – человек должен сам нести свой груз и сам за него отвечать», но он поступил грубо, он сказал: «Я не позволю тебе нести эту сумку», он вырвал ее у меня из рук, и мы приехали на вокзал. Приехали на вокзал, подождали поезда, зашли в вагон, уселись, и я сказала: «Ну, дайте мне мою сумку, начну готовиться к выступлению». Он успел сказать: «А где сумка?», я успела увидеть, как на платформе остается сине-красно-желтая сумка, и в ней туфли на высоких каблуках, которые жаловались, что их никогда куда не надели, и новый период творчества. Я вам уже сказала, что я старый турист и очень люблю владеть собой. Первое, что я сделала, – кинулась к дверям, а двери, первое, что сделали – закрылись, автоматически. Я начала владеть собой и получать удовольствие, потому что, честно вам скажу, больше всего я люблю, когда неправ оказывается мой муж! Который в большинстве случаев в нашей жизни оказывался прав. Поэтому я готова уплатить любую цену (правда, не такую, чтобы в комнатных тапочках выступить на концерте), чтобы он оказался неправ. И он оказался настолько неправ, что я ему об этом даже ничего не сказала. Муж побежал по поезду в направлении паровоза, не знаю, зачем... а я ему ничего не говорю, смотрю на него мягко и понимающе, он этого не видит, потому что смотрит в сторону, но за ним приходит какой-то человек и что-то у него спрашивает, он спрашивает: «Какого цвета сумка?». А у меня еще перед глазами эта платформа, на которой никого нет, и на длинной скамье – красно-желто-синяя сумка. И на этот вопрос мой муж, который волновался и еще немножко дальтоник, отвечает: «Сумка зеленая!» Но поскольку я привыкла, что он всегда прав, то раз сказал «зеленая», значит, так, наверное, надо. Этот человек позвонил по телефону; выяснилось, что он успел предупредить, чтобы не расстреляли мои туфли. Вы можете себе представить, они лежали-лежали, просили, чтобы их надели – и вот пожалуйста... Значит, полпроблемы было решено – туфли обещали не взрывать и не расстреливать, а стихи, что? Когда мы приехали в Тель-Авив, я вырвалась и побежала в первый же магазин обуви, но он меня догнал, он уже забыл, как был неправ, и сказал, что мы не успеем. И вот, когда я пришла туда, начала думать мучительно, где и как я буду стоять, или сидеть, и если каким-то чудом меня не загонят на сцену, то ничего не скажу про туфли, а если загонят, надо будет объясняться. И было все очень хорошо, потому что поставили стол; я считала, что не очень видны мои тапочки, и начала что-то рассказывать, и начался крик: «Нет, ее не слышно, пусть идет на сцену». И тогда я покаялась, рассказала людям, что произошло, и объяснила им про туфли. Но когда мы приехали, нам не отдали эти туфли, потому что приказ был «Не расстреливать туфли из зеленой сумки», а она была красная, желтая и немножко синяя... Вот такое было стихотворение, и такой красной нитью проходит тема обуви через мое, как сейчас про себя говорят живые люди, «творчество».

По поводу фамилии... В какой бы аудитории я ни выступала, если есть время на вопросы, знаю, что первый вопрос будет обязательно такой: «Скажите, почему у вас такой псевдоним?» И тогда я отвечаю

чистую правду: «Это не псевдоним, это моя девичья фамилия, от которой я с четвертого класса мечтала избавиться, потому что сочетание имени “Рената” и фамилии “Муха” меня в детстве уже доставало». Но особенно начало доставать, когда к нам в класс пришла учительница английского языка – Джульетта Спиридоновна. И я решила, что второй Джульеттой Спиридоновной я не буду. Моя мама сказала: «Пока я тебе ничем не могу помочь, подрастешь, найдешь мужа с подходящей фамилией». Поэтому я думала о том, чтобы найти мужа с подходящей фамилией – с четвертого класса; мне попадались подходящие фамилии, но они были не совсем подходящие мужья, или были подходящие мужья и подходящие фамилии, но я им не подходила, и мне пришлось согласиться в конце концов на мужа с фамилией Ткаченко. Рената Ткаченко, конечно, лучше, чем Рената Муха, но я – преподаватель английского языка, и после перестройки начала часто ездить в Англию и в Америку, и вот тут я пожалела, что не оставила Ренату Муху, потому что ни один англичанин, ни один американец не может вымолвить сочетание Рената Ткаченко. А два года назад я была в Ленинграде, в книжном магазине ко мне подошел знакомый математик, которому кто-то подарил мою книгу, и сказал: «Моему сыну очень понравилась ваша книжка, он очень хочет с вами познакомиться, он тут». Это был хороший ребенок математика, хороший воспитанный мальчик, он сказал мне: «Мне очень понравилась книжка, я хочу задать вам вопрос, может быть вам на него будет неудобно отвечать. Почему у вас такой псевдоним?» И я рассказала ему всю эту историю про фамилию, мальчик слушал вежливо-вежливо и потом сказал: «Нет, про Муху это все понятно, но Рената почему?»

За этот период у меня случилось несколько стихотворений, и одно сослужило несколько странную службу в моей жизни. Я была в прошлом мае в Москве, Дина Рубина пригласила меня и назначила мой вечер, я очень хотела встретиться с людьми, но я очень люблю и умею болеть, и я заболела, и ко времени вечера заболела совсем, у меня очень сильно начала болеть нога, но совершенно не поэтому стихотворения я не пишу, они ко мне приходят или не приходят, но в этот раз пришли такие четыре строчки:

*Простое предложение лежало без движения,
И ждали продолжения внизу пустые строчки.
– Какое продолжение? – сказала предложение, –
Вы что, не понимаете, что я дошло до точки?*

И тут позвонил мой муж, на котором еще этого «туфельного» греха не было и который имеет две формы – если ему нравится, он говорит «нормально», а если не нравится, он говорит «надо поработать». Но он позвонил из Израиля, и я говорю ему: «Простое предложение лежало без движения...», и муж сказал: «Слушай, это кажется, гениально, да?» «Нет, говорю, – это не гениально», но решила, что на следующий день я, наверное его прочитаю, но когда встала, я не встала, потому, что у меня уже очень сильно болела нога, мне принесли палочку, и я пошла на это выступление, прихрамывая, но очень веселая,

там более, что пришло много народу, много знакомых и было очень славно, и поскольку, все все-таки с испугом смотрели на мою палочку, я решила брать быка за рога, решила, что сразу прочту это мое веселое стихотворение, и говорю, вот вчера, у меня случилось стихотворение, и прямо вам его прочту, и читаю про простое предложение, и в конце, как опытный оратор, останавливаюсь и жду взрыва смеха ...нет, нет, но вижу несколько кулаков, которые почему-то трут скулы, я свои права решила отстоять и говорю: «Подождите, я вообще-то вам прочитала смешное стихотворение, может быть я плохо прочитала?» И я читаю его выразительно, медленно, еще раз. И тогда уже не один кулак поднимается, а несколько, и трут уже не одну скулу, а много. Я говорю: «Так смешное же!» И поднялась дама, и сказала: «Слишком автобиографично!»

В тот же период посыпались стихи, и поскольку я преподаватель языка, а муж у меня математик, с преподаванием я связана все время, и у меня начали появляться такие стихи, которые, я полагаю, можно было использовать в разделе дополнительных занятий, вот биссектриса например:

*Был биссектрисе дом не нужен, всегда носилась по делам,
Но, постарев, вернулась к мужу, и делит угол пополам.*

Про филологию есть, про математику есть; между прочим, тогда я вспомнила, что есть еще одно про математику:

*Я никогда не видела окружности
Такой безукоризненной наружности.*

И еще одно есть про математику, это я мужу посвятила:

*Недавно встречала в работе совместной
Твое уравнение с одной неизвестной.*

Но и еще у меня собирается много таких воспитательных стихов, и у меня получилось такое жалобное стихотворение о верблюде, которому врачи запретили есть горячее:

*Горячую кашу на завтрак верблюду
Жена насыпает в огромное блюдо,
И бедный верблюд посредине пустыни
До ужина ждет, пока завтрак остынет.*

Когда я приехала сюда, то работу каким-то невероятно счастливым случаем получила буквально в первые две недели – на факультете иностранных языков Безр-Шевского университета, что вполне можно считать чудом. Времени на подготовку не было, семестр начинался сразу же, и заведующая кафедрой сказала мне: «Какой вы хотите курс: первый, второй, третий, четвертый, пятый?» И поскольку последние десять-пятнадцать лет я руководила пятым курсом в Харьковском университете, то небрежно сказала: «Все равно». И напрасно так сказала, потому что мне дали первый курс, и там я сразу увидела, что учебники и система обучения языку совсем другая, но главное, что они мне сказали:

«Рената, вы опытный преподаватель, но вот одно предупреждение: вы можете заниматься чем угодно, можете применять любую вашу методику, вам запрещается только одно – студенты не должны знать, что вы из России!» Так как студенты у меня были «русские», то я ужасно удивилась и сказала: «Почему?». Она сказала: «Я сама не знаю, почему, но меня очень удивляют “русские” студенты. В прошлом году мы прислали к ним “русскую” преподавательницу, замечательную, я была на ее занятии – прекрасное занятие, прекрасный английский, но студенты написали, что они не хотят преподавателя из России, и я не понимаю, почему». И я обязалась не говорить ни слова по-русски, это не проблема, но я сказала: «Скажите, а за кого мне себя выдавать? Я со своим типом экзотической внешности вряд ли сойду за англичанку, или американку...» И она мне сказала: «Да, действительно, но вы знаете, с вашей фамилией вам очень легко выдать себя за итальянку!» А поскольку я только-только приехала, и все страшно, все непонятно, думаю «Не буду спрашивать», но рядом со мной стояла знакомая дама, и она сказала: «Пойдите и посмотрите на свой почтовый ящик, что там написано». Там, где у всех были имя и фамилия и на моем ящике должно было быть написано «Рената Ткаченко», было написано «Рената Кончини»! Именно так на слух восприняла секретарша мою фамилию. И я очень обрадовалась, мне понравилось быть Ренатой Кончини, мне понравилось быть итальянкой, и я на нее уже вроде как и смахиваю, и я помчалась к мужу, который сидел в том же университете в своем офисе, и говорю ему: «Всё, я по-русски не говорю, я итальянка – Рената Кончини!» Муж сказал, в переводе на русский язык, что я неумная женщина, он спросил: «А если вдруг в твоей группе окажется итальянец?» ...Я пришла на первый курс, сидело двадцать студентов, все «русские» дети. Нет проблемы говорить по-английски сложно; очень трудно говорить просто о сложных вещах, да еще людям, которые не знают языка. А текст у меня был бешеной сложности: про мистера Генри Форда, у которого были three pets, три домашних животных, чего-то там с кошками, с собаками, и даже parrots (попугаями), и вот эти извилины этого богатого текста, ни разу не переходя на мой родной итальянский, со скоростью, уже не знаю, сколько слов в минуту – студентам в голову могло прийти что угодно, кроме того, что я из России – я говорю, говорю, говорю, и никакой реакции, они же не понимают, а даже если понимают, то не могут ответить, и когда прошло уже сорок пять минут, и я обсудила все аспекты того, что «Mister Henry Ford has three pets» а также «Does he had two pets or three pets?» – два у него животных или три, две кошки или три собаки или наоборот, а студенты все молчали, и тут прозвенел звонок, я расслабилась и сказала: «Итак...» Студенты вскинулись, а я, панически думая, что же это могло быть на итальянском языке сказала: «Ithaca is city in Greece». Студенты приготовились слушать про город в Греции. Я, к своему ужасу, ничего не могла вспомнить про этот город, и сказала: «After...» Такое было мое мучительное первое занятие. Студенты, кроме того, как-то очень раскованно пользуются русской речью, их не смущают и собственные девушки, а уж преподаватель-итальянец тем более не смущает. Мне понадобилась вся моя профессиональная выдержка, чтобы это выслушивать. Особенно оказалось трудно, когда на

одном из занятий открылась дверь, просунулась очень кудлатая голова, которая сказала по-русски: «А где Хаим?» Я начала безудержно хохотать, а так как фраза была по-русски, то студенты совершенно не могли понять, почему преподаватель смеется этой фразе? Мальчик оказался удивительно способный, потому что тут же освоил английский язык и спросил: «Вер Хаим?» и «Ху Хаим?» Я ему ответила в том смысле, что не знаю, где Хаим, а также «Who is Хаим?». Дверь закрылась, я вернулась к своим студентам, но дверь открылась, и мальчик, который за это время овладел английским сказал: «Ай вонт ю!» что в переводе означает «Хочу вас!» Я ничего не сказала, но как потом поняла, он решил: зачем искать какого-то неизвестного Хаима, когда есть такая веселая преподавательница, и он ее хочет. Он меня хотел весь этот семестр, он меня встречал и провожал, он говорил со мной на языке, который он считал английским, а муж внимательно спрашивал: «Все ли в порядке?» Он остался у меня в группе, и, между прочим, писал на сто, потому что это был необыкновенно способный мальчик. Но занятия идут, материал становится сложнее, а язык у них не прибавляется, и я каждый раз, когда что-то говорю, говорю им: «Понятно?», а они говорят «Нет». И как раз в центре обычно сидел очень красивый мальчик, а слева и справа, и сзади и спереди от него всегда сидели хорошенькие девочки, которым он «уделял внимание». И я, как-то объясняя и ориентируясь на него, говорю по-английски: «Понятно?», он отвечает бегло, по-английски «No». Я говорю: «Попробуем еще раз», три, четыре, пять раз объясняю, все адаптируя и адаптируя, а он все говорит «No», и я опять говорю: «Вот еще раз попробуем», и он (может, это будет неловко слышать от дамы таких лет) улыбаясь говорит: «Ну скажи хоть слово по-русски, старая дура»... Я выдержала!!! Мои закаленные на их нетрадиционной лексике нервы выдержали, я сказала: «Sorry?» Девушки покатались, и он продолжал ходить, и я продолжала всем улыбаться, и знаете, что произошло? К самому концу семестра Лиора Ган, работающая на радио «Рэка», берет у меня интервью, ее интервью, как было тогда принято, шло в газеты, она поместила разворот в газете и еще огромный мой портрет. Я прихожу, конец семестра, и вдруг – все есть, а этого мальчика нет, и чтобы сократить эту историю, скажу, что он, бедный, так и не сдал курс и больше никогда не появился у меня на занятиях.

У меня должна скоро выйти новая книжка, это «скоро» тянется уже пять лет и начался шестой и там есть несколько стихотворений, там есть «диетические странички», короткие, но очень прочувствованные:

*Лук сказал цветной капусте:
«А тебя мы в борщ не пустим!»*

И опять же про лук, более грустное:

*Как много на свете печальных разлук,
Поссорились как-то морковка и лук,
И грозно морковка сказала врагу:
«Ну ладно, мы встретимся позже. В рагу».*

Это вот сейчас пошли какие-то овощи, а до этого у меня очень сильным было направление, которое я называю «сырые стихи», они дождливые в основном, и одно из этих стихотворений даже сдружило

меня с Сережей и Таней Никитиными. Я очень кратко расскажу его историю. Однажды мы плыли на байдарке – мой муж, я и два моих сына. Стояла плохая погода. Мне не доверили ни одного весла, и было за что, мне дали рулить, тоже напрасно, но это было очень скучно и я немного порулила, порулила и сказала одному сыну: «Дай, пожалуйста, бутерброд с сыром». Сын залез в рюкзак и сказал: «Мама, а сыр мы забыли», и мы поплыли дальше, я рулила, они гребли, стояла плохая погода, мне стало совсем скучно, и я сказала: «Ну ладно, дай хоть бутерброд с маслом!», и другой сын полез в другой рюкзак и сказал: «Мать, мы и масло забыли!» И к тому времени, когда мы приехали на стоянку, было готово произведение в трех частях:

*Стояла плохая погода,
На улице было сыро,
Шел человек по городу
И ел бутерброд без сыра.*

*Стояла плохая погода,
На небе луна погасла,
Шел человек по городу
И ел бутерброд без масла.*

*Стояла плохая погода,
Сердито хмурилось небо,
Шел человек по городу
И ел бутерброд без хлеба.*

Это стихотворение мой друг и соавтор Вадим Левин подарил Сереже и Тане Никитиным, и, когда я приехала в Москву, мне сказали: «Слушай, ты тут ездешь, а Никитины тебя поют!». Я загордилась сразу, но не поверила, но я была у друзей и сказала: «А ну-ка, включите телевизор», и вот так бывает – на экране был очень большой зал, на экране стояли Сережа и Таня, и я услышала последнюю фразу: «...наша подруга, поэтесса Рената Муха». Я заорала жутким голосом, заглушив первые строчки – про то, как «*стояла плохая погода...*». Камера ездил по залу, я не могла понять, почему так много народу, и вдруг эта камера наехала на Егора Гайдара. Это было то время! Сережа поет, Гайдар слушает: «*Стояла плохая погода, на улице было сыро, шел человек по городу и ел бутерброд...*» Тут Гайдар кричит: «С сыром!», а Сережа поет: «*Без сыра!*» И тогда он просто стал выпадать из кресла, а Сережа начал петь дальше: «...*Шел человек по городу и ел бутерброд без масла*», а камера взяла уже Чубайса, но он почему-то совсем не смеялся...

...Много лет назад, будучи на факультете иностранных языков, я совершенно нечаянно произнесла строчку, я стихов тогда не писала, и потом не писала, а строчка была такая: «*А в углу, в конце страницы, перенос повесил нос*». Моя горячо любимая руководительница и друг, замечательный ученый, сказала: «Прелесть какая строчка! А дальше?» Я говорю: «А дальше нет», а она: «Так вот, еще же пятнадцать минут до лекции – сядь и напиши!» Мне не хватило пятнадцати минут до лекции, не хватило и пятнадцати лет, лет понадобилось семна-

дцать. С грустью говорю, что к тому времени, когда оно было написано и посвящено ей, как я ей и обещала, прошло семнадцать лет. Я очень долго мучилась с этим стихотворением, и так как оно называлось «Колыбельная для книжки», то я его все эти семнадцать лет выдвигала из себя по строчкам и мурлыкала на какую-то условную мелодию. Так случилось, что больше всего строчек у меня набралось, когда я была в Бостоне, я там прочитала, с меня потребовали окончания, я сказала, что еще не закончила, и они с меня взяли обещание, что когда я закончу, приеду. Слово я дала, закончила и приехала, и в зале даже был Наум Коржавин. И вот я вышла для первого исполнения стихотворения, которое посвящено столь дорогому мне и всей нашей профессии человеку, и начала рассказывать эту книжину колыбельную и не смогла ее рассказывать, я его семнадцать лет мурлыкала и не смогла его «отодрать» от мелодии. Я остановилась, и говорю: «Наум Моисеевич, не могу отделить его от мелодии», и тогда он сказал: «Значит, она там и была. Пой!» И тогда я сказала людям: «Петь я не умею, зато слуха у меня нет, и петь мы будем вместе, а если не получится, виноваты будете вы, а если получится – заслуга моя!» Вот так я могу... и вот она, эта книжнина колыбельная:

*За окошком ночь настала, где-то вспыхнули зарницы,
Книжка за день так устала, что слипаются страницы.
Засыпают понемножку предложенья и слова,
И на твердую обложку опускается глава.*

*Восклицательные знаки что-то шепчут в тишине,
И кавычки по привычке раскрываются во сне,
А в углу, в конце страницы, перенос повесил нос –
Он разлуку с третьим слогом очень плохо перенес.*

*Недосказаны рассказы, недоеден пир горой.
Не дойдя до этой фразы, на ходу заснул герой.
Перестало даже пламя полыхать в полночном мраке,
Где дракон с одной драконшей состоит в законной драке.*

*Никого теперь не встретишь на страницах спящей книги,
Только медленно плетутся полусонные интриги.
Дремлет юная невеста по дороге под венец,
И заснули середина, и начало, и конец.*

И я спела: «И заснули середина, и начало, и конец», а с концами это вообще вещь сложная, у меня вот тут есть книжечка, которую издал Марк Галесник, в которой есть стихотворения, все они из двух строчек, и называются «недоговорки», и стихотворения из придуманного мною жанра, когда первых двух строчек нет, а вторые две строчки есть, называются они – «начало следует». А случилось это так: стихов я не писала в детстве, в отрочестве, в юности, в ранней молодости, в средней молодости, но уже где-то попозже, после создания этих самых «калош неисправимых», я познакомилась и до сих пор дружу с замечательным поэтом Вадимом Левиным, и он меня все время мучил, страшал и говорил «пиши еще», а у меня не получалось,

и он меня представлял как «поэта, который написал две строчки про калоши, а больше ничего не пишет», и я тогда начала писать стихотворения, в которых только две строчки:

*Один осьминог подошел к осьминогу
И в знак уваженья пожал ему ногу.*

*У лужи за домом работа простая:
Зимой замерзнуть, а летом растаять.*

*Наверное, я молоко обижала,
С чего бы оно из кастрюли сбегало.*

Среди них – мои почему-то любимые строчки:

*А вчера меня дорога прямо к дому довела,
Полежала у порога, повернулась и ушла.*

И тогда Вадим Левин, мой соавтор, который так надо мной издевался, сказал: «Слушай, эти две строчки я тоже хочу писать!» А я сказала: «Извини, дорогой, эти две строчки уже написаны». Тогда, а это было время создания кооперативов, он подумал и сказал: «Тогда сделаем так – мы сделаем кооператив поэтов, две строчки пишешь ты, две строчки пишу я; причем я пишу первые, так как я главнее, а ты – заканчивай». Я, вдохновленная (боже мой, писать с Левиным!), помчалась и написала:

*...И это для дятла такая наука,
Что он никуда не заходит без стука.*

Вадим сказал: «Хорошо! Положи, я допишу». И я тогда на том же валу вдохновения помчалась и придумала:

*...С тех пор он питается разными кашами,
По-моему, так хорошо, а по-вашему?*

Вадик сказал: «Годится! Положи, я доработаю». Тогда я придумала еще:

*...Пожалуйста, я откажусь от короны,
Но можно сначала доесть макароны?*

Вадим сказал: «Очень хорошо! Клади». И так это продолжалось и продолжалось, он был занят и сказал: «Слушай, это неудобно, надо начать читать. Я свои строчки буду вот так хлопать, а ты свои читать». Помню, это было в ЦДРИ в Москве, Вадим Левин вышел и рассказал: «Рената... Последние строчки... “Начало следует”... Но за мной не пропадет... Давай про дятла!». Он «простучал» свои строчки, а я подошла к микрофону и сказала: «...и это для дятла такая наука, что он никуда не заходит без стука». Публика растерялась. Эту новую форму что-то никто не понимает. И назревал, ну, если не скандал, то такая неприятность. И тут из последнего ряда поднялась Вероника Долина и сказала:

*С утра этот дятел сидел на трубе,
Соседи о нем донесли в КГБ.*

*И это для дятла такая наука,
Что он никуда не заходит без стука.*

А две первые строчки для другой недоговорки я получила от Марика Зеликина в подарок на день рождения:

*С яслей ненавидел он манную кашу,
И с этим покинул он родину нашу.
С тех пор он питается разными кашами.
По-моему, так хорошо. А по-вашему?*

Но, кажется, больше всего повезло строчкам «про макароны». Мне лично кажется, что там все сказано, но почему-то народ ухватился за эти строчки, и получилось:

*Свергали царя в государстве обжор,
А тот удивился, – какой разговор?
Пожалуйста, я откажусь от короны,
Но можно сначала доесть макароны?*

А потом пришел другой человек и принес мне:

*Король собирался позавтракать властью,
Но тут захватили мятежники власть.
Пожалуйста, я откажусь от короны,
Но можно сначала доесть макароны?*

И тут, мы уже были дружны с Никитиным, он сказал мне: «У меня сейчас проходят “никитинские утренники”, я хочу там поиграть с детьми, дай мне что-то из твоих двухстрочий, и вот это, про макароны, если можно, сама допиши». Наивный Никитин не знал, что дописываю я лет по семнадцать, а если попросить, то и по сто семьдесят, но тут было такое, это называется «давление системы», что я прибежала домой, и у меня оказалось стихотворение, и я его наутро готова была отдать Сереже, очень длинное для меня:

*Английский король и законные дети
Однажды за ужином ели спагетти.
И тут в коридоре затеялась драка:
Двенадцать потомков, рожденных вне брака,*

*Которые вследствие этого с детства
Боялись, что могут лишиться наследства,
Сошлись во дворце и, прорвав оборону,
Явились потребовать трон и корону.*

*Английский король поднялся им навстречу
И к ним обратился с английской речью:
Пожалуйста, я откажусь от короны,
Но можно сначала доесть макароны?*

Я, такая гордая-прегордая принесла это Сереже Никитину, и Сережа взял и сказал: «Длинно каждый дурак может писать». Я сказала: «Не каждый», и это стихотворение так и не было опубликовано...

* * *

– *Это придумано не мной, а Бернадом Пивó в своей передаче, это экспресс-анкета, очень короткая, это несколько вопросов, на которые надо кратко ответить, всего два слова, вы готовы?**

– Еще более нет, чем когда вы заставляли меня петь. Я не обещаю уложиться в два слова и не обещаю, что меня хватит на два слова.

– *Но мы попробуем. Итак: какое ваше самое любимое слово?*

– Я серьезно отвечаю, вообще всякие слова любимые, но через жизнь у меня любимое слово «солнышко», и я даже сейчас придумываю колыбельную для слоненка, и решила вставить туда такую строчку, бабушка ему поет: «*Спи, мой хорошенький, спи, мой малюсенький, спи мое солнышко, спи*».

– *Какое ваше самое нелюбимое слово?*

– Легко отвечаю: «поэтесса», с суффиксом, шипящим.

– *Что вам повышает тонус, «заводит»?*

– Ну, если можно без шуток, – когда веселье на лице слушателей сменяется радостью.

– *Какой звук вам наиболее приятен?*

– Согласный, даже шипящий, звук «щ», с тех пор, как я написала стихотворение: «*Жил человек полнеющий, а так вообще – вполне еще*».

– *А какой звук самый неприятный?*

– А вот этот «щ» и был самым неприятным, пока я не придумала вот эти две строчки.

– *Какое ваше любимое ругательство?*

– Не скажу...

– *Какая профессия, кроме той, которой вы владеете, Вас привлекает?*

– Голубчик, это несчастье моей жизни, у меня четыре профессии, и они меня все привлекают, и в какой-то степени я их привлекаю, выбора я сделать не могу, потому что преподаватель, переводчик, рассказчик, и вот поэтому, можно, я уже не буду привлекаться ни к какой профессии?

– *Кем бы вы никогда не хотели бы стать?*

– Не знаю, в каждой профессии есть что-то приятное, ну, может быть, политиком, да, политиком.

– *И последний вопрос – что бы вы хотели услышать от Бога, понав к нему?*

– Вы знаете, мне неожиданно легко почему-то ответить на этот вопрос. Я бы хотела от него услышать: «*Что ты тут делаешь?*».

* Вопросы Ренате Мухе задавал в конце вечера его ведущий Марк Камцан.

Александр Варакин

НЕСКОЛЬКО СЛОВ ОБ УЧИТЕЛЕ

Это я его так называю. Все, кто знает (к сожалению, *знал*) Александра Аркадьевича, подтвердят, что он никогда не мэтрствовал – это было противно его характеру. Вообще собратьев-поэтов он почитал именно братьями. Так и не переломил меня: до самого последнего дня, как судьба развела нас, я продолжал ему «выкаты», и это ему совсем не нравилось. А дело было не в возрастной разнице: в уровне!

ПЕРВОЕ ЗНАКОМСТВО

В 1978 году, только поселившись в Ташкенте, я по привычке зашел в книжный магазин: в городах, где я бывал, всегда выискивал на полках авторов-поэтов – было у меня такое хобби. Попадались очень неплохие местные сборники стихов, да и столичные книжки в провинцию залетали. Каюсь, считал Ташкент провинцией!

Первый же сборник поразил меня. Это была книга Александра Файнберга. Я стоял, раскрыв ее, и читал одно стихотворение за другим, не в силах оторваться.

– Ну, пошли уже! – тянула меня за рукав жена.

– Да постой ты! Представь, в Ташкенте, оказывается, есть свой Вознесенский.

– Так уж и Вознесенский!

– М-да... Нет. По-моему, гораздо лучше.

И сейчас подтверждаю последнюю фразу. Если Андрей Андреевич хорош избранный, то Александр Аркадьевич – хорош всегда от первой строки до последней.

*Очень будет интересно –
Со свинцовым ветерком, –
Если памятник Дантесу
Вдруг поставит на Тверском.*

*Кто лопатой челобитной
Вкруг него расколет лед,
Кто полотнище сдерет...
Очень будет любопытно.*

ПО ПРОТОРЕННОЙ ДОРОЖКЕ

На «Узбекфильме» Александр Аркадьевич подвизался в те годы, когда на него вышел запрет. Издательства и пресса не могли Файнберга ни принять к изданию, ни даже подкормить хотя бы на внутренних рецензиях (платили за них очень неплохо).

А вот «Узбекфильм» не отказался и поддержал поэта. Пришлось Файнбергу становиться «основоположником» (можно и без кавычек!) узбекского мультфильма. Я не следил за этим жанром и даже не знал ничего этого – узнал много позже, когда совершенно случайно стал сценаристом единственного мультика, снятого на «Узбекфильме» в его мультотъединении режиссером и художником Валерием Жирновым.

Когда мне дали неслыханный гонорар – аж восемьсот советских рублей, – я вдруг узнал, что Файнбергу платят за сценарий не больше шестисот...

Он нам проторил дорогу и в этот жанр, а ему платили меньше, чем нам???

В этом и сам Александр Аркадьевич, который не пойдет никуда качать права, и подлые чиновничьи фокусы: это мы тебя облагодетельствовали, так что получи, сколько дадим. Помогли ему хорошие люди, работали с ним люди творческие, а расплачивались-то те же номенклатурщики...

РАДИКУЛИТ

Из трех моих рекомендателей в Союз писателей один Александр Аркадьевич пришел отстаивать меня на Бюро поэзии.

Он слегка прихварывал: одолел радикулит. Стоим перед открытой дверью, за которой происходит заседание Бюро. Люди решают внутрисоюзные проблемы, до приемных вопросов дело еще не дошло. Ожидание утомительно, и я изредка заглядываю в дверной проем и вижу поэтов, сидящих за длинным столом: именно они будут решать мою судьбу.

А Файнберг прохаживается по площадке перед дверью или стоит прямо напротив двери, но происходящее там пока мало его волнует. И вот он начинает разрабатывать поясницу – наклоны вперед, как можно глубже. Получается, что громадный поэт кланяется тем, кто внутри зала заседаний. Неудобно как-то. Говорю:

– Александр Аркадьевич, неправильно ведь истолкуют.

– Ты прав, – говорит Файнберг. Становится к двери спиной и продолжает свои наклоны вперед – как можно глубже.

Вижу, что теперь истолкуют еще более неправильно. А может, как раз правильно?..

Михаил Книжник

ЖИВОЙ ПОЭТ

Совсем ребенком, лет, наверно, пяти-шести, меня интересовало занимаются ли чем-нибудь короли, ну, кроме восседания на троне? Или так день-деньской и сидят?

В дальнейшем я не то чтобы получил ответ на этот вопрос, среди моих знакомых монархов нет, просто занимать меня стало другое.

Лет в пятнадцать я не знал, как выглядят живые поэты.

Я был вполне книжный мальчик, немного наивный и провинциальный, на мой нынешний вкус, но книжки читал, а вот как ходят поэты, о чем разговаривают, ну не знаю, как курят, – представить не мог. Чем они занимаются, когда не восседают на троне, то есть, когда не пишут стихов? Именно тогда, в конце лета 1976-го, мне выпал случай пополнить свои представления о мире.

Во время неспешного ташкентского чаёвничанья в доме у Лидии Анатольевны и Петра Иосифовича Тартаковских, родительских друзей, а потом по наследству – и моих, появился парень в фиолетовых джинсах. (Живя в узбекской махалле, я усвоил градации мужского возраста на бытующем там русском языке: пацан, парень, мужик, старик.) Джинсы были густо-лиловые спереди, с разрывом ко швам. Парень был невысокий, крепкий, с футбольной, *обводящей* грацией. Азартно курил «Приму». Шрамик на губе. Говорил хорошо, страстно, но не распахнуто. На подколы хозяина дома не отвечал, улыбался. О чем шла речь тогда? О сценарии «Охота на джейранов», о книжке стихов.

Когда гость ушел, Тартаковский сказал (я и сегодня слышу эту фразу): «Сашка? Настоящий поэт. Без дураков».

Все последующие годы Александр Аркадьевич Файнберг наглухо отрицал наличие сиреневых штанов в своем гардеробе.

Книжка «Стихи», о которой они говорили, вышла вскоре, буквально через год. И дядя Петя фигурировал в выходных данных в диковинной должности «редактора на общественных началах». К тому времени я был обладателем и усердным читателем двух из трех его предыдущих сборников – «Велотреки» и «Мгновенья», изданных во вкусе 60-х с несвойственной ташкентской полиграфии элегантностью. И по всему выходило, что Петр Иосифович был прав. Этот сборник, четвертый по счету, был особо важен для Файнберга, он появился после восьмилетнего отлучения от публикаций. За что был наказан?

... У него была и такая особенность: во время разговора, когда уставал, он, если воспользоваться ахматовским выражением, «ставил пластинку» – вставлял готовый монолог, историю, наблюдение.

Ничего в том плохого нет, кусок этот устного текста обычно продуман, обкатан и отточен. Хотя драгоценная сочающаяся пульсация беседы и меркнет. Меня это не задевало, я сам такой.

Некоторые файнберговские «пластинки» я слушал не однажды. Были такие, которые годами оставались неизменными. «Пластинка»

же про вечер поэзии в ташкентском Доме Знаний и интервью западным журналистам, за которые он поплатился, раз от разу менялась.

Заканчивались шестидесятые, на которые пришелся его дебют, и дух которых он впитал. В главных столицах империи они закончились раньше, но в далеком и теплом Узбекистане и время шло по-другому. В Москве уже крутили гайки, а в Ташкенте вышел номер «Звезды Востока», ставший потом легендарным, где под смиренной вывеской «Писатели восстанавливают разрушенный землетрясением город» приютились незаконные Бабель и Булгаков, Николай Панченко с «Балладой о расстрелянном сердце» и почему-то казавшееся тогда крамоллой «Уберите Ленина с денег» Вознесенского. Редакцию разогнали. Работу, как положено, усилили. Ну и Файнберг попал, это уж как водится. К тому времени он уже был, как бы это сказать попроще, главным ташкентским поэтом. И оставался в этом качестве все последующие годы до самого последнего своего дня, вернее – ночи, ночи на 14 октября 2009.

А что до гонений, то всё же нужно отдать должное, и гонения в Ташкенте были помягче.

Но урок Александр Аркадьевич затвердил накрепко – ни под каким видом с властью он за одним столом не играл. В его книгах есть тексты сильные, есть послабее, есть такие, которые кочевали из книжки в книжку, имея, наверно, перед автором особые заслуги, но нет ни одного из разряда «Ленин в Риге», ну, или там в Ташкенте. Сегодня это не кажется великой заслугой, да и я не о заслугах – о достоинстве.

Только однажды я видел немыслимое – вышла газета со стихами Файнберга вместо передовицы. Это было 24 июня 1988 года, в день начала вывода советских войск из Афганистана. И стихотворение было такое, что сразу становилось понятно, что не Файнберг прогнул своё перо под официоз, а в точности до наоборот.

*Простите, отчие просторы,
Что на губах моих зола:
Не под Москвой, не под Ростовом
Война сердца нам обожгла.
Не подо Ржевом – в Кандагаре
Остался Генка Соловей.
Мы пахнем пылью, пахнем гарью.
Встречай, Отчизна, сыновей.
Страна с огромными глазами,
Мы воевали, как могли,
Но шли не брянскими лесами
И не Смоленщиною шли.
И не под Брестом, а под Хостом
Теряли мы своих друзей...
Кто виноват – об этом после.
Встречай, Отчизна, сыновей.
Я помню край афганской бездны:
Остался друг на том краю.
У твоего, Сашок, подъезда
Я сигарету докурю.*

*И, в сердце горечи не пряча,
Войду я к матери твоей.
Принав к руке её, заплачу.
Встречай, Отчизна, сыновей.*

Про Вознесенского тоже была у Файнберга замечательная «пластинка». Они не то чтобы дружили, но были знакомы и ценили друг друга. В первом файнберговском сборнике «Велотреки» можно учуять присутствие Вознесенского. Всё это продолжалось до конца 70-х, пока в «Юности», в большой подборке Вознесенского не появилось стихотворение «Тренировка служебной собаки»:

*Я затаянут в ватную штуку
с капюшоном для лицезакрытия.
На мне служебную суку
испытывают на «нарушителя». В шутку.*

И дальше еще несколько строф, описывающих, как его рвет собака. И рефрен – «В шутку».

Файнберг был в бешенстве. Понятно, что Вознесенский из немногих, кому советская власть позволяла большую свободу высказывания, чтобы было чем потом козырять, отбиваясь от обвинений во всевластии цензуры. Но зачем же он потешается над нами, придушенными. И тогда Файнберг ответил стихотворением «Инструктор служебного собаководства»:

*Взревет чепрачной масти Лада.
Клык протрещит по рукаву.
Инструктор веселится.
Вата
с халата сыплется в траву.*

*Клык молод. И резец надежен.
Овчарка, взвизгнув, как фреза,
в плечо врезается до десен.
Но веселы твои глаза.*

*Тебя азарт игры колотит.
Хохочешь, капюшон задрал.
Стучит карандашом в блокнотик
твой друг – майор из ДОСААФ.*

.....

*...Мне нечего делить с тобою,
инструктор с озорной искрой.
Но, закусив губу до боли,
слежу я за твоей игрой.*

*Какою шуткою, инструктор,
отшутитишься, прижат к стене,
когда мне горло вырвет сука,
натасканная на тебе?*

Свои стихи Александр Аркадьевич читал сильно, особенно про майора из ДОСААФ.

«...Ну и послал. Ночью звонок.

– Саша! Что это такое?

– Я. Больше. Не буду, – отвечаю. И повесил трубку».

Самое замечательное в этой истории, что можно было так поссориться из-за стихов, и то, что оба текста существовали. И авторы их не включали в книжки.

Нет, потом, когда всё рухнуло и они стали стариками, оба – включили. Зачем добру пропадать.

Присутствие Файнберга в жизни Ташкента, и потом, когда Ташкент распространился от Австралии до Аляски, шагреневое сократившись в своем реальном проявлении, присутствие, даже не присутствие – наличие Файнберга, было живительно и конструктивно. Это тяжело пьющий, немолодой и небогатый человек всегда был мостом между прежней жизнью и нынешней, между русской поэзией и Ташкентом.

Все годы, что я его знал, Файнберг был образцом поэта. Он, осознанно и добровольно приняв на себя эту долю, с большим достоинством пронес её до конца.

Вопрос выбора, как и тема дороги, звучал в его стихах всегда, и в ранних, и в поздних. Он и был человеком выбора. Он выбрал фамилию отца, закрыв для себя на долгие годы дорогу в московские журналы. Доходило до смешного: «Юность» напечатала из самотека файнберговские стихи, простодушно украденные каким-то парнишкой с правильной фамилией. Он не выбирал место, где родился, но верность этому месту была делом выбора. Еще в «Велотреках» бросил шутивно:

*Куда мне решать, кумекать!
В республику врос, как пень.
Не то что вскочить, уехать –
Пошевелинуться лень.*

Прошу обратить внимание на очаровательный эвфемизм «республика», внятный любому тогда, в 63-м, и требующий пояснений сегодня.

А вот как о том же он говорит в стихах из папки, врученной мне в последнем августе:

*Пускай развал, пускай беда
швырнут мне пепел на седины.
Хоть нож, хоть пуля – всё едино.
Я не уеду никуда.*

Файнберг не боялся прямого высказывания, хотя и не злоупотреблял им. Он много писал. На задней обложке «Листа», последнего им подаренного сборника, написано: «автор двенадцати книг». Значит, сам «Лист» – тринадцатый.

На жизнь зарабатывал, переводя с узбекского и сочиняя сценарии. Переводил Навои, считался лучшим переводчиком опального

Абдуллы Арипова. Многие его переводы были настоящей поэзией. «Мультяшки» тоже получались поэтические и не сопливые.

Помогал он младшим собратям все годы щедро и размашисто. Кто возьмется подсчитать количество предисловий в десять строк, только чтобы осенить его именем первую книжку, внутренних издательских рецензий, рекомендации в писательский союз и всякую иную, порой неожиданную, цеховую поддержку.

Так, в начале 90-х, когда я одной ногой уже поводил в воздухе, примериваясь опустить её на землю обетованную, позвонили с узбекского телевидения и предложили сделать обо мне передачу.

– Чего вдруг?

– У вас книжка вышла.

– Откуда знаете? – спрашиваю. (Вышла она в Киеве, дома про неё знали друзья, да и то не все.)

– Файнберг сказал, – говорят.

В нынешнем августе он впервые посетовал:

– Ты представляешь, я подсчитал, сегодня, когда уже кажется, все разъехались, в Узбекистане почти шестьсот человек пишут стихи на русском языке. Или, по крайности, сочиняют песни. И все они хотят пройти через меня...

Он был хорошо оснащен, но словно бы стыдился выпячивать технические приёмы. Планка всегда была высока, и в поводе для поэтической речи, и в том, как это было сделано.

Приноровив к своему дыханию сонетную форму, написал целую книгу «Вольные сонеты»; оказалось, что сонет подходит для публицистического выпада, для портрета, для философской рефлексии и для исторической зарисовки.

Но особо удавалось Файнбергу так счастливо выстроить простые слова в том единственном порядке, чтобы они проникли в кровь. И ты уже не замечаешь, как бубнишь про себя:

Две звезды над моим чердаком.

Постарею ли,

сердце растрочу.

Никогда

ни о чем,

ни о ком

Так не вспомню

и так не заплачу.

И незачем пытаться объяснить, почему незамысловатое, казалось бы, стихотворение так «забирает».

Нарисую день холодный,

день без года и числа,

перевернутую лодку,

возле лодки – два весла.

С низкой крышей, синеокий –

Нарисую, как смогу, –

*старый домик одинокий
на пустынном берегу.*

*Нарисую сеть пустую.
Птицу в небе нарисую.
Краски есть – о чем тужить?
Нарисую – буду жить.*

Ему присвоили звание Народного поэта Узбекистана. И про это у него была «пластинка».

Близился юбилей. Позвонил Абдулла Арипов. Он уже давно из гонимого поэта сделался автором гимна независимого Узбекистана, председателем и орденоносцем, но поэтом быть не перестал. Говорит, что надо тебе, мол, Народного присвоить. «И тут я захохотал...»

Нужно ли объяснять тот смех? Наверно, нужно. Институт этих почетных званий был весьма специфичен, они были учреждены по большей части в 50-е годы – но после смерти Отца народов – в республиках Средней Азии, Закавказья и, как ни странно, Прибалтики. Звание присваивали стихотворцам пожилым и маститым, иногда по-смертно – классикам. Было в этом звании какое-то подспудное сопротивление Москве, даже не советскому, а – русскому. Никогда оно не присваивалось поэту, пишущему на нетитульном языке. И представить такое было трудно. Ну, как представить того же Файнберга в чапане и тюбетейке разгуливающим по улицам Ташкента.

Тем не менее, в положенный день вышла газета с сообщением, что Александру Аркадьевичу Файнбергу присвоено звание Народного поэта Узбекистана.

Зазвонил телефон. Абдулла: «Сашка, зачем смеялся?»

В последние годы множились свидетельства официального признания, он принимал их, как должное, они не делали его счастливее. Продолжал писать стихи, горькие, трагичные. Внимательно и спокойно вглядывался в грядущее окончание своей дороги. Может, потому, что давно написал: «но и могила – не конец дороги».

В августе этого года я с семьей приехал в Ташкент. К Файнбергу взял с собой Юру, сына. Мальчику пошел двенадцатый год, пришло время показать ему настоящего живого поэта. Юрка бродил по квартире в многоэтажке на Пушкинской, выходил на балкон, где мы сидели, присаживался, слушал наш разговор...

Что он запомнит из того дня? Понадобятся ли ему на его пути такие, например, строки:

*Колдует ночь. На то и ночь она.
Во мраке, ничего не понимая,
как перед смертью, пьём себя до дна,
друг друга на прощанье обнимая.*

*Там, на земле, – сомнения и страх.
А мы с тобою ничего не знаем.
И высоко, как звёзды в небесах,
глаза перекликаются с глазами...*

Сухбат Афлатуни

ПРОЩАНИЕ С ПРЕКРАСНОЙ ГОРОЙ

Я не любитель искать в именах-фамилиях некий тайный смысл. Но иногда смысл сам напоминает о себе.

Файнберг – «Прекрасная Гора». Звучит почти как «Волшебная гора» Манна.

Это была правда.

На равнинном ландшафте Ташкента он был горой. Прекрасной горой.

Волшебной.

Задающей уровень – мастерства и таланта. Признаваемой всеми – и ценителями, и теми, кто таковыми не являлся. И официозом, и андеграундом. И теми, кто его хорошо знал, и теми, кто встречался с ним всего несколько раз. Трудно отрицать гору.

И сам он прекрасно писал о горах.

*Бродит свет по арчовым урочищам.
Опускаются скалы к реке.
Смотрит с горных небес одиночество
с полумесяцем в черном зрачке.*

Как бы ни было зацитировано-засмеяно: «Поэт в России – больше чем поэт», а доля истины в этом есть. Русский поэт в Ташкенте – больше чем поэт.

Что и доказано – Файнбергом.

У ташкентца Вадима Муратханова есть стихи об ушедшем друге-однокурснике: «Он был Ташкентом каждому из нас...».

Это можно сказать и о Файнберге. Он был поэтом Ташкента. Он был поэтом для Ташкента: одновременно и Высоцким, и Евтушенко, и Кимом... И, разумеется, самим собой. Поэтом Александром Файнбергом.

В его стихах был Ташкент даже тогда, когда казалось, что его там нет. Помню, как я читал на одном литературном вечере его стихотворение – из любимых:

*Я часто вижу особняк старинный.
Снег – на парадном. Снег – на гриве львиной.
Заката и деревьев тишина.
Мороз в стекле узоры вырезает.
И женщина с неподвижными глазами,
как из иконы, смотрит из окна.*

Прочитав, заметил что-то вроде того, что «особняк со львами» – скорее, реминисценция из русской поэзии... Тогда поднялась женщина: «Вы не помните... Львы стояли у старого почтамта, на Пушкинской, его потом снесли, со львами».

Ташкентские львы со снегом на гриве...

Файнберг жил как раз в этом месте. На Пушкинской. Недавно переименованной... Спасибо, что не в «Дантес кучасы».

Снесенные львы просочились в стихотворение. Вместе со своими пушкинскими прашурами (*С поднятой лапой, как живые, Стоят два льва сторожевые...*).

Вместе с пушкинской строфой. В ташкентском стихотворении.

Мне вспоминается другое его стихотворение, где тоже закат, и женщина, и разлука.

*Пылай, пылай, мой медленный закат.
Последнее дыхание разлуки.
За копытами чугунными оград
дрожащей меди гаснущие звуки.*

*Горит в прудах недвижная вода.
У женщины глаза, как у подранка.
И на листе, слетевшем навсегда,
минувшей жизни светится чеканка.*

...Их было очень много, облетевших листьев, в солнечный день прощания с поэтом. С Прекрасной горой, место которой теперь пусто – если не считать стихов, звучащих в осеннем воздухе.

*Я слышу, мам, весёлый голос твой:
– Пора домой, сынок. Пора домой.*

*Нет, мама. Не пора мне со двора.
Ещё через границы и ветра
летит, звеня, он – мой футбольный мяч.*

Не торопи. Не окликай. Не плачь.

Ольга Крученые

ВСТРЕЧИ

Старая ташкентская приятельница Ира Баранова прислала по электронке всего три слова, враз придавивших свинцом, – умер Александр Файнберг. Удивительное дело, сто лет с ним не общались, последний раз говорили по телефону больше пяти лет назад, но известие о его смерти просто выбило из колен.

Вечером, уже дома, достала три его сборника, подаренных мне в разные годы, отгородилась дверью от родных и близких. Господи, как же по-иному читались теперь его стихи. Боль в каждой строке, каждое слово – сердце наизнанку... Как же жил-то он с этим?..

...Это было в начале восьмидесятых. Мы – зеленые новички в литературе – стоим в коридоре Союза писателей Узбекистана, где проходили занятия семинара молодых авторов. Навстречу идет человек, в толстом зеленом свитере-самовязке, с уставшим лицом и удивительно молодыми глазами. Мы почтительно расступаемся. Кто-то полувосторженно-полувлюбленно выдыхает: «Файнберг...»

Поэт, чьими стихами мы зачитывались, передавая друг другу тоненькие книжки и разрозненные машинописные листки. Он был в наших глазах человеком-легендой. Смелчаком и бесребреником, не писавшим заказных неискренних строчек.

Я стала публиковаться. Больше в газетах. Частенько – с запальчивой критикой существующей системы книгоиздания, которая привлекала «живых классиков», но устанавливала жесткое идеологическое сито для молодежи. Как теперь понимаю, мой перекося в сторону публицистики, который вскоре прочно и, видимо, уже навсегда увел меня в журналистику, был виден невооруженным взглядом всем, кроме меня.

И вот однажды зазвонил телефон. Я чуть не упала со стула, услышав голос Файнберга. В компаниях и на каких-то литературных сборищах мы с ним уже не раз пересекались, но чтобы вот так, запросто, позвонить, как будто мы сто лет на «ты»... А он без предисловий предложил мне, пока не поздно, прекратить это совершенно нестоящее дело – бумагомаранье. И заняться – ну, скажем, выращиванием комнатных цветов или вышиванием крестиком. «Почему это?» – дрожа от обиды, спросила я. Услышать такое от Файнберга!

«Потому что легкого пути у тебя не будет, судя по тому, что ты делаешь, – сказал он. – Тебя будут часто и больно бить. И – дай Бог! – чтобы только в переносном смысле».

И еще одна история, связанная с Файнбергом, вспомнилась мне – добрая и красивая. Я работала в маленькой, веселой и бесшабашной газетке «Пионер Востока». Было это лет двадцать тому. Однажды наш

молодой сотрудник, с которым мы делили кабинет, обливаясь потом, приволок откуда-то здоровенную кадку с высохшим фикусом. Сморщенный ствол без листьев отдаленно напоминал фигуру согбенного человека с раскинутыми руками. Выглядело это необычно, и мы водрузили кадку в угол, удачно вписав ее, как нам показалось, в дизайн кабинета.

Однажды к нам зашел Файнберг, с которым к тому времени мы уже хорошо друг друга знали. Посидел, поговорил, посмотрел неодобрительно на наш фикус и предложил его чем-нибудь украсить. Причем идея созрела моментально у него же самого – отныне друзья и просто хорошие люди, которые войдут в нашу комнату, должны писать на бумажках добрые пожелания, а мы – вешать их в виде листиков на фикус. И сразу же сделал почин – экспромтом написал четверостишие, которое мы за ниточку прицепили к одной из веток. А фикус окрестили «деревом дружбы».

Через несколько месяцев куст запестрел бумажными листочками. А весной случилось необыкновенное. На сухих скукоженных ветках проклюнулись почки, и фикус ожил – зазеленел, покрылся молодыми побегам и уже собственными листьями.

Не последнюю роль тут, конечно, сыграли остатки чая, которые сотрудники редакции выплескивали всю зиму в кадку. Но мы всем рассказывали, что даже мертвый куст не смог устоять перед добрыми словами друзей и расцвел...

Стихотворение Файнберга, положившее начало этой трогательной истории, долго у меня хранилось, но потом затерялось, чего теперь себе не могу простить. Не могу вспомнить даже, о чем оно...

Но помню другое его стихотворение:

*Осталось немного... Осталось немного...
На небо взглянуть и расстаться с дорогой.
В пылающей роще, забыв про обиды,
Куста не ломая, коснуться рябины.*

*Осталось понять, вспоминая утраты,
Что так же страдают деревья и травы.
Студёный родник... Он горит, как икона.
Чеканные листья на дне родниковом.*

*Осталось услышать закатную птицу.
Пред ясной водой на колени склониться.
Осталось понять, что настала усталость.
Как много осталось... Как много осталось...*

...Нам осталось много – его стихи.

И очень мало – потому что нет его, нет ярко-синих глаз, обведенных морщинками, и завораживающего, с хрипотцой, голоса: «Привет, Оля! Сколько же лет мы с тобой не виделись!...»

Игорь Бяльский

БЛАГОСЛОВЕН СУДИЯ ПРАВЕДНЫЙ

Барух даян а-эмет. Благословен Судия праведный. Повторяю эту фразу все чаще и чаще – ровесники и друзья становятся все старше и старше, а старость – не лечится. И не то чтобы до конца понимаю, какое утешение содержит это традиционное скорбное благословение, а тем паче – в переводе с библейского на русский, но повторяю и повторяю, смиряя душу свою, готовую застыть ли, рассыпаться от необъемлемой разумом потери близкого друга. Не понимаю до конца – ну и ладно... Что-то же все-таки понимаю.

Освободил Всевышний Александра Аркадьевича от непосильных ему празднеств приближавшегося юбилея, а главное – от давно наставшего, нового, чтобы не сказать чужого, совсем не его, поэта Файнберга, времени, когда рухнул железный занавес и матерые умельцы утилизировали неблагородный металл на обустройство новых границ, расколовших великую, что ни говори, державу, великую, что ни говори, цивилизацию, в которой романтически-антисоветская эзопова феня уже было полностью выросла в разрешенную главлитом советскую, что ни говори, литературу. Порвалась связь племён, пробудились и не на жизнь схлестнулись национальные самосознания, политтехнологии и бизнес-проекты, без которых в эпоху развитого социализма любить, петь и ходить в горы было по-своему уютно.

Благословен Судия праведный.

Аркадьич, Саня...

В Ташкенте он и родился, и прожил всю жизнь, «за границей не был», разве что десять лет назад слетал в Израиль; на билет скинулись друзья и знакомые, перебравшиеся в Обетованную из столицы солнечного Узбекистана.

Шестидесятник – таким Саша был и в своей поэтике, и в отношениях с собратьями по цеху – внятный, надёжный, распахнутый друзьям и всему миру, излучающий свет.

Русский поэт «еврейского происхождения»...

Он пришел в середине семидесятых к нам, тогда еще мальчишкам и девчонкам, в только что народившийся КСП «Апрель», и с тех пор жизнь моя продолжилась на фоне Файнберга.

Мне посчастливилось поучаствовать вместе с Поэтом в небесполезных делах, слушать и читать его только что написанные стихи и поэмы и, чего уж там, распить на двоих сотню-другую поллитр. В питии ведь тоже: главное не что, где, когда, по какому поводу, а – с кем.

К счастью, Аркадьич не вдавался в теоретизирования, но два из его самопальных суждений о поэзии живут во мне до сих пор: «Нельзя начинать стихотворение, если чувствуешь, что в предыдущем остались какие-то нескладухи, иначе они перейдут и в новое» и совсем, казалось бы, простое «В стихах должно стоять».

В конце восьмидесятых умер его любимый Грэй; от постигшей Сашу утраты он даже бросил на какое-то время пить и писать стихи, купил велик и наматывал спортивные километры в сторону Кибрая, откуда его любимый Чимган виден еще лучше. В эти его велосипедные недели я и написал очередное посвящение Файнбергу, в котором, конечно, просвечивала и моя безумно-неправильная тогдашняя сложно-сочиненная жизнь, а может быть, и сегодняшняя, неправильная просто.

ВЕЛОСИПЕД

*Умер пёс у Поэта, а сына и не было вовсе.
Он проснулся на взводе и гонит на велосипеде.
И летит под колёса такая раздольная осень –
листопады поспели, и жёлуди, да не воспеть их.*

*Нету слов. А слова у друзей – далеки и невняты.
И какие-то дети у них, и дела, и обиды...
Все их велосипеды побиты, а все их орбиты
будто в жёлтые пятна продеты и в красные пятна.*

*Но горит, не мигая, зелёный огонь светофора
для того, кто оставил небесные дали в покое.
Даже Серый просёк: никакие не сферы, а свора.
А друзья не хотят: мол, видали ещё не такое.*

*И на вкус норовят, и на цвет ради пламенных басен.
Человек человеку товарищ, конечно, и витязь...
И на запах – согласен, и даже на оцупь – согласен.
А на цвет – извините. На цвет – извините-подвиньтесь.*

*Это всё-таки Азия... Самую чёрную цену
заплатил он, связуя безвременья жухлые нити.
А какую весну пережил! А вину... А измену...
А измену какую... Но с круга сойти – извините.*

*Позади – кольцевая и весь этот город, в котором
он стихи написал и почти уже все напечатал.
Как встречал его Серый! С каким милосердным укором
приносил свой резиновый мячик, внимая печалям.*

*Отыгрались мячи. Нету слов о любви и природе.
И закат на исходе, и эти костры догорают.
Вот Володя бы понял. Володя Высоцкий... Володя!
А теперь вот и Серый... Да что они все умирают...*

*Эта смерть. Эта жизнь. Этот сон, что по новой приснился,
как он Серого гладил, в свинцовые очи не глядя.
...А со шприцем когда этот ветеринар наклонился,
он лицо отвернул... и всё гладил, и гладил, и гладил...*

Александр Файнберг
ПРОЩАЛЬНЫЕ СТРОКИ

* * *

Я жил, ещё ни в чём не виноват,
шпана вихрастая с глазами цвета неба.
Я брал подшипники, мастырил самокат
и в магазин соседний мчал за хлебом.

Но вот уходят мама и отец.
Глаза мои на кладбище бледнеют.
Я сердцем чую, что и мне конец
придёт в свой срок по Божьему велению.

Я вижу – тени чьи-то по лицу,
и грузовик, венками весь загружен,
везёт меня и к маме, и к отцу
в том ящике, что пахнет свежей стружкой

Не призовут меня на Высший Суд.
Мои стихи не тянут на скрижали.
Кто плачет? А никто. Поминок ждут,
в глазах печаль и скорбь изображая.

И лишь один драчун – дворовый царь, –
не зная, где поэзия, где проза,
на самокате мчит за мной пацан
и рукавами утирает слёзы.

* * *

Любовь сперва нам кажется легка.
Потом штормит волна, и крепнут горы.
И на прощанье поцелуй наш горек
и камня крепче: – Милый мой, пока.

Пока, моя любимая. Пока.
Отпели, отгуляли наши встречи.
Ещё не вечер?.. Вот он – этот вечер.
Высок был день. Жаль, ночка глубока.

* * *

Не плачьте, коль придётся нам расстаться.
Вы лучше вслед мне улыбнитесь, братцы.
Куда иду я – там в отмене слёзы.
Там всё одно – поэзия ли, проза.
Там небесами сбиты, смыты, стёрты
следы от жизни этой непутёвой.
Но мне и там – среди межзвёздных трасс –
дай Бог, как здесь, любить и помнить вас.

* * *

Разлуки тень легла у глаз.
Покой? Утешит он едва ли.
Любовь, уйдя, не помнит нас,
чтоб мы о ней не забывали.

* * *

Там где-то, где-то бродит это, это
по переулкам нашим лето, лето.
Там вместо штанг булыжники, портфели.
А мяч – он мяч. И что там дневники нам?
Потом на всех бутылочка портвейна.
И девочки, красивые такие.
А после листьев осени костры
и снег зимы, и ветерок весны.
Всё это есть. Так вот тебе купе.
Езжай. Через минуту отправленьё.
Всё есть. Да нет на свете КПП,
что пустит нас туда хоть на мгновенье.

* * *

Ошибка я? Быть может, и ошибка.
Так что ж такое у меня в крови?
Я с детства себя чую на отшибе
во всём и всюду. Но не у любви.
Пусть в рубище я нынче иль в короне,
душа моя не ведает оков.
Быть может, я и вправду посторонний
для всех на свете. Но не для стихов.

Так что ж я? Кто? Случайность по призванию
небес, что чуть задели мне глаза?
Ошибка ль жизни? Не скажу. Не знаю.
А если бы и знал, то не сказал.

* * *

Подъезд родной мой в двухэтажном доме,
балкон дощатый – жизни самый верх.
И двор большой наш, вольный и футбольный,
любимый двор однажды и навек.

Там за Атлантикой канадские туманы,
в брега Хоккайдо бьёт чужой прибой,
а здесь с балкона только голос мамы:
– Домой, Шурёха. И опять: – Домой.

Пустынь барханы, зыбких волн паромы –
ничто меня за сердце не берёт.
Мне даже гул и грохот космодромов –
фигня. Балкон дощатый. Вот он,
Вот он.
Вот.

* * *

Выйду в ночи на крыльцо.
Ветер ударит весенний.
Не в седину, не в лицо,
В сердце ударит он, в сердце.

Юностью, счастьем, бедой
в море, на лесоповале
ветер всегда молодой.
Старых ветров не бывает.

* * *

Не прокляну под небом серым
в снегу невидимых дорог.
На дне обугленного сердца
ещё пылает огонёк.

То ль для меня, то ль для кого-то
искрится вместе с ним зола.
И жить, как в юности, охота.
Но этот снег... Но эта мгла...

Марк Азов

«ГДЕ ОН, ЭТОТ ВЗЛЁТ СТИХА?»

Четвертого ноября ее не стало... Зоя Туманова, поэт, прозаик и переводчик, поцелованная солнцем Срединной Азии, благословленная самой Ахматовой, покинула наш недостойный мир.

Когда я уходил на фронт, ей было шестнадцать. Мы переписывались с ней, пока меня не убили на войне. Товарищ написал об этом ей, но я, слава Богу, воскрес (просто поспешили хоронить), и переписка продолжилась через полвека, когда нас снова свел «Иерусалимский журнал»... Она присылала мне стихи из Ташкента:

*Бурям века нет конца.
Сохнут на ветру сердца,
Лодочка моя плывёт.
Память о тебе живёт...
Где он, этот мир чудес?
В нем глагол времен воскрес.
Прошлого волшебный свет
Нам сиял сквозь толщу лет.
Где он, этот взлёт стиха?
Трепет сбывшихся примет?
Тайна тех ночей тиха –
На бумаге лёгкий след.
Тихо наплывает тень,
Дню вослед уходит день.
За листом спадает лист.
Тихо угасает жизнь.
Лета твоего расцвет.
Осени моей намёк.
Всё, чего сегодня нет –
Скоротпись летящих строк.*

И достаточно одной строчки: «Где он, этот взлет стиха?», – чтобы включилась память:

Ташкентская весна 42-го. Тифозный вокзал и восточный базар. Фаина Раневская меняет чай на хлеб. Анна Ахматова в старорежимном, до пят, концертном платье среди гимнастеров советских писателей под ропот скандализированной публики читает «Сероглазого короля» – и, кажется, вечность летит строка...

А в палисадниках серебрится сирень, и мы, мальчики, девочки – «поэты круглого стола», ловим дальние отзвуки Серебряного века, долетевшие непонятным образом через фронты, революции, репрессии и соблазны социалистического реализма.

Уходят маршевые роты, пьют чай невозмутимые узбеки и отоваривают свои карточки уцелевшие основатели акмеизма – Ахматова,

неправдоподобный Сергей Городецкий. И рядом с Анной Андреевной всегда «Мандельштама» – Надежда Яковлевна Мандельштам. Отсветы их рассвета на наших лицах.

Где он, этот взлет стиха?

Где вы, поэты круглого стола? Валентин Берестов, Эдуард Бабаев, Илья Крупник... Отсюда мы уходили на фронт. «Немногие вернулись с поля», а среди многих не вернувшихся Мур Эфрон, сын Марины Цветаевой...

Ташкентских поэтов круглого стола я тогда называл и до сих пор называю – *дети света*. Не в качестве рифмачества была там сила, а в рыцарском духе поэтической чести. Там умели держать критический удар, порой насмешливый и беспощадный, и, как после турнира, оставались прежними друзьями. Мгновенно обнаруживалась фальшь: кто думал одно, а писал другое, тот необъяснимо выпадал из круга. Именно круга, а не кружка – вокруг собирались не только литераторы, а вообще любители «поговорить за жизнь»: есть ли у жизни цель, нет ли у жизни цели, а, может, нет и самой жизни? Чем черт не шутит!

«Нашему слепому поколению / Много ли подарено судьбой?» – написал я тогда. А Зоя ответила в своих «Воспоминаниях»: «Мне было подарено. Не сила прозрения, а веянье предчувствия, не знание, а ощущение. Эти встречи, это мгновенное соседство во времени помогли увидеть в поэзии преодоление одиночества души. Эти книги, строки, исключенные из круга чтения, надолго стали паролем, по которому узнавали своих... Они дали прививку от пошлости, урок стойкости и верности себе».

Зоя Гуманова. Зоюшка. Это ты в свои шестнадцать лет назвала нас «поэтами круглого стола». Кукольный бант в волосах, гуттаперчевый носик и глаза, опрокинутые к вечносинему небу Ташкента. Ты одна оставалась стеречь ахматовский «мангалочий дворик». Но вот и на тебе оборвалась последняя ниточка юности.

Где он, этот мир чудес?...

Где он, этот взлёт стиха?

Но бумажные голуби с пожелтевшими крыльями, стихи Зои Гумановой, перепорхнули Чимган и долетели до гор Галилеи:

*Ты на Святой земле,
Где взорваны святыни.
Оборваны во мгле
Пути мои в пустыне.
Над пропастью летит
Истерзанное слово.
А мы в конце пути
Или в начале снова?*

Скажи Ему там, Зоюшка: мы, как стояли в 41-м и 43-м над краем пропасти, так и стоим. А слово летит, и дай Бог, чтобы долетело, если у пропасти есть другой край.

ИЗ «ТОГО» ПОКОЛЕНИЯ

* * *

Вильям Александров действительно из того, опаленного войной и осененного яркими ташкентскими встречами времен среднеазиатской эвакуации поколения. В пятидесятые и шестидесятые они общались в том же Ташкенте с опальным К. Симоновым, с заезжими знаменитостями – Вознесенским, Ахмадулиной... Несмотря на годы лишений и так называемой «безотцовщины» (имеется в виду наглый бандитизм и откровенное шпанство), они, и в частности – именно он, – несли в себе столь положительный заряд, что, наверное, больше ни одно поколение писателей и поэтов не было таким цельным, хотя, возможно, и более активным, даже громким.

Мое знакомство с Вильямом Александровичем состоялось в 1978 году и было одновременно и очным, и литературным. Едва приехав в Ташкент, стал искать книги тамошних писателей, и одной из первых прочел повесть В. Александрова, написанную около 1960 года. Столько романтики, лирики, столько пронзительности в простой молодежной истории – естественно, истории любви...

Вот как надо писать! – немедленно дал себе установку: начинающий поэт и прозаик, я думал, что есть некий литературный секрет, освоив который, напишешь сразу шедевр. Откуда знать двадцатитрехлетнему оболтусу, что писатель, помимо таланта, должен быть еще не обязательно незаурядным, но обязательно – хорошим человеком! Подлинные произведения пишутся не на фокусах, и тем более не во имя чего-то и даже кого-то, и ни в коем случае не на голых сюжетах, – а на человеческой любви.

Именно таким я его и увидел, впервые придя к нему на семинар при СП Узбекистана, куда меня направил Вадим Новопрудский, в то время редактор альманаха «Молодость» издательства «Ёш гвардия». Позже узнал, что как раз Александров и отстаивал потом мои стихи перед тем же Новопрудским, и в немалой степени под его влиянием Вадим Давыдович через несколько лет отказов все-таки дал ход моим прозаическим пародиям, публиковать которые прежде категорически не хотел.

Несомненно Вильям Александрович является одним из моих Учителей, и это не громкое, и тем более не проходное, определение. Вероятно, только он один мог сказать о написанном тобой всего пару слов, но их интонация немедленно указывала тебе и отношение к тому стихотворению, о котором шла речь, и путь развития: «Да так как-то, знаете ли... Может, нужно... Хотя нет, не нужно, и так хорошо».

И ты делаешь после таких вот слов гигантский шаг вперед, на самом деле желая и это переделать, и лучше написать. А самое главное – знаешь теперь точно, как НЕ НАДО.

Через какое-то время к руководству семинаром присоединился Эдуард Эдуардович Орловский, и Вильям Александрович, несмотря на то что мы были его семинаристами, поэтической частью поступил-

ся, занимаясь как бы только прозой, однако никого из нас при этом все же не бросил, а потом не выбросил из поля зрения, и в результате прогресс этой бывшей его группы не замедлил воспоследовать: редчайший случай, когда из двадцати членов семинара лет через пять выплеснулся целый букет поэтов – человек десять активно публикующихся и весьма оригинальных. К началу 1990-х в Ташкенте складывалась разнообразная группа ярких и, главное, настоящих поэтов – не менее пятнадцати авторов. И если бы не «перестройка», разбросавшая нас потом по городам и весям...

Эту группу можно было с полным правом считать детищем В. Александрова, Э. Орловского и А. Файнберга (очередность по вкусу). Отнюдь не собираюсь забывать и Николая Красильникова, и Федора Камалова, и Станислава Кулиша, и внимательную к молодым Зою Туманову, отвечавшую за поэзию в «Звезде Востока», но все же Вильям Александрович был и остается одним из первого ряда.

Немногословный, всегда спокойный, очень умеющий сформулировать в простых словах любой вывод, в том числе и приговор графоману, он, думаю, был любим и этими самыми графоманами, составив, кстати сказать, нередко безапелляционному Э. Орловскому полезную альтернативу. Этакий «сомневающийся, но твердый» интеллигент, коим симпатизирует М. Жванецкий, который и сам теперь немолод.

Много лет не выдавшись с Вильямом Александровичем, вдруг обнаружил на книжной полке его фантастический роман. Поразился, пожал плечами: ему-то зачем?

Но понял: Вильям Александров своими книгами доказывает, что фантастика – тоже не чтиво, а литература.

Александр Варакин

* * *

Вильям Александров умер. Ему было восемьдесят два года. Событие прошло почти незамеченным. Несколько коллег съездили в его дом, посидели...

Субтильный, небольшого роста, с сохранившейся седой шевелюрой этот человек был очень гордым. На дружбу ни к кому не напрашивался, о себе говорил мало. Тоскуя по литературной работе, взялся составлять альманахи и составлял. Аккуратно и точно работая, не обижая авторов, не тыча своим мнением. Делал дело.

В справочнике русскоязычного союза писателей Израила за 1999 год читаем: «Автор восемнадцати книг – трёх романов, двенадцати повестей, нескольких сборников рассказов. В Израиле с 1996 года».

...Книг своих не дарил, не подписывал, в глаза, интересуясь мнением, не заглядывал. Да, написал, да – есть.

Из его рассказов, всегда ярких, которые он читал на литературных посиделках, знаю, что у Вильяма было трудное детство и отрочество – война, эвакуация, изматывающая трудная работа электриком, раннее одиночество в эти годы.

Тяжёлая судьба, но похожая на многие другие судьбы тех лет.

Потянуло в литературу, нашёл своё место, долго работал ответственным секретарём «Звезды Востока». Но много сделать не мог – не те времена. Несколько раз пытался напечатать Стругацких, не получилось.

Вот такой человек... Никого не хлопал панибратски по плечу, никто не мог хлопнуть его плечо в ответ.

В последнее время Вильям увлечённо работал над циклом «Иерусалимские истории», в которых каким-то очень домашним языком рассказывал о характерах людей, обыденных неприметных событиях, иерусалимской погоде, и благодаря его острому запоминающему взгляду отчётливо вырисовывалась сама жизнь – протекающий кран, необходимость на новом месте обзаводиться вещами, очередная интифада, когда пули со стороны ближайшей арабской деревни залетают в кухню...

Сильно болел сердцем в последние годы. Но когда мы спрашивали: «Почему вас не было? Случилось что, Вильям?», сдержанно улыбаясь, отвечал: «Просто не получалось прийти. Просто не получалось».

Есть дочь, есть сын. Был женат на женщине, которую очень любил. Вроде не достижение? Ну, это как посмотреть.

Умер и оставил её одну, хотя она надеялась умереть первой.

У них был тёплый дом, из которого он ушёл навсегда.

Долгая жизнь, тихая судьба.

А вот никто не мог хлопнуть по плечу – гордый.

Леонид Левинзон

Леонид Балаклав

ГОРОД

Слава Богу!

Утром меняется всё.

Дома, крыши, стены и люди.

Всё купается в этом утреннем свете. Город превращается в море больших и малых светов.

Огромная длинная прозрачная тень встречается с маленьким кусочком света, а большая белая стена заканчивается черной впадиной двери.

И это длится бесконечно...

Наконец тени просыпаются и начинают играть со светом. Они ловят свет.

Начинается танец теней: прозрачных и плотных, уставших и агрессивных.

Приближается вечер: минха... Все тени объединяются и становятся одним целым.

В небе над городом остается одна светло-золотая полоса, и неизвестно, когда она исчезнет, наверное, НИКОГДА...





1. Bataclan 78.





2002.5.12





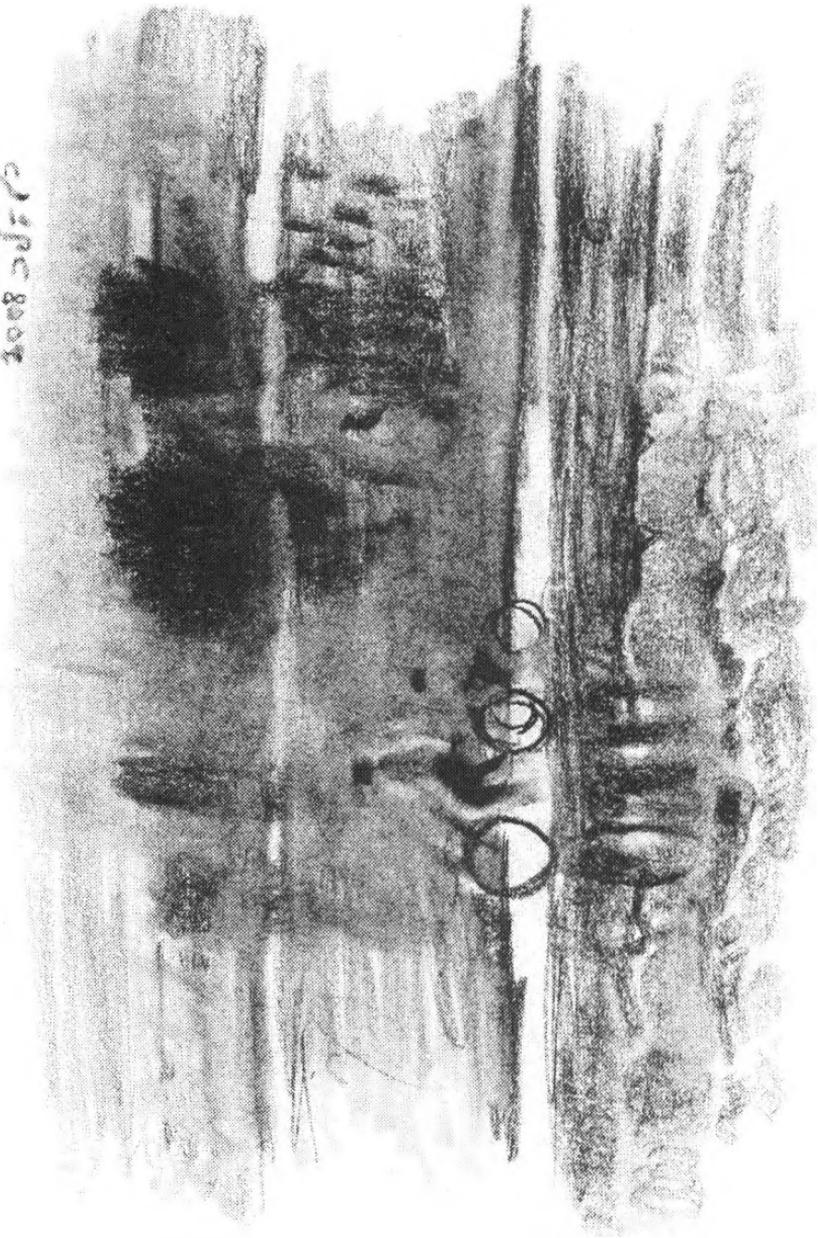
97 257/3

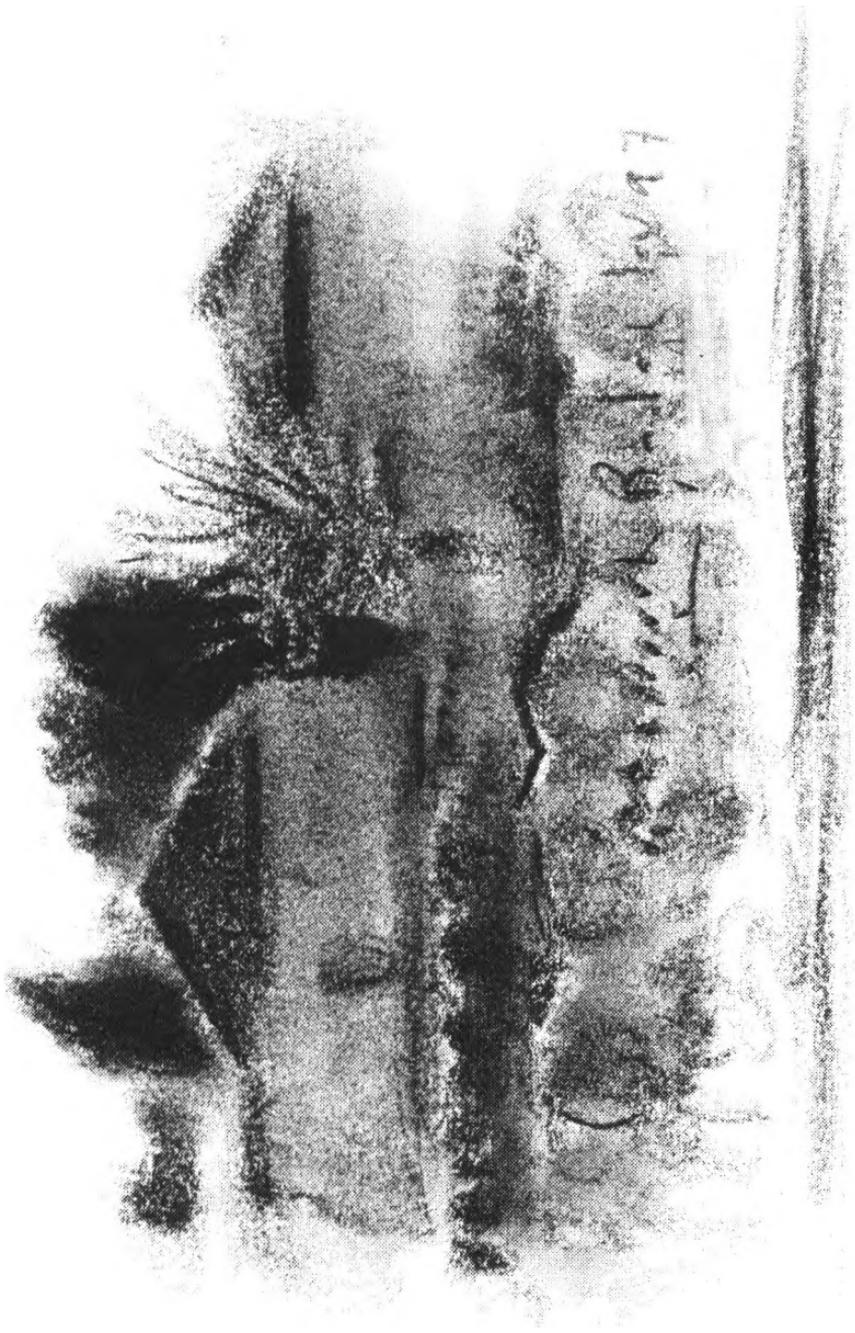




2008 2/15

2/27/80 8007





ИМЕНА

Марк АЗОВ (Айзенштадт) родился в Харькове в 1925 году. Во время войны был на фронте. Дошел до Берлина. Преподавал литературу в школе. Много лет жил в Москве. Писал миниатюры для театра Аркадия Райкина. Автор поэтических сборников, книг прозы, пьес и киносценариев. Репатриировался в 1994 году. Живет в Нацрат-Илите. Главный редактор альманаха «Галилея» и руководитель одноименного театра. В 2003 году вышла книга «И смех, и проза, и любовь», в 2009-м – «И обрушатся горы. Книга откровений и фантазмов». В «ИЖ» рассказы и эссе **М. А.** опубликованы в №№ № 8, 13, 30.

Вильям АЛЕКСАНДРОВ (1927, Одесса – 2009, Иерусалим). В 1937-м остался без родителей – они были репрессированы. Во время войны попал в Узбекистан, работал электриком на комбинате. Окончил филфак Ташкентского госуниверситета. Работал в редакциях газет, журналов, в издательствах. Автор многих книг прозы, вышедших в бывшем СССР и за его пределами, в том числе романов «Чужие – близкие», «Коснуться молнии», повестей «Дорога обратно», «Заповедник», «Спасатель», «Планета МИФ», «Странный гость», нескольких сборников. Репатриировался в 1996 году. В Иерусалиме вышли книги «Улица детства» (1997), «Смерть Президента» (2000), трилогия «Время надежд – время потерь» (2002). В «ИЖ» № 23 опубликован рассказ В. А. «Шломо».

Сухбат АФЛАТУНИ (Евгений Абдуллаев) родился в 1971 году в Намангане. Стихи и проза публиковались в журналах «Арион», «Звезда Востока», «Знамя», «Дружба Народов», «Новая Юность», «Октябрь», «Интерпоэзия» и др. Один из основателей творческого объединения «Ташкентская поэтическая школа» и альманаха «Малый шелковый путь». Автор книг стихов «Псалмы и наброски» (2003) и «Пейзаж с отрезанным ухом» (2008). Лауреат премии «Дебют» журнала «Октябрь» (2004, 2006) и литературного конкурса «Русская премия» (2006) за «Ташкентский роман». В «ИЖ» № 22 опубликована подборка стихов **С. А.** «В другое лето». Живет в Ташкенте. Преподает философию.

Леонид БАЛАКЛАВ родился в 1956 году в Бельцах (Молдавия). Закончил Киевскую Художественную школу (1971-1973) и Одесское Художественное училище (1974). Репатриировался в 1989 году. Лауреат нескольких премий, в т.ч. Золотая медаль Международного кинофестиваля в Токио (1987); Приз Иерусалима в области живописи и скульптуры (1995), Приз Музея Израиля и банка «Дисконт» (2002). Работы Леонида Балаклава находятся в музеях и частных коллекциях в Израиле и других странах. Живет в Иерусалиме. Преподает живопись.

Наум БАСОВСКИЙ родился в Киеве в 1937 году. Окончил Киевский пединститут. С 1962 года жил в Москве, окончил МИРЭА, работал в области технической акустики. Репатриировался в 1992 году и продолжил работать по специальности. Автор семи сборников стихов (в т.ч. вышедших в 2008 году книг «Анфилада» и «Из ТАНАХА. Стихотворные переложения»). Лауреат премии русскоязычного СП Израиля и поэтического фестиваля памяти Ури Цви Гринберга (2004, 2006). Живет в Ришон ле-Ционе.

В «ИЖ» опубликованы подборки «Место, где каждодневно живёшь» (№ 4), «Новые стихи» (№ 14-15), «Единственная жизнь» (№ 20-21), «Отзвуки» (№ 28); переложения из Книги Исаяи (№ 8) и Книги Псалмов (№ 12); эссе «Три аквариума» (№ 6), «...Созерцать красоту господню» (№ 14-15); рецензии на книги Ю. Колкера (№ 7), З. Палвановой (№ 14-15), Е. Аксельрод (№ 17); заметки о переложении Экклезиаста (№ 7). В 2000 году в «Библиотеке ИЖ» вышли книги стихов Н. Б. «Полнозвучие» (2000) и «Об осени духа и слова» (2004).

Александр БАРАКИН родился в 1954 году в Саранске. Закончил Мордовский госуниверситет им. Н. П. Огарева и работал инженером во Владимире, Ташкенте. С 1992 года – завлит, потом директор Кинешемского драмтеатра им. А. Н. Островского; с 1997-го – на «вольных хлебах». С 1979 года публиковался в литературных альманахах и журналах «Техника – молодежи», «Крокодил», «Знак вопроса» и др. Некоторое время сотрудничал с «Литературной Россией». Поэтические книги – «Глотатель шпаг» (1988), «Городской пейзаж» (1989), «Тряпичная кукла», (1990). Художественную прозу публиковал в сборниках и альманахах. С 1998 года написал и выпустил несколько научно-популярных и исторических книг – «Тайны археологии», «Тайны НЛО», «Тайны планеты Земля», «Розенкрейцеры – рыцари Розы и Креста», «Артефакты российской истории» (книга «Тевтоны и тевтонцы» пока не издана), а также книги, обучающие работе на компьютере: самоучители и руководства по программам верстки, графики, видео и др. – всего около полутора десятков, под собственным именем и под псевдонимами, самый известный из которых – А. Шапошников. Живет в Кинешме.

Инна ВИНЯРСКАЯ родилась в 1935 году в Запорожье. Вместе с репрессированной матерью (отец был расстрелян) жила в ссылке в Сибири и на Южном Урале. В 1945 году переехала в Одессу, где окончила Институт гидрометеорологии, а в 1967 году – в Подмоскowie. Репатрировалась в 1973 году. Одна из основателей поселения Текоа (1977) и руководителей поселенческого движения «Амана». Координатор программ на русском языке в Доме наследия Ури Цви Гринберга. Переводы И. В. печатались в книге Зеэва Султановича «У. Ц. Гринберг. О Боге, о мне, о времени нашем» (2003) и в «ИЖ» № 16.

Михаил ГОНЧАРОВ родился в 1962 году в Ленинграде. Окончил истфак пединститута им. Герцена (1984). В 1984-86 гг. служил рядовым в Советской Армии. Работал учителем в школе, библиотекарем в Публичной библиотеке им. Салтыкова-Щедрина. Организатор анархистского кружка «Чёрный передел-2» (Ленинград, 1979-1984 гг.), а также участник еврейского движения в Ленинграде. Репатрировался в 1990 году. Автор монографий «Век воли. Русский анархизм и евреи (XIX-XX вв.)» (1996) и «Очерки по истории еврейского анархистского движения (идиш-анархизм)» (1998; дополненное издание вышло под названием «Пепел наших костров» в 2002 году). Лауреат премии «Олива Иерусалима» (2006). Автор сборника прозы «Записки маргинала» (2007). Пишет и публикуется также на идише и на иврите. Живет в Иерусалиме, работает в Центральном архиве истории сионизма.

Игорь ГУБЕРМАН родился в 1936 году в Москве. Окончил МИИТ. Автор многочисленных сборников стихов и прозы. В 1979–84 гг. продолжал писать, находясь в тюрьме, лагере, ссылке. Репатриировался в 1988 году. Живет в Иерусалиме.

В «ИЖ» опубликованы подборки стихов И. Г. «И вышло всё, как если бы спросили» (№ 1), «Из Пятого иерусалимского дневника» (№ 11), «Гарики из Атлантиды» (№ 13), «Блаженство пьесы этой краткой» (№ 22), «Харон уже строит паромы» (№ 23), «Разговор ангела-хранителя с лирическим героем...» (№ 24-25), «Не думал, что кому зачтется» (№ 27); «Свобода – странный институт» (№ 29); эссе «Текст к рисункам» (№ 4), «Блики эпохи» (№ 12); главы из «Книги странствий» (№ 8) и книги «Вечерний звон» (№ 20-21); В «Библиотеке ИЖ» вышли «Книга странствий» (2001), «Гарики предпоследние» (2002), «Гарики из Атлантиды» (2003), «Вечерний звон» (2005).

Марк КАМЦАН родился в 1951 году в Евпатории. Служил в Советской Армии. Окончил Днепропетровский Горный институт (1978). В этом же году подал заявление на выезд в Израиль и находился в отказе, работая сопровождающим рефрижераторов, сторожем и т. п. Репатриировался в 1990 году. Живет в Петах-Тикве. Время от времени ведет вечера и концерты.

Михаил КНИЖНИК родился в 1961 году в Запорожье. Окончил Ташкентский мединститут (1985). Репатриировался в 1995 году. Печатался в журналах «Знамя», «Дружба народов» и др. Автор сборника стихов «Готовальня» (1991). Живет в Мевасерет-Ционе. В «ИЖ» № 19 опубликована подборка стихов «Самая малость».

Аркадий Ф. КОГАН родился в 1952 году в Харькове. Репатриировался в 1995 году. По образованию – математик. Живет в Беэр-Шеве. Преподает математику и психологию.

В «ИЖ» опубликованы его рассказы «В степях под Херсоном» (№ 7) и «Ослы и люди» (№ 9); главы из романа «Клоны и спермоны» (№ 19).

Ольга КРУПЕНЬЕ родилась в 1956 году в Ташкенте. Окончила Политехнический институт (1973), работала инженером, преподавала электротехнику. В 1983-1993 гг. – литконсультант СП Узбекистана, литсотрудник в республиканских СМИ. С 1993 года – собкор, редактор, главный редактор в российских информационных агентствах. Живет в Санкт-Петербурге.

Вадим ЛЕВИН родился в Харькове в 1933 году. По первому образованию – инженер-механик, по второму – филолог, по диплому кандидата наук – психолог. Член-корреспондент Академии педагогических и социальных наук. Живет в Марбурге.

Автор многих книг, в т. ч. «Борькин тарарам» (1965), «Глупая лошадь» (1968), «Прогулка с дочкой» (1971), «Хвалилка для котят» (1998), «Куда уехал цирк» (2002), «Лошадь в калошах» (2003).

В «ИЖ» опубликованы подборки его стихов и переводов с иврита «Адаптированный Чуковский» (№ 4) и «Люблю четвероногих» (№ 28).

Леонид ЛЕВИНЗОН родился в 1958 году в Новоград-Волынске. Окончил мединститут в Ленинграде. Репатриировался в 1991 году. Автор книги прозы «Ленинград–Иерусалим» (1997).

Живет в Иерусалиме. Работает в медицинском центре «Адасса».

В «ИЖ» опубликованы рассказы Л. Л. «Полет» и «Одуванчик» (№ 1), эссе «И вот я увидел» (№ 11); подборки рассказов «Штука сложная и неправильная» (№ 14-15), «Наш выход» (№ 24-25), «Путешествия и приключения» (№ 29), повесть «Проект» (№ 6).

Давид МАРКИШ родился в 1938 году в Москве. Учился в Литинституте им. Горького, на Высших курсах сценаристов и режиссёров кино. Репатриировался в 1972 году. Автор более двух десятков книг; восемь из них вышли в переводе на иврит, девять – на другие языки (в США, Англии, Германии, Франции, Швейцарии, Швеции и Бразилии). Лауреат израильских и зарубежных литературных премий. Живет в Ор-Иегуде.

В «ИЖ» опубликованы рассказы Д. М. «Конец света» (№ 6), «Гуревич» (№ 8), «Золотая башня» (№ 11), «Зюня» (№ 12), «Тринадцатая нить» (№ 17), «Рассказы у костра» (№ 24-25), «Старик, который забыл умереть» (№ 27); эссе «Русская рулетка Олеси» (№ 14-15).

Рената МУХА (1933, Одесса – 2009, Беэр-Шева). Окончила Харьковский университет и преподавала там английскую филологию. Репатриировалась в 1995 году. Автор сборников стихов «Переполюх» (с Ниной Воронель, 1968), «Про Глупую Лошадь, Забывчивую Сову, Братьев-Бегемотов, Кота-который-не-умел-мурлыкать и Котенка-который-думал-что-он-тигр» (с Полли Камерон и Вадимом Левиным, 1993), «Гиппопозма» (1998), «Недоговорки» (2001), «Бывают в жизни чудеса» (2002), «Однажды, а может быть, дважды» (2008), «Между нами» (2009, с Вадимом Левиным) и др.

В «ИЖ» опубликованы подборки Р. М. «А дома нет дома» (№ 11), «И я говорю это прямо в глаза» (№ 24-25).

Наталья НЕЙМАРК родилась в поселке Вахрушевское (Сахалинская обл.) в 1955 году. С пяти лет жила в Москве. Окончила МЭИС. Работала инженером, преподавала в техникумах и вузе. Репатриировалась в 1990 году. Публикуется впервые.

Живет в Беэр-Шеве, преподает электронику.

Татьяна НИКИТИНА родилась в 1945 году в Душанбе. В 1971 году окончила физфак МГУ, защитила кандидатскую диссертацию. С 1967 года пела в квинтете, которым руководил Сергей Никитин, ее будущий муж. В 1974 года Татьяна и Сергей начали петь дуэтом, долгое время совмещая музыкальную деятельность с научной работой. Т. Н. – неоднократный лауреат фестивалей авторской песни, член жюри Первого фестиваля авторской песни «Чимган» (1977), постоянный член жюри Грушинского фестиваля. В 1992-1994 годах работала заместителем министра культуры Российской Федерации. В 1997 году за многолетнюю преданность русской поэзии Сергей и Татьяна Никитины были удостоены одной из самых почетных наград поэтического мира России – Царскосельской художественной премии. Живет в Москве.

В «ИЖ» № 29 опубликовано эссе Т. и С. Н. о Фазиле Искандере.

Валентина ПОЛУХИНА родилась в Кемеровской области. Окончила Тульский пединститут (1959), аспирантуру МГУ (1971). Преподавала в университете Дружбы народов. Эмигрировала в Великобританию (1973). В 1985 году защитила докторат по творчеству И. Бродского. Автор, редактор или составитель более десяти книг о поэте, редактор двуязычных изданий О. Седаковой, Е. Рейна, Д. А. Пригова, составитель (вместе с Д. Вайсбортом) «Антологии современной русской женской поэзии». Профессор Килского университета. Живет в Лондоне.

Виктория РАЙХЕР родилась в 1974 году в Москве. Репатрировалась в 1990 году. Окончила Иерусалимский университет и университет «Лесли» (Бостон). Занимается психологией. Публиковалась в литературной периодике, в сборниках «Русские инородные сказки» (тт. 1, 2,3), «ПрозаК», «Секреты и сокровища: лучшие рассказы 2005 года» и др. Автор книги прозы «Йошкин дом» (2007), издала диск своих песен «Полёт шмеля» (2000). Живет в Текоа. В «ИЖ» опубликованы рассказы «От сумы, от тюрьмы...» (№ 19) и «Сделка» (№ 22).

Наталья РАПОПОРТ родилась и жила в Москве. Окончила химфак МГУ (1960), в 1986 году защитила докторскую диссертацию. В 1988 году в журнале «Юность» вышла повесть Н. Р. «Память – это тоже медицина». В 1990 году по приглашению Университета штата Юта переехала в США. Работает в области исследований и лечения раковых опухолей. В 1998 году вышла первая книга воспоминаний, в 2004 году – вторая, под общим названием «То ли было, то ли небыль». Живет в Солт-Лейк-Сити.

Дина РУБИНА родилась в Ташкенте. Жила также в Москве. Репатрировалась в 1990 году. Автор более чем полусотни книг, изданных в России и в Израиле и переведенных на два десятка языков. Лауреат многих литературных премий. Живет в Маале-Адумим. В «ИЖ» (№ 2) опубликована повесть Д. Р. «Высокая вода венецианцев» (одноименная книга вышла в 1999 году в «Библиотеке ИЖ»), эссе «Не договорили...» (№ 5), «Колыбельная для Соловья-Разбойника» (№ 11), «В России надо жить долго» (№ 23), отрывок из романа «На солнечной стороне улицы» (№ 8), рассказы из цикла «Несколько торопливых слов любви» (№ 11), подборка рассказов «Ручная кладь» (№ 13).

Ирина РУВИНСКАЯ родилась в Кирсанове (Тамбовская обл.). Окончила факультет романо-германской филологии Воронежского Госуниверситета. Работала библиотекарем, переводчиком, журналистом. Автор книг стихов и переводов «Коммуналка» (1995) и «Пока» (1996). Стихи вошли в «Антологию современной русской поэзии Украины» (1998). Лауреат конкурса на лучшие переводы эстонской поэзии (1984) и Фестиваля памяти У. Ц. Гринберга (2007). Репатрировалась в 1996 году. Живет в Иерусалиме. В «ИЖ» опубликованы подборки «Из Иерусалимской тетради» (№ 16), «Наперечёт» (№ 20-21), «Другое слово» (№ 23), «Между войной и войной» (№ 26). В 2009 году в «Библиотеке ИЖ» вышла книга стихов И. Р. «Наперечёт».

Алекс ТАРН (Алексей Тарновицкий) родился в 1955 году в Арсеньеве (Приморский край). С детства жил в Ленинграде. Репатриировался в 1989 году. Автор книги стихов «Антиблок» (1991) и шести книг прозы, вышедших в Москве. Живет в поселении Бейт-Арье.

В «ИЖ» опубликованы эссе А. Т. «Сумерки идеологий» (№ 14-15), романы «Протоколы сионских мудрецов» (№ 16), «Иона» (№ 19), «Пепел» (№№ 22, 23), «Записки кукловода» (№ 27), «Летит, летит ракета» (№ 30); повесть «Дом» (№ 24-25), переводы стихов Натана Альтермана и Рахели (№ 28), глава из романа «Гиршуни» (№ 29).

Вадим ТКАЧЕНКО родился в Москве в 1937 году. С 1940 года по 1993 год жил в Харькове, за исключением 1941-1944 годов, проведенных в эвакуации в г. Абакане. Выпускник Харьковского политехнического института, доктор физико-математических наук. Репатриировался в 1994 году. Живёт в Беэр-Шеве До выхода на пенсию в 2007 году работал в должности профессора кафедры математики университета им. Бен-Гуриона в Негеве.

Зоя ТУМАНОВА (Ташкент, 1927 – 2009). Автор сборников рассказов «Ласточка» (1959), «Факел на ветру» (1962), «Собеседники» (1976), повестей: «Травы голубые» (1961), «Сердоликовый ключ» (1967), «Сочинение на свободную тему» (1975), «Ковер весны» (1980), «Высокие ступени» (1988), романа «Ордер на мир. Хроника одного дома» (1974), сборника стихов «Страда» (1983), книг стихов для детей «Свети, солнышко!» (1962), «Это мы собрали?» (1971). Переводила на русский язык стихи и прозу Г. Гуляма, М. Шейхзаде, Уйгуна, Мирмухсина и других узбекских писателей.

Александр ФАЙНБЕРГ (Ташкент, 1939 – 2009). Окончил Топографический техникум и журфак Ташкентского госуниверситета. Автор пятнадцати книг стихов (включая посмертно вышедший двухтомник). По его сценариям поставлены шесть полнометражных художественных и полсотни документальных фильмов, более двадцати мультфильмов. Перевел на русский язык стихи многих узбекских поэтов. Несколько лет руководил поэтическим семинаром при Союзе писателей Узбекистана.

В «ИЖ» опубликованы подборки стихов А. Ф. «Блаженны, кто себя не потерял» (№ 5), «Яхта на ветру» (№ 14-15), «Охапка кленовых листьев» (№ 20-21), «В дыму костров осенних» (№ 26); поэма «Изабелла» (№ 8).

Рафаэль ШУСТЕРОВИЧ родился в 1954 году под Москвой, жил в Саратове. Репатриировался в 1993 году. Женат, отец двоих детей. Публикуется в литературной периодике. Работает инженером-электронщиком. Живет в Ришон ле-Ционе.

В «ИЖ» № 24-25 опубликована подборка его стихов «Ключ от города».

СОДЕРЖАНИЕ

ЛЬВИНЫЕ ВОРОТА

- ИГОРЬ ГУБЕРМАН. Меня хранили три некрупных бога
Гарики 3
- ВИКТОРИЯ РАЙХЕР. Прекрасный результат. *Психосказки* .. 9
- ИННА ВИНЯРСКАЯ. Осень вступает в октябрь
Хокку и двустушия 22
- МИХАИЛ ГОНЧАРОВ. Во вратах Твоих. *Рассказ* 25
- ИРИНА РУВИНСКАЯ. И никакая не любовь. *Стихи* 31

ШХЕМСКИЕ ВОРОТА

- АЛЕКС ТАРН. Дор. *Роман* 35

ЯФФСКИЕ ВОРОТА

- НАУМ БАСОВСКИЙ. Где эхо многократно. *Стихи* 171
- РАФАЭЛЬ ШУСТЕРОВИЧ. Отдельно стоящее дерево
Стихи 179

ПОДЗОРНАЯ ГОРА

- ДАВИД МАРКИШ. Все зависит от мастерства
Интервью 185
- НАТАЛЬЯ НЕЙМАРК. Сара, Самсон и К°
Семейные хроники 192

ХОЛМ ПАМЯТИ

- ДИНА РУБИНА. Рената 206
- ТАТЬЯНА НИКИТИНА. Душою к миру 211
- АРКАДИЙ КОГАН. Человек тональности соль-мажор 212
- НАТАЛЬЯ РАПОПОРТ. «А может быть – дважды...» 214
- ВАДИМ ЛЕВИН. Моя сестра, моя судьба 216
- ВАДИМ ТКАЧЕНКО. Это было, и случилось, и произошло 223
- РЕНАТА МУХА**. «Что ты здесь делаешь?» 232
- АЛЕКСАНДР ВАРАКИН. Несколько слов об Учителе 244
- МИХАИЛ КНИЖНИК. Живой поэт 246
- СУХБАТ АФЛАТУНИ. Прощание с Прекрасной Горой 252
- ОЛЬГА КРУПЕНЬЕ. Встречи 254
- ИГОРЬ БЯЛЬСКИЙ. Благословен Судия праведный 256
- АЛЕКСАНДР ФАЙНБЕРГ**. Прощальные строки 258
- МАРК АЗОВ. «Где он, этот взлёт стиха?» 261
- АЛЕКСАНДР ВАРАКИН, ЛЕОНИД ЛЕВИНЗОН
Из «того» поколения 263
- ### УЛИЦА БЕЦАЛЕЛЬ
- ЛЕОНИД БАЛАКЛАВ. Город. *Графика* 266
- ### ИМЕНА
- Авторы и персонажи* 276

Подписку на журнал можно оформить,
прислав свои почтовые координаты и чек на имя

Jerusalem Anthologia

по адресу:

***Jerusalem Literary Review,
P. O. Box 32297, Jerusalem 91322***

Стоимость годовой подписки (4 номера):

В Израиле – 128 шекелей, включая пересылку

В других странах – \$64 США, включая пересылку

Стоимость одного журнала:

В Израиле – 45 шекелей, включая пересылку.

В других странах – \$18 США, включая пересылку

«Иерусалимская Антология» благодарит

Татьяну Азаз-Лившиц (Иерусалим), Михаэля Бар-Шалева (Иерусалим), Александра Блинштейна (Чикаго), Хила Бродского (Чикаго), Михаила Веллера (Москва), Лину Виленскую (Кфар-Адумим), Инну Винярскую (Текоа), Асю Векслер (Иерусалим), Татьяну Гольдмахер (Чикаго), Андрея Грицмана (Нью-Джерси), Андрея Крылова (Москва), Игоря Грызлова (Москва), Игоря Губермана (Иерусалим), Вита Гуткина (Иерусалим), Татьяну Гольдмахер (Бостон), Александра Дова (Петах-Тиква), Владимира Друка (Нью-Йорк), Лорину Дымову (Иерусалим), Марка Камцана (Петах-Тиква), Григория Кановича (Бат-Ям), Ицхокаса Мераса (Бат-Ям), Дмитрия Кимельфельда (Иерусалим), Игоря Когана (Хайфа), Ефима Котляра (Чикаго), Аркадия Красильщикова (Ган-Явне), Михаила Книжника (Мевасерет-Цион), Вадима Левина (Марбург), Якова Лаха (Беэр-Шева), Якова Лившица (Иерусалим), Виктора Луферова (Москва), Бориса Мафцира (Иерусалим), Марину Меламед (Иерусалим), Светлану и Александра Менделевых (Петах-Тиква), Иосефа Менделевича (Иерусалим), Давида Маркиша (Ор-Еуда), Ренату Муху (Беэр-Шева), Генриха Небольсина (Иерусалим), Михаила Польского (Текоа), Бориса Привина (Москва), Алекса Резникова (Иерусалим), Зезва Султановича (Иерусалим), Дмитрия Сухарева (Москва), Семена Сушанского (Иерусалим), Евгению Тиновицкую (Москва), Игоря Цесарского (Чикаго), Михаила Фельдмана (Беэр-Шева), Михаила Финкеля (Петах-Тиква), Ехиэля Фишзона (Ноқдим), Владимира Фромера (Иерусалим), Павла Хмару (Москва), Шуламит Шалит (Тель-Авив), Наума Шаца (Иерусалим), Михаила Щербакова (Москва), Клару Эльберт (Иерусалим), Асара Эппеля (Москва)
за поддержку журнала.

***Любые советы, предложения, а также пожертвования
будут приняты с благодарностью***

Наш счет – 215502 в отделении 585 (Гило), банк Апоалим

Our Account – 215502, Branch 585 (Gilo), Bank Napoalim

ТВОРЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «ИЕРУСАЛИМСКАЯ АНТОЛОГИЯ»



В «БИБЛИОТЕКЕ ИЕРУСАЛИМСКОГО ЖУРНАЛА»
в 1999 – 2009 годах вышли книги:

- Дина РУБИНА. «Высокая вода венецианцев»
Елена АКСЕЛЬРОД и Михаил ЯХИЛЕВИЧ. «Стена в пустыне»
Юлий КИМ. «Путешествие к маяку»
Вениамин КЛЕЦЕЛЬ и Зинаида ПАЛВАНОВА. «Иерусалимские картинки» (1, 2)
Наум БАСОВСКИЙ. «Полнозвучие», «Об осени духа и слова»
Илья БОКШТЕЙН. «Быть я любимым хотел», «Говорит звезда с луной»,
«Авангардист на крышу вышел»
Дмитрий СУХАРЕВ. «Холмы»
Игорь ГУБЕРМАН. «Книга странствий», «Гарики предпоследние»,
«Гарики из Атлантиды», «Вечерний звон», «Шестой Иерусалимский дневник»
«ИЕРУСАЛИМСКАЯ АНТОЛОГИЯ»
(27 израильских художников в специальном цветном выпуске «ИЖ»)
Григорий КАНОВИЧ. «Лики во тьме»
Марк ВЕЙЦМАН. «Третья попытка»
Самуил ШВАРЦБАНД. «Схолии»
Марина МЕЛАМЕД. «Перекресток желаний», «Под созвездием лягушки»,
«Иерусалимские акварели»
Зинаида ПАЛВАНОВА. «Счастье без прикрас», «Ближневосточница»,
«Энергия согласия»
Евгения ЗАВЕЛЬСКАЯ. «Времена речи»
Александр КРЕСТИНСКИЙ. «Дорога на Яффо»
Алекс РЕЗНИКОВ. «Иерусалим: улицы в лицах» (книга вторая),
«Иерусалимский след» (книга вторая), «Иерусалим в названиях улиц»
Илья БЕРКОВИЧ. «Стихи, написанные в Израиле»
Эли БАР-ЯЛОМ. «Горизонтальная луна»
Владимир ФРЕНКЕЛЬ. «Другая осень»
Марк БОГОСЛАВСКИЙ. «Воробьиная ночь»
Вильям БАТКИН «Талисман души»
Илан РИСС «У разбитого горячего камня»
Ирина РУВИНСКАЯ «Наперечёт»
Рахель ЛИХТ «Семейные свитки»

«ИЕРУСАЛИМСКИЙ АЛЬБОМ» (первый выпуск)

*Диск с новыми песнями Александра ДОВА (Медведенко), Юлия КИМА,
Дмитрия КИМЕЛЬФЕЛЬДА, Марины МЕЛАМЕД и Михаила ФЕЛЬДМАНА*

ГОТОВЯТСЯ К ПЕЧАТИ

книги Григория КАНОВИЧА, Ицхака МЕРАСА, Феликса КРИВИНА

JERUSALEM ANTHOLOGIA – www.antho.net/index.html

Музей современных израильских художников

Смотрите коллекции работ Александра Адонина, Анатолия Баратынского, Леонида Балаклава, Лиоры Барштейн, Николая Беззубова, Эллы Биншток, Леи Зарембо, Гаррика Зильбермана, Бориса Караванова, Бориса Карафелова, Бориса Кинкулькина, Вениамина Клецеля, Григория Козлета, Эммануила Липкинда, Ителлы Мастбаум, Михаила Моргенштерна, Бориса Лекаря, Иосифа Островского, Зелия Смехова, Сергея Теряева, Юлии Сегаль, Якова Фельдмана, Давида Ханана, Юлии Шульман, Сусанны Чернобровой, Михаила Яхилевича и других мастеров искусства

CONTENTS

LION GATE

IGOR GUBERMAN. Three minor gods, my saviours... *Garriks*

VICTORIA RAIKHER. An excellent result. *Psychological fairy tales*

INNA VINYARSKAYA. Autumn comes into October

Haiku and distiches

MICHAEL GONCHAROK. At Your gate. *Short story*

IRINA RUVINSKAYA. Not a kind of loving. *Poems*

SHKHEM GATE

ALEX TARN. Dor. *Novel*

JAFFA GATE

NAHUM BASOVSKY. Where the echo resounds... *Poems*

RAPHAIL SHUSTEROVICH. A detached tree. *Poems*

MOUNT SCOPUS

DAVID MARKISH. Everything depends on one's craftsmanship

Interview

NATALIA NEUMARK. Sarah, Samson and C°

Family chronicle

MEMORY HILL

DINA RUBINA. Renata

TATIANA NIKITINA. Longing soul

ARCADY KOGAN. A person in G major

NATALIA RAPOPORT. And maybe twice...

VADIM LEVIN. My sister, my destiny

VADIM TKACHENKO. It has been, it has happened, it has occurred

RENATA MUKHA. "And what are you doing here?.."

ALEXANDER VARAKIN. Some words about the Teacher

MICKHAEL KNIZHNIK. Vivid poet

SUKHBAT AFLATUNI. A farewell to the Beautiful Mountain

OLGA KRUPENIE. Feinberg: as I remember him

IGOR BYALSKY. Blessed be the Righteous Judge

ALEXANDER FEINBERG. Words of farewell. *Poems*

MARC AZOV. "Where is this poetical flight?"

ALEXANDER VARAKIN, Leonid LEVINZON

He belonged to the "Other" generation

BETZALEL STREET

LEONID BALAKLAV. City. *Drawings*

NAMES

Authors and Characters

JERUSALEM LITERARY REVIEW, # 31, 2009

MODERN ISRAELI LITERATURE IN RUSSIAN

Internet version: antho.net/jr/index.html
magazines.russ.ru/ier/

Israel Union of Writers in Russian
Jerusalem Anthologia Association

Editorial Board: **Igor Byalsky** (Editor-in-Chief),
Velvl Chernin, Elena Ignatova, Yuly Kim, Zinaida Palvanova,
Dina Rubina, Svetlana Schoenbrunn, Roman Timenchik

Executive Secretary: **Evgeny Minin,**

Graphic Designer: **Susanna Chernobrova**

Web Designer: **Karina Pasternak**

Assistants Editors and Correctors: **Binah Smekhova, Lyuba Leibzon**

Administrative and technical support: **Olga Aksyutina,**

Boris Bronshtein, Daniel Burshtein, Michael Byalsky,

Victor Gopman, Gregory Gordin, Leonid Levinson,

Svetlana Moiber, Inna Vinyarsky

Print: **TSUR OT**

Copyright © «Иерусалимский журнал» 2009. All rights reserved
Copyrights for publications belong to the Authors

ISSN 1565-1347

Address: P. O. Box 32297, Jerusalem 91322, Israel

E-mail: jerusalemreview@gmail.com

Phone: 972-2-9960302, 972-54-4745322, 972-2-6451288

Jerusalem Review Representatives:

in Moscow: **Igor Gryzlov** – 7-495-5507747; apksp@narod.ru

Victor Indenbaum – 7-495- 9157178; sifria@mail.ru

in New York: **Andrey Gritsman** – 1-201-2250090; agritsman@msn.com

in Chicago: **Alexander Blinsein** – 1-847-6761134; sashablin@hotmail.com

Yefim Kotlyar – 1-847-5819304; YefimK@aol.com

In Boston: **Tanya Goldmakher** – 1-508-8819355; tgoldmakher@hotmail.com

in Paris: **Vladimir Smekhov** – 336 73024165; v.smekhov@primetouch.com

in Toronto: **Ilia Lipes** – lipes@idirect.com

תוכן העניינים :

שער אריות

איגור גוברמן. שמרו עלי שלושה אלים לא ענקיים – גאריקים וויקטוריה רייכר. תוצאה נפלאה. אגדות.
אינה ווינרסקאיה. הסתיו נכנס לתוך אוקטובר – חוקו ודו-שירים מיכאיל גונצ'רוק. בשערייך. סיפור.
אירנה רובינסקאיה. ובכלל לא אהבה – שירים

שער שכם

אלכס טארן. דור – רומן

שער יפו

נאום בסובסקי. במקום בו ההד מרובה – שירים
רפאל שוסטירוביץ'. העץ הבודד – שירים

הר הצופים

דוד מרקיש. הכל תלוי במיומנות – ראיון
נטליה ניימרק. שרה, שמשון וחברה – כרוניקות משפחתיות

הר הזיכרון

דינה רובינה. רנאטה
טטיאנה ניקיטינה. עם הנשמה כלפי העולם
ארקדי קוגן. אדם בטונליות סול מזיור
נטליה רפופרט. ואולי – פעמיים...
וודים לוויין. אחותי, גורלי
וודים טקצ'נקו. זה היה וקרה ואירע
רנאטה מוחה. מה אתה כאן עושה?
אלכסנדר ווראקין. דברים מעטים על המורה
מיכאיל קניז'ניק. משורר חי
סוחבאט אפלאטוני. פרידה מההר היפה
אולגה קרופינייה. פגישות
איגור ביאלסקי. ברוך דיין האמת
אלכסנדר פיינברג. שורות פרידה – שירים
מארק אזוב. איפה הוא מעוף השיר?
אלכסנדר ווראקין, לאוניד לוינזון. מהדור ה"הוא"

שמות

דמויות ויוצרים

ספרות ישראלית בשפה הרוסית

רבעון אמנותי

אגודת הסופרים כותבי רוסית במדינת ישראל
עמותת "אנתולוגיה ירושלמית"

מערכת:

איגור ביאלסקי (עורך ראשי),
הלנה איגנטובה, רומן טימנצ'יק, יולי קים,
זינאידה פלבנובה, וולוול טשרנין, דינה רובינה, סבטלנה שנברון
מזכיר – יבגני מינין
ציירת – סוסנה צ'רנוברובה
עיצוב באינטרנט – קרינה פסטרנק
עריכה והגהה – בינה סמחובה, לובה ליבזון
תמיכה לוגיסטית וטכנית – אולגה אקסיוטינה,
מיכאל ביאלסקי, דניאל בורשטיין, בוריס ברונשטיין, , אינה וויניארסקי,
ויקטור גופמן, גריגורי גורדין, סבטלנה מויבר, אילן ריס

הדפסה: דפוס "צור-אות"

בתמיכת



קונגרס יהודי רוסיה



קירן רוסקי מיר



משרד התרבות והספורט
מנהל התרבות, המחלקה לספרות



עריית ירושלים



בית מורשת אורי צבי גרינברג

© 2009 כל הזכויות שמורות למחברים ול"כתב-עת ירושלמי"

ISSN 1565-1347

כתובת: "כתב-עת ירושלמי" ת.ד. 32297, ירושלים 91322
טל. 02-9960827, 0544-745322, 02-9960302, 02-5361947
E-mail: jerusalemreview@gmail.com

* * *

Они по городу идут – читают Тору.
Они в автобусах сидят – читают Тору.
Они за рыбою на рынок, за бумагою в контору
Коридорами идут, читают Тору.

У моря Красного лежат – читают Тору.
У Средиземного лежат – читают Тору.
Они лежат, они сидят,
Они стоят, они идут,
Они едят и пьют – и тут читают Тору!

Трясёт Исландию – они читают Тору,
Колотит Грузию – они читают Тору,
Россия Сирии поставила три партии
Противотанковых ракет – они читают Тору.

Мне замечательно – они читают Тору.
Мне отвратительно – они читают Тору.
Их уважают, унижают, обожают, обижают,
-ают, -ают,
А они её читают.

Лёжа и стоя,
Идя и сидя,
Благоговейно и уверенно, –
И ОН таким образом видит,
Что всё ещё не всё ещё потеряно, не всё ещё...
декабрь 2008

Юлия Ким

